

Продолжение

★  
ПР











Москва  
**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**  
1982





СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Валентин  
Ерашов*

## **ПРЕОДОЛЕНИЕ**

ПОВЕСТЬ  
О ВАСИЛИИ  
ШЕЛГУНОВЕ

Книгой «Навсегда, до конца» (повесть об Андрее Бубнове), вышедшей в серии «Пламенные революционеры» в 1978 году, Валентин Ерашов дебютировал в художественно-документальной литературе. До этого он, историк по образованию, в прошлом комсомольский и партийный работник, был известен как автор романа «На фронт мы не успели», однотомника избранной прозы «Бойцы, товарищи мои», повестей «Семьдесят девятый элемент», «Товарищи офицеры», «Человек в гимнастерке» и других, а также многочисленных сборников рассказов, в том числе переведенных на языки народов СССР и в социалистических странах.

«Преодоление» — художественно-документальная повесть о В. А. Шелгунове (1867—1939), кадровом рабочем, одном из ближайших соратников В. И. Ленина и петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», талантливом самородке, человеке трагической судьбы (он полностью потерял зрение в 1905 году). Будучи слепым, до последнего дня жизни продолжал активную работу в большевистской партии, членом которой являлся со времени ее образования.

**ПРЕОДОЛЕВАТЬ, преодолеть...**— одолеть, осилить, побороть, победить, превозмочь, покорить, низложить и подчинить себе. Преодолевают врага в битве, страсти свои в борьбе с ними, лень свою, отвращение от чего... Преодолев сам себя (самотность свою), преодолеешь первого врага своего...

*Толковый словарь Владимира Даля*

«Разумеется, без самого активного участия передовых рабочих в составлении и распространении такой литературы она (рабочая печать.— *Ред.*) существовать бы не могла. Из петербургских рабочих, действовавших в то время, можно назвать Василия Андреевича Шелгунова... и Ивана Васильевича Бабушкина». — В. И. Ленин.

«Василия Андреевича Шелгунова знаю и работал с ним вместе». — В. И. Ленин.

«В числе старых товарищей... Ленина... был... ветеран русского социал-демократического движения, рабочий, имя которого хорошо знакомо многим петербургским пролетариям, Василий Андреевич Шелгунов. Рука об руку с Шелгуновым начинал свою практическую социал-демократическую работу Ленин в Петербурге. Было это в 1894 году...» — Н. К. Крупская.

«Когда члены Исполнительного Комитета заняли свои места в президиуме, на сцену вышел и тов. Ленин. Он обвел взглядом огромный зал собрания, потом почему-то вдруг спустился в партер и направился вверх по проходу амфитеатра. Все оборачивались и не сводили с него глаз. Где-то в задних рядах сидел старый друг Ленина... питерский рабочий и революционер Шелгунов...

Шелгунов встал, сделал два шага навстречу Владимиру Ильичу, и оба борца крепко расцеловались.

Вот и все. Мне кажется, что они не сказали друг другу ни слова.

И всё же их встреча была прекрасна своей яркой человечностью». — Иван Ольбрахт, один из организаторов Коммунистической партии Чехословакии, писатель. Из воспоминаний об открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце Петрограда, июль 1920 года\*.

---

\* Даты, кроме специально оговоренных, обозначаются в книге по старому стилю. Даты после 1(14) февраля 1918 года — по новому стилю.

## **ВМЕСТО ПРОЛОГА**

**2 августа 1875 года. Суббота**

Начнем, пожалуй. Итак, «Правительственный вестник». Бумага хороша. Издание официальное, респектабельное, солидное. Выпуск обозначен — № 171. И дата проставлена двойная: 2, а в скобочках — 14 августа по европейскому календарю. Приобщаемся по-маленьку к западной цивилизации.

Нумер как нумер.

Государь Император Высочайше повелел: соизволить принять пожертвование в количестве 2500 рублей, собранных чинами Оренбургского военного округа, учредив стипендию имени генерал-лейтенанта Крыжановского... Циркуляром управляющего министерством финансов изменены правила о пивоварении — лень разбираться, какие там правила такие... В Париже царевубийца по имени Рок — и дала же судьба такое провидческое прозвание! — приговорен к пожизненным каторжным работам... Город Сан-Мигуэль в Сальвадоре, имеющий 40 тысяч жителей, был предан огню и мечу в результате столкновения между светской властью и католическими священниками — свят-свят, да они что там, посбесились, у нас, слава богу, таких безобразий не водится... А средняя температура воздуха здесь, в Санкт-Петербурге, была накануне 18,8 градуса... Теперь, кажется, потеплело...

На последней странице выпуска — объявления, как водится. Принимается подписка на журнал «Модные выкройки», — надобно будет супружнице показать, разоримся на целковый-другой... Продаются лучшие в мире американские швейные машины «Зингер Силансьез»... Лучшие в мире... Откуда нам ведать, лучшие, худшие... Торгуют господа, купцы, капитал наживают вместе с промышленниками. Буржуазия, вот как называются... Продавай-покупай...

А вот это — новенькое, такого, пожалуй, еще не встречалось в газетах, ну-ка, ну-ка, что за штука?

«Хозяйственное управление при С.-Петербургском доме предварительного заключения призывает желающих принять на себя поставку 250 саж. однополенных березовых, 2450 саж. однополенных и 150 саж. трехполенных сосновых дров... С.-Петербургский дом предварительного заключения находится по Шпалерной улице, под № 23».

Касательно поставки дров это, господа, сказано не про нас, этим долженствует интересоваться купчишкам, а особе девятого по табели о рангах класса, нашему благородию, это ни к чему. Но известие любопытное, да-с, и прелестьма. Сколько разговору было по столице насчет этого дома, а в газете только объявление одно, а более — ни строки. Поглядим, однако, что пишут в «Голосе», орган сей отнюдь не официозен и даже либерален. Ныпче любят в либералов поиграть... Сего же числа газетенция, разумеется... Да-с, не зря, не понапрасну трачены были ассигнации, чтобы получался нами «Голос», издаваемый господином Андреем Александровичем Краевским, под редактуру известного историка профессора Василия Андреевича Бильбасова. Прогрессивной газета слывет, информирована, говорят, преизрядно. И то сказать, про дом заключения разговоров много было в Питере...

Еще в сороковых годах, рассказывали недавно знающие люди, государь император Николай Павлович посе-



титъ изволил английскую Пентонвильскую тюрьму, остался ею весьма доволен и пожелал ввести в нашей империи одиночное, законом установленное заключение, сочтя его во многих отношениях полезным. Однако вскоре началась Крымская кампания, засим же государь почил в Бозе. Но добрые замыслы втуне не пропадают, четверть века спустя пожелание покойного вспомнили, приступили, благословясь...

Хаживали мы воскресным днем, с прохожими, с жителями Шпалерной, беседовали, питерцы — народ грамотный, дошлый, про все знают.

Ладили с размахом, не поскаредничали, было израсходовано, слышать, восемьсот тысяч рублей — это, к примеру, нам в канцелярии ведомо, — чуть ли не дневная сумма всего фабрично-заводского производства Европейской России. Немало, господа!

Здание возвели преогромное, о шесть этажей, с расчетом, говорят, на семь сотен заключенных: шестьдесят три камеры по системе общей, для уголовной кобылки, да триста семнадцать одиночек, те политическим предназначены.

Загодя было известно: Главное тюремное управление свое любимое детище окрестило Домом предварительного заключения.

А вчера, в пятницу, слух был, имело место в Доме сем торжественное открытие с богослужением, с освящением, в присутствии титулованных особ, высших государственных чинов.

А «Голос»-то, «Голос» — из обыкновенного спокойного баритона сделался альтom восторженным!

Новое пенитенциарное, тюремное то есть, учреждение, захлебывается он, должно «служить, по возможности, образцом для такого же устройства всех вообще подобных мест». И умиляется: «...называется не тюрьмою, а домом, — так и подчеркнуто, — предварительного заключе-

ния...» Ишь как распрекрасно дом сей «состоит в близости его к зданию судебных мест... в непосредственном соединении их между собою посредством крытой галереи», что позволяет, дескать, не оскорблять достоинства человека открытым передвижением по городу под копво-ем, позволяет выиграть драгоценное время чиновников государственных, прокуроров, жандармов, приносит значительную экономию по содержанию транспорта и коп-вой. А наличие одиночных камер — это ли не благо: уго-ловные отделены от политиков, в камерах тишина и покой, занимайся, чем дозволило начальство, думай без помех, о чем заблагорассудится, раскаивайся в содеян-ном, пока не упрятали тебя, грешного, либо в Петропав-ловку, либо в «Кресты», а то и в места весьма отдален-ные, а то и в Шлиссельбург, в каменный мешок...

Ладно, почитали, пошутили малость — нам-то что, гос-пода, это не про нас, мы, слава богу, не кобылка уголов-ная и не политики, мы — особы девятого класса. Пойти вздремнуть, что ли...

«Как зверь, метался я от окна к двери, машипально отсчитывая шесть роковых шагов,— нет выхода, все то же, все то же. И как будто опускаясь в бездонную мрач-ную пропасть, полный глухого отчаяния, я закрывал глаза и, поникнув головой на скат подоконника, долго стоял недвижно, безмолвный... На молодого человека с живым темпераментом... особенно тяжело действовало по-стоянное вынужденное молчание». — Михаил Сильвин, член петербургского «Союза борьбы за освобождение ра-бочего класса», водворенный в Дом предварительного заключения следом за В. И. Ульяновым, В. А. Шелгуно-вым и другими товарищами.

«Гордость наших властей составляет новый Дом предварительного заключения, достопримечательность, показываемая иностранцам».— Князь Петр Алексеевич Кропоткин, революционер, один из теоретиков анархизма.

«Красиво, господа, это помещенье. Оно для долгого сиденья в ожиданьи с к о р о г о с у д а».— Эпиграмма, возникшая почти сразу после открытия «предварилки».

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*29 января 1897 года. Среда*

Как ни зови — хоть Домом заключения, — тюрьма остается тюрьмой.

И главное для арестанта — время пребывания здесь: сколько прошло, сколько еще осталось.

Не было, вероятно, в истории ни одного человека, кто, посаженный за решетку, с первых же дней не заводил бы самодельного календарика — вычерченного на бумаге, носовом ли платке, нацарапанного под койкою, незаметно, по штукатурке, на допышке оловянной миски, на переплете казенной Библии, на газетном лоскутке, на обороте фотографической карточки близких — словом, на том, что имеется в распоряжении узника. Если бы собрать коллекцию этих численников, люди поразились бы не только тому, на чем нарисованы таблички, а пуще того разнообразию выдумки: счет ведется и прямой (дни миновавшие), и обратный (сколько еще осталось), и по годам, месяцам, неделям, дням, по часам, минутам, чуть ли не секундам; измеряется и числом свиданий, и количеством полученных писем, и порциями баланды, и сменой караулов, и помывками в бане, и бог еще знает чем. Лишь бы убить это самое время. Только бы ускорить его замедленное течение. Знать бы в каждый момент: много ли позади, долго ли терпеть еще...

Невыносимо тягучи тюремные дни, особенно первые и самые конечные. Нет, последние — хуже всех прочих. Неспроста запечатлено столько примеров, когда за неделю, а то и чуть не в канун освобождения заключенные совершали бессмысленные побеги (и тотчас, пойманные, получали, понятно, добавочный срок), а то и самоубийства. Понять эти поступки, при всей нелогичности, все-таки можно.

Легче других, как ни странно, бессрочным. У них есть прошлое, будущего — нет. Они ведут отсчет лишь в одном направлении, а то и вовсе не ведут: какой смысл, если прожитого не вернешь, а впереди не существует ничего.

Всех же прочих тяжелей тем, кто назначенного срока не ведает. Это страшней любой, самой трудной, определенности. Неизвестность угнетает, выбивает из-под ног почву, даже когда почва эта — казематный пол, цементный, асфальтовый, каменный, добротнo сработанный. Иногда кажется: уж лучше бы смерть, чем проклятая, пустая эта безвестность. Это ведь все равно будто идти глухой, непроглядной ночью по ровной степи, в безмолвии, не зная, куда придешь, что увидишь и увидишь ли что-нибудь вообще.

...Сегодня, 29 января 1897 года, с утра пошел четверста восемнадцатый день отсидки Василия Шелгунова. Впереди была тьма.

...Хуже обычных дней праздники. Что из того, если в бога не веруешь, не проникся бы спозаранку благостным настроением, в церковь бы не пошел, не стал бы прощать грехи ближним и каяться в собственных прегрешениях, не христосовался бы, не причащался. Все равно праздник есть праздник — с радостным бездельем, с веселой суматохой, с вкусной едой, с приятной, дружественной беседою под хмельком, с ощущением душевной легкости, телесной сытости, приязни к людям, с готовностью

к мальчишескому баловству и мужской размахистой щедрости... В тюрьме праздник не благо, а наказание, добавочное к основному как бы.

Бич тюрьмы — бессонница. Медленное, тягучее время она делает бесконечным. Гаснет в камере тусклый свет, прикрыт и дверной волчок, и хорошо, если наружный фонарь близко у твоего зарешеченного окошка, тогда хоть слабый, рассеянный проникает блик, а если и этого нет, в камере наступает крошечная тьма, какая бывает, наверное, лишь в могиле. И наступает — даже мрака ужасней — тишина.

Сапоги надзирателя, звяканье ключами, пускай чей-то далекий кашель или стон — и то проблеск, подтверждение, что существуешь ты и рядом, за каменными стенами, длится своим чередом жизнь, она хоть и стертая, равномерная, серая, но все-таки живая. А во мгле, сонряженной с тишиною, теряется ощущение реального, истинное путается с воображенным, сущее — с вымыслом, давно минувшее кажется будущим, явь переходит в сон, обрывистый, бредовый, и краткое забвение с ключьями серых видений кажется именно подлинным, сама же действительность — только навязанным кошмаром. Стерты грани между бытием и мнимостью... Бессонница — бич тюрьмы. Тишина и темь — верные слуги бессонницы. Слуги бывают жесточе хозяев. На то и слуги они.

...Миновало 417 дней. Сегодня — четыреста восемнадцатый. 417 дней — это 10 тысяч часов. Если точнее, десять тысяч и восемь. Это — 600 480 минут. Огненные цифры, как «мене, текел, фарес», письмена, таинственной рукой начертанные на стене во время нира вавилонского царя Валтасара. «Тогда царь изменился в лице своим; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое».

Огненные числа на черном, стена вовсе не видна, цифры витают во мгле. Цифры можно складывать, вычитать,

множить, делить. Первую шестерку в числе минут — 600 480 — помножить на два — двенадцать. И четыре плюс восемь — тоже двенадцать. Две дюжины — это двадцать четыре. Столько же часов в сутках. Странное совпадение. Какой в нем смысл?

В тюрьме развивается то, что ученые называли жвачкой мысли. Смутная мысль топчется на месте, робко проталкивается вперед, возвращается на круги своя. Пустые умствования вроде поисков тайного смысла в случайном сочетании цифр. Пустые, беспочвенные фантазии. Порою — галлюцинации: слуховые, зрительные, вкусовые, осязательные, обонятельные — любые, какие только существуют. Нелепое прожектерство. Почти мания.

Жвачка мысли — это и воспоминания. Они перемалываются бесконечно, на ум приходят навсегда забытые, казалось, мелочи. Картины удивительно живы. Детство. Сказки. Запахи родного жилья. Шершавость материнской ладони. Трещиноватый ствол дуба, похожий на спину крокодила, нарисованного в книжке. Тяжелый дух калины, паренной в горшке, — глиняный горшок, щербинка по краю, полива растрескалась. Вязкий вкус черемуховой ягоды. Лист подорожника, прилепленный к порезу, — «до свадьбы заживет». Вялая речная вода, на тинистом дне под корягой спит жирный сом, он как полено, поросшее мохом.

Тюрьма — это смятение чувств, сумятица, невнятность. Кроме времени узник собирает поневоле все внимание на письмах, на свиданиях. А письма не было нынче. И надо себя отвлечь. Как и чем отвлечешь в четырех мокрых, тяжких стенах? Мыслью. А она топчется на месте. Она делается пустомыслием. Вот стол. Из чего он сделан? Из дерева. А что это — дерево? Оно — лес. Когда был последний раз в лесу? Позапрошлый год, на пасху. С кем? Не упомянул. Нет, помнится: картуз с лаковым козырьком. Диковинное слово «картуз». Это шапка. Но

почему картуз? Картуз — это же карты. Какая карта? Сказано какая — туз. Кар-туз. А еще бывают карты: король, дама, валет. Король — это царь. Дама — это женщина. Но валет? Не понять. Прочитаем наоборот, получается «телав». Телав... Тел а-в... Тела? Чьи тела? Где? В тюрьме наши тела. Тюрьма — значит камера. В камере стол. Стол из дерева. А дерево — лес...

Кольцо замкнулось. Замкнулось... Замкнулось — это замок. На двери нет замка. Есть засов. Снаружи. В коридоре. Там стража. Почему не слышно шагов? Потому что... ночь. Тишина. Темь. Камень.

В тюремной жизни краеугольный камень — тоска и скука. Мускулы не работают. Походка делается тяжелой, неловкой, движения медленными, лицо постепенно приобретает цвет белой глины, люди становятся похожими, словно близнецы, словно тюремные дни, тюремные ночи. Речь затруднена с отвычки, язык неповоротлив, выражения тусклы.

В тюрьме почти нет нищи для впечатлений. Ожидание, когда принесут еду, — голод не столько физический, больше душевный: все-таки отворится форточка в двери, просунется рука надзирателя, иногда волосатая, в другой раз гладкая, покрытая веснушками. Протянет баланду. Она может быть рыбной или с волоконцами тощего мяса. От надзирателя пахнет пивом и немытым телом, а то и водочкой. Вольный запах. Скажет: «Пожалуйста, получите». А другой изволит пошутить: «Кушать подано, ваше высокоблагородие, сун-ритатуй, кругом вода, посерединке... ничего». И узник засмеется, нарочито громко и заискивающе, чтобы унтер сказал еще чего-нибудь.

...Сейчас январь. Взяли Шелгунова в декабре, в позапрошлом. В ночь на 9 декабря 1895 года. Разом схватили — стало известно после — двадцать девять человек. Ульянов в их числе.

На другой день «Правительственный вестник» сооб-



щал, как и всегда, о высочайших пожалованиях должностями, чинами, орденами, пенсиями. Известил, что государь император Николай II высочайше благодарить изволил тех, кто верноподданнейше честь имел поздравить Его Величество с тезоименитством, пмевшим быть декабря сего шестого дня, в память святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Курсы пения для учителей духовных школ в городе Пензе привлекли 53 слушателя. Погода в С.-Петербурге в ночь с восьмого на девятое была минус три с половиною градуса. «От солитера и других глистных болезней лечение. Садовая, 59. Д-р мед. Тинцер». «Фотограф Их Императорских Высочеств К. Шапиро возвратился из-за грапицы и спимает лично...»

О двадцати девяти арестованных памека нет. Что двадцать девять для империи Российской, где пародонаселения без малого сто тридцать миллионов душ. Двадцать девять человек — пустяк. Да и не людьми числить их положено, а государственными преступниками.

...Жвачке мысли сопутствует другое, тинично тюремное явление. Это еще не шизофрения. Однако приближение к пей, вот-вот.

Личность раздваивается. Появляются рядом: «я» действующее и «я» наблюдающее. «Я» — Я, и «я» — Он. Они едины и двулики. Они то и дело меняются местами, сливаются, опять раздваиваются.

Ничком лежу Я на жестком тюфяке, вдыхаю запах плоской подушки. Запах почему-то шивельный, кислый, шерстяной, хотя набита подушка слежавшимися перьями, похожими на прутья. Лежу, а Он сидит за столиком и читает. Как Он различает буквы в кромешной тьме — не понять. Однако читает. Я слушаю звук перелистываемых страниц. У Него, похоже, пасморк, Он по-мальчишечьи шмыгает носом. Странно: у Меня ведь пасморка нет, а Он — это все-таки Я. Кстати, не Он, а Я читаю

сейчас в «крошечной мгле, совершенно без всяких затруднений читаю. Буквы плавают сами по себе в смутном воздухе, вне бумаги, плавают рядочками, почему-то Меня раздражает их ладный строй. Я машу ладонью и разгоняю, словно бы мошкар, буквы роятся и миготом опять выстраиваются в шеренги. А Он лежит пичком, нет, Он лежит лицом вверх, одетый во фрак с белой манишкой и белым галстуком, во рту сигара, называется по-испански «Copeha», а может, «Virginia», откуда Я знаю испанский язык и название сигар, если никогда их не курил и не обучался испанскому, но это не Я, а Он знает, от сигары пахнет медом и слегка сухим осенним листом, напоминающим лес, воздух, волю. Я понимаю — Он ведь нарочно дразнит Меня этим запахом, напоминающим волю, Я разворачиваюсь и бью Его, и Мое лицо тотчас заливается кровью... потому что Он — это Я...

Ученые говорят еще: в тюрьме до невероятной степени развивается слух. Как у слепого. И за счет чувственного внимания возрастает внимание интеллектуальное. Тюрьма сплошь и рядом превращает арестантов в поэтов, чуть не каждый второй складывает стихи. Вернее, подобие их. Или записывают строки Пушкина, Лермонтова, Некрасова и выдают за собственные. Или же полагают всерьез, будто сами сочинили...

...Вползает в камеру Шелгунова медленный рассвет. 29 января на самодельном календарике. Позади 417 дней.

А сколько дней впереди? И где? И каких? Если б знать,

В тюрьме спасение от одиночества, скуки, тоски, отчаяния, возможного помрачения ума — книги. Высокая степень напряженности вовсе не тяготит. «Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать... в Сибири книги доставать трудно», — шутил Владимир Ильич после.

Тюрьма остается тюрьмой, как бы ее ни звали, пускай и Домом предварительного заключения. И сознание того, что сидишь за правое дело, что рядом, за стенкой, и

там, на воле, товарищи, что придет конец одиночеству, что есть книги, безмолвные твои друзья, что время в заключении не потерянное (не зря ведь сказано про тюремный университет), — это все так. Но тюрьма есть тюрьма.

Дни возбуждения, хорошего, здорового аппетита — даже к арестантской еде, без вольной прибавки, — дни охоты к чтению, к разговорам способом перестукивания, дни разумных надежд сменяются апатией. Одолевают и тоска, и горе, и отчаяние, темные мысли — ползучие, словно вязкие облака. И клонит в сон, и отказываешься от пищи не потому, что сыт, а по той причине, что, поевши, хочешь спать еще сильнее, но если прикорнешь днем, то с вечера ждет ползучая и смутная, как твои мысли, бессонница до самого утра.

Дом предварительного заключения. ДПЗ. Или... предварилка. Или еще — Дом предварительного задушения — так называли узники.

Задушить удавалось только немногих. Большинство и пострашней выдерживали. Потому что знали, на что идут, во имя чего идут. Это и облегчало существование в тюрьме тем, кто сознательно избрал путь. Им легче.

Но ведь бывало и по-иному...

«Это вышло случайно. Я не скажу, что задумал стать революционером. Это далеко не так». — Василий Шелгунов. Из неопубликованных воспоминаний.

## *Глава первая*

### *1*

Как я теперь, ставши взрослым, понимаю, отец мой, Андрей Иванович, был довольно крупный кулак. То есть, конечно, не по достатку своему, до-

статка-то и не водилось, а по душевному настрою. А жили мы бедно.

Губерния наша, Псковская, промышленности, можно сказать, не имела, из десяти душ населения девятеро относились к сословию крестьянскому. А земля у нас худая, перожалая, особенно к северу, где мы жили,—подзол да болота, правда, неглубокие болота и травянистые. Сеяли по большей части серые хлеба: рожь да овес, ну, и ленком занимались. Главным был овес, им не только лошадей кормили, но и народу он составлял первейшее пропитание. Из него и хлеб творили, кашу заваривали, пироги ладили, во щи он шел, на толокно, блины, кисель. Неспроста псковских дразнили: «Овсяным киселем подавился». И побасенка ходила. Мужик, дескать, выхлебал квас с толокном, говорит: «Эхма, был бы я царь — каждый день бы такую пищу ел». Этак у нас баяли в селе, а называлось оно Славковицы, после же переделали в Славковичи.

Родился на божий свет я в 1867 году, июля 27-го, в день великомученика и целителя Паптелеймиона, однако крестили Василием, и был я у тятеньки с маманей, Евдокией Федоровной, шестым ртом (после еще Нюрка родилась).

Изба стояла по-пад берегом Черехи, задом к воде, как полагается. Избы в наших краях своеобразные: усадьба трехрядная, посередке жилье, с одной стороны крытый двор, а насупротив, там, где окошки,—там хозяйственные строенья. Крыли соломою, под гребенку, в два ската, хорошо плотили кровлю, чисто, так, что ни малой капли. А внутри, в передней части, под иконами,—для спанья место, потому как там разъединственное окошко, лишних окон не прорезали, чтоб в холод не дуло, в жару не пекло. Печь на двух деревянных венцах, возле двери. От печки до красного угла — полати. Подклет у избы не так чтоб высокий, но из подпола не тянуло ни морозом, ни сырью.

До чего хорошо было в избе, особенно зимой. Мое место было на конике, это лавка такая вдоль печи. Правда, когда приезжал тятя, меня оттуда выгоняли, потому что это его лежанка, хозяйская. Но видели мы тятю редко, извозом он тогда занимался, искал счастья на стороне. Беспокойный человек, очень склонный к наживе, да не-путевый — кидался от дела к делу, ни в одном не преуспевал.

Лежу, бывало, на конике, сбоку припекает печным теплом, сверху греет шубняк, от него пахнет овчиной и конским потом, под головой — старые валенки. Сестра старшая, Евдокия, ладит пойло, от скотиньей стряпни валит мучным паром. Маманя за прилкой. Умаялась днем, пора ногам-то и волю дать, а руки — они проворней. Подслюнивает пальцы, тянет нить, другой рукой запускает веретено, чтоб оно бойчей крутилось, надето кольцо-пряслице из ломтя сырой картошки.

На полатах братья — Семен, Федор, Алексей, все меня годами побольше. В карты режутся, в подкидного. А Сашура с махонькой Нюркой возятся на полу. Горит светец, всаженный в полено, сосновая лучина теплится ровно, с хорошим духом и почти без дыму, в корытце с водой сваливаются угольки, шипят, словно кот.

Маманя тихая, умрет, говорят, скоро. Вот бы, когда помрет, ее положили в церкви. Когда барин преставился, там вопяло чем-то сладким, ходил батюшка в золотой одежке, махал беспрестанно блестящей штукой, пел толсто, приятно. И кругом свечки огоньками трепыхались, народу полно. Хорошо бы, когда мамка, тоже так...

Утром огарыши Сашура и Нюрка останутся в избе, остальные братья и сестры пойдут в школу, Семен — оп главный без тяти в дому — примется за хозяйство, а мне приволье, до ученья еще не дотянул, работать не заставляют...

На дворе встретит пес Кусай, для чужих набросливый, к своим же ласковый, угощу мякишем, он сглотнет не жуя.

В клетки хоронится ледянка — скамейка о четыре ноги, помазана коровьим навозом и облита водой, блестит. У соседей такой нету ледянки, мне Сенька сотворил, все завидуют.

Веет шаткий, переменчивый ветерок, к непогоде, и может забусить дождичок, потому что скоро весна.

За банькой, паркой, без гнилья — у нас постройки добрые — вытоптана к проруби тропка, сажусь на ледянку, отталкиваюсь чунями, несет вниз, к Черехе, почти не приметной под снеговым наметом. Рядом бежит и гавкает веселехонький Кусай.

Череха по селу тянется небойко, она переходчивая у нас, без водокрутов, летом так и мне до коленок только. Рыба в ней — мелкота, но в ямах на луговине, залитых с весны, к июню вырастают длинные белопузые щурята, ловим портками, взбаламучивая стоялую воду...

Тяну ледянку обратно, скатываюсь еще и еще, по прискучило, иду к соседским — авось наладимся подраться. Могут крепко там отбутылить, но я не рева, за себя постою. Мне шестой год, не маленький. Даже считать умею — до десяти. Только вот глаза у меня слабые, слышать. А я грамоте учиться хочу. И еще хочу поглядеть на всякие города и на разных людей. Здешних, деревенских, знаю всех.

## 2

Летом, понятно, в извоз отец не ходил, крестьянствовал. Калила тот год страшная жара, горели болота, повыжгло траву, ржи скосили сам-второй — и всегда-то брали еле-еле сам-третий, — и, едва засыпав скудные за-

крома, батя сказал: к весне изнагишаемся и мукой с картошкой подобьемся, надо счастье-талан искать на стороне.

Многие мужики подались в отход — кто в Псков, а кто и подальше, в Питер, страшный, каменный и богатый, там деньги чуть не каждый кует, была бы охота.

Распорядился тятя заполошно, дурником: продал сразу дом, скотину — над тремя конями слезьми весь изошел, правда выпив загодя, — и выговорил у нового владельца, чтоб мы пока остались в избе до Покрова, забрал девятнадцатилетнего Семку, отбыли они в Питер. С ними увязался дальний родич, Тимофей, лет ему было поболее двадцати.

Мы еще все жданки не потратили, как получилось письмо, чтобы ехать в Питер чугункой, а до Порхова доставит нас теперешний хозяин избы.

Ехать тридцать верст. Выбрались на зорьке, о две подводы. Горели еще болота, никак не уймутся, черные лежали поля, молотил дождь-листобой, и трещиноватая земля голодно принимала влагу. Гнедко и Буланка, наши бывшие, тянули в силу, не оскальзывались. И Кусая мы оставили там, в Славковичах.

Прибыли в Порхов к сумеркам. Я дивился, что некоторые улицы настелены камнем и домов много каменных. И торговля чуть не в каждом — где рыба нарисована, где коровья голова, где баранки. А мне чугунку не терпелось увидеть.

Там, где чугунка, называлось «станция», по-другому «вокзал», объяснил хозяин избы нашей, мужик бывалый и прихвастливый. Этот вот помост деревянный — ба р к а д е р. Колокол ударит, — значит, отправление поезду, называется он почему-то «максимка». В красной шапке вон ходит человек — ему поклониться надо, когда подойдет, а то скажет вот в тое окошко, и карту на чугунку не дадут — непонятно, что это за карта.

На столбах запалили фонари, горели синим, воняли. Долгие-долгие железины-рельсы блестели, конца не видать им. Где-то загудело, хозяин сказал: мол, поезд прибывает.

Сделалось страшно, я ткнулся в мамкину юбку, и тут что-то мягкое, тяжелое, горячее ударило сзади, я заорал. Мама сказала: «Дурачок, погляди, кто объявился». Я открыл зареванные глаза: да ведь это Кусай, болтается обрывышек цепи, как исхитрился ее споловинить. Кусай прыгал, норовил с каждым поцеловаться. «Че делать-то, — спросила мамка у хозяина, — аль в Питер взять, живая душа, вишь, тридцать верст намахом пробег за нами». — «Нельзя, — ответил хозяин, — и на чугунок не пустят, и в Питере собак нету, не деревня, соображай, а столица государства Российского, сам государь-батюшка там обитает. А мне ваш пес паршивый не нужен, коли служить дому не хочет. Продам счас вашего Кабыздоха за двугривенный, пряников куплю вам». — «Не Кабыздох он, вовсе не Кабыздох», — кричал я, и сеструхи плакать стали. А хозяин ухватил за цепной обрывышек, поволок, и Кусай упирался, выл. Мамка зазевалась, Нюрку подкармливала, я побежал следом за хозяином, хоропясь среди людей, чтоб хозяин увидеть не мог.

За темным сараем, куда достигали отблески фонарей, хозяин, принасливый, достал из кармана веревку, сладил петлю. Я затаился в сторонке, было страшно, я, однако, на хозяина кинуться не смел. А Кусай вилял теперь хвостом, норовил хозяина лизнуть и подвывал, после же утих. И через полминуты болтался, дергал четырьмя лапами, вытягивал их, будто старался дотянуться до земли. А потом затих, и язык у него вывалился... Я кинулся прочь — вдруг догонит хозяин, вдруг и меня так вздернет, чтобы никому не рассказал про его злодейство...

Мамка подзатыльник дала, хоть я и сказал, что бегал «до ветру», я упрятался за узлы и боялся плакать. Вер-



нулся хозяин, принес не пряников, а баранок на мочалке, баранки были теплые, сроду таких не пробовал, титенька мерзлые привозил. Но я этих отведывать не стану... «Ты, Евдокея,— сказал хозяин,— двугривенный мне давай, никто вашего Кабыздоха за деньги не купил, даром всучил я его, скажи спасибо. А за гостинец — двугривенный». И мамка ему отдала покорно, я хотел кричать: не смей, мол, не смей, однако не решился.

Тут заревело что-то и стали надвигаться два огневых глаза, делались ярче и больше, застучало железом об железо и запахло, как в кузне. Он, паровоз, прокатился мимо, черный, выше избы, и труба черная поставлена в черное тулово, и колеса куда выше, чем у телеги, но тоже со спицами, из-под колес бил белый пар, будто в бане, когда поддадут водой на каменку, пар с железным запахом тоже. И вагоны катились зеленые, похожие на избенки, но длинные, катили медленней и медленней, наверно, паровоз притомился тащить эту вереницу.

Затуманились кругом, полезли по лесенкам. Вагон длиннющий, скамейки поперек, сложены из узких досточек, а над скамейками полати махонькие, одному человеку лежать. И столы меж скамеек такие, что горшок поставить, а миски — никак. И фонари горели не шибче лучины.

Трясло сильно, паровоз ревел, как бык, за окошками темно. Я затаплся в уголке и плакал — не в голос, не для мамки, чтоб пожалела,— для себя плакал. За что удавили Кусая, он ведь с нами хотел, он добрый, и как это мамка двугривенный отдала, получается, за то и отдала, что хозяин Кусая убил. Никого удавливать не надо, и лягух не годится об стенку швыркать, как мы швыркалы, и тараканов морить не след, никто помирать не должен, и мамка пускай не помирает, хоть бы и в церкви. Пускай все живут всегда, пускай даже хозяин злой живет, не хочу, чтобы живые не жили.

И еще я не хочу в Питер, громаднейший город, где народу, говорил тятя, больше, чем деревьев в лесу, где все дома каменные. И где, как объяснял хозяин, вовсе нет собак.

### 3

Собаки в Питере были. Деревянные дома тоже, их больше, чем каменных. Рассказывали, что в самом-то городе, в Адмиралтейской части особенно, там дворцы да храмы, там красота неопиcуемая, но только для господ, нашему брату ходу туда нет. Очень мне хотелось заглянуть хоть глазком, да как?

Обитали мы словно и в Петербурге и будто бы не в нем. Наша местность называлась Нарвской заставой, а улица вовсе уж длинно и диковинно: Старо-Петергофское шоссе. Вот в Славковичах улицы не звали никак, и оно понятно, потому что имена бывают у людей, у коней, коров, собак и кошек, а вот свиней и овецек не кличут именем, и у домов имен тоже нету, избу обозначают, как хозяина, чья она.

А здесь все по-иному. Вот мы на «Питерском с а ш е», так выговаривал батя. А сверни за угол — и получается, вроде ты и не здесь, потому что улица другая, прозванное другое, и не знаешь, может, и сам ты уже не Васька Шелгунов, а кто-то другой. И чуть не всякий дом с прозвищем: «Трактир», «Бакалейные товары», «Колопцальные товары», «Гробы», «Портерная»... Это мне читал Сенька и втолковывал, что к чему. Сенька стал на себя непохожий: в картузе с лаковым козырьком, в спичаке, в штанах, затолканных под голенища, курил панироски, поплеывал на землю. Хвастал, что с каждой полочки утаивает полтинник, купит гармошку. Получку давали ему на чугунолитейном заводе Петрова. Пробовал Сенька и про чугун обсказать, я не понял. Чугунок — это

я знал, а чугуи что? Худо я в питерской жизни разбирался.

Жили мы вроде как и в деревне и вовсе не так. Теперь была не изба — кварта ра, две комнаты. В одной спали — родители на кровати, мы вповалку. И Тимофей с нами жил. Во второй завел тятя мастерскую.

Да, уж был отец по характеру чистый кулак, жадный, да только больно шепутной: за одно, за другое хватался, нигде не ладилось. Я, толковал, сам себе хозяин, в ноги никому не поклонюсь, в жизни оно главнее — голову не гнуть. И вас никого в завод не пущу, вон Сенька отбился от рук, и хрен с ним, пущай хребет ломает, а мы сами себе остаемся баре.

Мамка не супротивничала, хворала она, тихонькая была, сидела в уголке, то шила нам, то латала, то картошку чистила. Сестренки учиться не ходили, батя не велел. Всем хозяйством правила Дуся, мы же у тяти вроде работников.

Он вот что удумал: швабры делать. Лексей с Федькой на дворе щепали доски, выстругивали палки. Сеструхи трепали рогожи на мочальные полоски. Я эти полоски складывал одну к одной, впродоль. А вязал швабры сам батя.

От рогож хорошо пахло, как в деревне. Я Славковичи помнил, избу нашу, баньку и черпого Кусая. И как его удавил хозяин. А после забывать стал. Только вот Кусая забыть невозможно, потому что с того дня во мне как бы сломалось некое, вверх тормашками перевернулось, я осознал несправедливость и жестокость, хотя этого и здесь хватало, еще посильней, чем в селе у нас.

К примеру. Жил по соседству мастеровой, не старый, вроде Сеньки, но сам по себе, сирота, что ли. Пил часто. Мне как-то говорит: «Ну, Васька, сеишник заработать хошь?». Еще бы не хотеть, я денег ни разу не зарабатывал, а на сеишник продавали два грешневика с постным

маслом. «Ну,— говорит,— дуй в лавку, скажи сидельцу, от меня, мол, прислан, чичер-ячер дайте, а деньги завтра принесу...» В лавке сиделец мордатый, спросил я чичер-ячер. Да есть, говорит, сколько надобно. И сгреб меня за волосы, драть стал, приговаривать: чичер-ячер и всякое непотребное. Я еле убер.

А то привезли нам полную телегу рогожных кулей, тятя с возчиком расчет сделал, стал после кули развязывать, глянь, а под хорошим товаром гнилье. Батя напился, всем затрещин понасовал, будто мы виноватые.

Или Сенька заявился — изо рта сивухой несет. Отец был тверезый, сразу же учуял. «Иди,— говорит,— паскуда, штаны сыму». А Сенька просит: «Тятя, не трожь, виноватый я, с полочки целковый выдали, остальное в штраф, а за что, и сам не ведаю, вот я и пропил с горя». Тятя ругался, но Сеньку не тронул.

Еще слышу, Дуся мамане жалуется, дескать, конторщик один звал полы мыть, сулил полтинник, а ежели в другом не откажешь, так — два рубля. Про другое я понимал, каких разговоров не понаслышался.

Плохо жилось в Питере, а, правильней сказать, не в Питере — за Нарвской заставой. Город я не видал, он был вроде далеко-далеко, за тыщи верст.

Меня в школу снарядили, маманя сильно перед тятей за меня билась. Уломала-таки. Но учился всего полгода: со швабрами отец вовсе в трубу вылетел. Всё, объявил батя, пошутковал, прикрываем лавочку, плетью обуха не перешибешь, всех вас в рабство продам, за море-окияп... Батя хоть и не сильно грамотный, а в Питере всяких понятий да слов понабрался.

Определились: Дуся, Сашура и Федька — на резиновую мануфактуру «Треугольник», Алексей — в завод, где корабли строят, меня — к Сеньке, в чугунолитейный. Дома из ребят Нюрка осталась. Да маманя, хворая вовсе, не вставала. И батя дома сидел, вроде за мамкой пригля-

дывал и работу искал. Было мне тогда девять лет.

Под самый конец семьдесят седьмого схоронили маманю. Лежала не в церкви, а дома, на столе, махонькая, белая, и две только свечечки горели в изголовье. Шли соседи, шли незнакомые — смерть, я понял после, была как и развлечение, потому что пустая жизнь тянулась, каторжная, без смысла и малого просвета. Отбыл смену, вернулся, повалился на пол или общие нары, где перепутались и свои и чужие, отмучился в тяжелом сне короткие часы и опять сначала. А с получки — в кабак, пиво пополам с водкой, мордобой, полицейский участок, а то женин плач и перепуганные ребятишки, и голова наутро как бревно, и так день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

А в чугунолитейном заводе Петрова мне досталось быть вовсе мало. Я навивальщиком трубок работал, прямо как в преисподней, жар, дышать нечем, в груди стеснение. Однажды прихватило — грохнулся, где стоял. Окапали водой, еле очухался. В околотке лекарь говорит: «Парень, ты отсюда уходи, не то ослепнешь, глаза у тебя никудышные». Я папеньке обсказал, он, пьяный, излял: «Так и этак, не позволю сидеть на моей шее, не чугуновый я, не в заводе вашем делан... Поезжай тогда в Славковичи, к дяде своему, там и прокормиться легче, и глаза, может, поправишь на вольном воздухе».

Я понимал, что нет дела ему до моего здоровья, просто сбавить хочет. Но у дяди оказалось хорошо. Он занимался мелкой торговлишкой, я помогал, ездил с двоюродным братаном на лошадке по деревням, в телеге — платки, бусы, керосин, свечки, селедка в бочонке, ну, там еще соль, спички, свистульки. Дядя был нами доволен, выручку привозили исправно, а за какое время управляемся — наша забота. Случалось — распряжем лошаденку, полежим в тенежке, поедим селедки всласть, зашьем родничковой, даже поспим иной раз.

Но вольному житью скоро пришел конец — хорошее долго не удерживается, вскоре я узнал: коли тебе уж больно славно, жди, значит, худа.

Тятя надумал за ум взяться — перед иконой крестился, на маминой могилке божился. Понабрал денег в долг, решил за торговлишку приняться, — наверно, пример брата не давал покою. Но тот с умом дело вел и трезво, а наш батя — куда ему...

Подался он почему-то в город Остров, от Пскова недалеко, там купил харчевню и меня требовал к себе. Харчевня — при дороге, на бойком месте, сперва ничего было, наладилось, кормили сытно и дешево, готовила кухарка, я подавал, бегал, куда пошлют гости, приборкой занимался. Но, понятное дело, при своей-то безалаберной натуре батя с торговлей не управился.

И поехали мы обратно в столицу. Было это весной 1880 года.

1880 год, 5 февраля. В 6 часов 20 минут пополудни в Зимнем дворце произошел взрыв. Как выяснилось впоследствии, террористический акт против Александра II подготовил член партии «Народная воля» столяр Степан Халтурин. Император и члены его семьи не пострадали. Халтурин был арестован два года спустя по другому делу — убийство одесского прокурора Стрельникова — и казнен.

15 февраля. Вышел единственный номер первой в стране пролетарской газеты «Рабочая зоря»; издатель — созданный в декабре 1878 года «Северный союз русских рабочих», его возглавляли Степан Халтурин и Виктор Обнорский (впоследствии приговорен к десяти годам каторги). 15 марта полиция разгромила нелегальную типографию.

«Отсутствие способов для правильного и свободного

выражения недовольства» приводит к тому, что обществу «остаётся или молчать, или лицемерить, или, наконец, выражаться языком иносказательным». — С. А. Муромцев, либеральный профессор.

«Когда человеку, хотящему говорить, зажимают рот, то этим самым развязывают руки». — Александр Михайлов, народоволец.

4

Было воскресенье, начало весны 1881-го. Вот уже год я служил в типографии «Петербургской газеты». Хозяин — издатель и редактор — был Худеков Сергей Николаевич, грамотный очень, даже, слышать, пьесы для театра сочинял, про жизнь простого народа. Хозяина уважали, он с нами по-людски. А я особо Сергею Николаевичу поклонялся: приняли меня учеником, на хозяйские харчи и одежду, да положили три целковых в месяц. Батя согласился, сказал, что переплетное ремесло — гоже. Коли, не приведи господь, ослепнешь, так и на ощупь справишься. А барин, видать, добрый, обещал прибавку сделать к жалованью, ежели постарайшься.

Старался, из кожи лез. В переплетной мне пришлось по душе. Мастера над учениками насмешек не строили, про затрешины и слуху нет, типографские рабочие считались меж прочих самыми культурными, слово это я здесь услышал. Ну, понятное дело, в лавочку посылали, за селедкой, за папиросами, случалось, и за полуштофом. Но выпивали мало, да и то после работы, потому что ведь типография не чугунолитейный завод, здесь надо соображать головой. Нет, жаловаться не па что. Ещё в наборном — там похуже, дышат свинцовой пылью. А у нас в переплетной — благодать. Клеем, правда, вохнет, сперва голова побаливала, но привык.

Переплетное дело хитрое, им с кондачка не совла-

дать, мастер мне втолковывал, — если не хочешь всю жизнь дуриком, на побегушках, так поусердствуй, я человека из тебя сделаю... А меня и уговаривать не требовалось.

Ежели поглядеть на переплет — ничего вроде мудреного, две картонки, обклеены бумагой, обтянуты коленкором или, случалось, и кожей. А на самом деле куда не просто!

Приносят из печати листы. Их сперва надо сфальцевать в тетрадки. Перегибы загладить фальцбейном, костяным ножиком (трудно поначалу давались немецкие слова, их почему-то полно в переплетном деле). Потом складываешь тетрадки стопой, пробиваешь молотком, выравниешь — и в обрезной пресс. На корешке пиллой прорези делаешь, уширишь рашпилем, в желобки протянешь фидбунд, то есть шпурок. Готовишь форзац, двойной лист меж титулом и переплетом, перегинешь его, приклеиваешь слизур, полосу из коленкора, к ней будет крепиться крышка переплета. Сшиваешь блок прочными нитками, промажешь корешок клеем, обровняешь на резаке-губеле, закруглишь корешок, снова клеем и зажимаешь блок в прессе на полсутки. А когда высохнет, приклеиваешь к фидбунду и слизуре крышки. Вроде главное и сделано. Аи нет. Самое-то интересное и красивое впереди. Обрежешь сторонки по форме и начинаешь украшать. Надо сторонки покрыть бумагой под мрамор, коленкором, кожей. Тиснение сделать, позолотить обрез или тоже под мрамор его — каучуковым валиком, другой способ — щеткой, впабрызг. Интересно! А еще того лучше, когда старая книга попадает, растрепанная, рваная, каждый листок по отдельности. Возни много, зато и радости! Была неряха-замарашка, сделалась красавица, из рук выпускать жалко...

Всю премудрость за год я одолел, мастер хвалил при всех и доложил хозяину, тот приказал с масленицы поло-



жить аж двенадцать рублей, а одежка и харчи остались. Вон как махнул Васька!

И пошли у меня мечты. Если так будут каждый год прибавлять, богатею заделаюсь, поначалу мастером, потом старшим приказчиком в конторе, а после компаньонном стану, а то и сам приобрету всю типографию. Вот он я: в золотых очках, как Худеков Сергей Николаевич, и золотая цепка из жилета, на рысаках раскатывать стану, такая меня ждет судьба!

Правда, пока что денег в глаза не видывал, батя забирал, но с первой большой получки, перед масленицей, он пожаловал мне цельную трешницу и позволил на себя потратить, как хочу. Я бате — шкалик, сестренкам подарки по малости, оставил два целковых и масленицу отпраздновал — ух ты! На Сенной площади с горок покатался, глядел на фокусников и уродов в балаганах, объедался блинами (аж с икрой отведал!), пряниками, орехами в меду. Три дня пузом страдал после. А домой приехал не конкой, а — барин барином! — на вейке, так в Питере зовут чухонцев-извозчиков, их к масленице собирается видимо-невидимо. Понравилась мне такая прекрасная жизнь и я твердо постановил: стану богатею, в лепешку расшибусь, а стану!

С такой целью — денежки счет любят! — и приохотился к чтению. Я и прежде почитывал, когда с братаном по деревням торговали, у нас и книжки водились на продажу. Книжки нравились, названия и те заковыристые, красивые, не как в нашей жизни: «История о храбром рыцаре Францэле Венциане и о прекрасной королеве Ренцывене», «Браво, или Венецианский бандит», «Повесть о приключении Английского Милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе с присовокуплением к оной Истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии», «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа»,

«Гуак, или Непреоборимая верность»... И русские книжки попадались подобного рода: «Сказка о Марье Маревне, Кипрской царевне, и Иванушке-дурачке, Русском мужичке», «Еруслан Лазаревич» и еще такое же. Я и названия вот запомнил. Несколько штук забрал, вслух дома читал, даже батя слушал, когда не крепко выпивши, одобрял написанное.

И в мастерской такие книжки случались, но мастер их для работы брал не учтиво, как всегда, — швырял издали, кричал: на, мол, Васятка, сделай это самое... И прибавлял словечко. Я обижался за любимые книжки, но раз спросил, почему он книги таким словом обзывает. «Потому что дерьмо и есть дерьмо», — сказал мастер, достал из стопы толстенную книжищу, велел прочесть.

Название показалось скучным: «Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова». Взялся с неохотой, а после оторваться не мог. Вот чудо-то, а не человек! Грамоте самоучком дошел, чуть не в двадцать лет пешком в Москву отправился, чтобы званья получить, а через пять годков — за границей и на весь-то мир вскоре прославился...

Стал я у мастера спрашивать, чего бы мне такого еще, он Кольцова дал и Некрасова. Глянул — стишки. А я стишков и не видел печатных, думал — складно только песни составляют. В книжке у Кольцова и правда вроде песен оказалось, а вот у Некрасова хоть на песни похоже, да что-то иное...

С Некрасова сочинениями приключилась нескладница. Принес домой, мастер, позволил, а тут тятя, на грех, объявился. «Ну-ка, — говорит, — покажь, шкюбент, чем глаза портишь, керосин ради чего переводишь». Перевернул он лист, другой и оглашает: «Тошпен свет, когда правды нет, жизнь тошна, боль сильна...» Сперва призадумался, даже слезу пустил. Дальше почитал: «Нет у бедного грота медного...» Правильно, говорит, умнеющий человек соста-

вил. А потом как вывернется: «Ты, сучий сын, в тюрьму захотел? Чтоб сей же час — в печку!» — «Как же,— говорю,— тятя, сами же сказали, что правильно сочинил господин Некрасов». — «А,— говорит,— дурак ты, Васька, в книгах правду прописывать не положено, книги для утешения человека назначены, а не чтобы душу травить. А правда — она штука хитрая, за нее все вроде готовы на кулачки пойти, пока самому та правда понерек шеи не окажется. Запрещенная книга, жги сей минут!»

Книжку я отстоял, но домой больше таких не припосил. И задумался: может, батя и верно сказал, что не всякую правду вслух говорить надо? И что это запрещенная книга? Ежели напечатана, почему запрещенная? С мастером потолковать не решился.

Мало я еще понимал, но что ни день, то узнавал новое. И появился у меня интерес прямо-таки ко всему на свете, про людей, кто рядышком, и про другие государства и народы хотелось досконально разузнать. И почевать оставался в мастерской, чтобы почитать без докуки, лежа на кипе несфальцованных листов. А по воскресеньям норовил из дому сбежать, Питер посмотреть. Влезал в паровичок, ехал в Адмиралтейскую, в Казапскую часть. Повидал и Невский, и Дворцовую площадь, и памятник Петру Великому, в Исаакиевском соборе службу стоял. Разве мне присниться могло, что есть на свете этакая красота! А больше всего перед Зимним дворцом любил бывать. Сперва боялся — прогонят, вона сколько городских! Не гнали, только близко не подпускали к воротам и дверям и останавливаться не позволяли, а так гуляй, сколько хочешь. Я все думал: может, государя увижу? Вот ворота откроются, и в золотой карете, сотня лошадей в упряжке, является сам царь-батюшка. Нет, не довелось увидеть, жалко...

А что, если сегодня попытать счастья? Видали же

другие люди, не по воздуху летает, по земле ходит-ездит, как все... А денек сегодня выдался! Первое марта, весна прямо. С крыш течет, вороны орут на мокром снегу, черные, снег же прямо золотой, и небо синее, дымом не прокопченное, редко такое небо в Питере увидишь, все больше пасмурь, дождик, ветер. Хорошо мне было, даже стихи составить охота сделалось, да я не умел стихи составлять.

5

Я пошагал к станции паровичка, он уже пыхтел за углом, и тут на улице что-то случилось.

Не видать пожара, никого не грабили, никто не кричал «караул», не дрался, разве что пьяные возле кабака, но это дело привычное, не в диковину. А от паровичка бежали, размахивали руками, вопили непонятное. И не хмельные, видать, и не догоняют никого. Я кипулся па-встречу, еще издали услышал: «Уби-и-ли! Уби... ря-я... бй...»

Убили кого-то. И этакое случалось. Только почему орут столь сильно? И пароду больно много?.. Со мной поравнялась женщина, пальтецо нараснашку, волосы по ветру, поглядела белыми, вот-вот выскочат, глазами и сказала вдруг тихонько, будто бы тайком:

«Царя убили». Вот что сказала. «Врешь», — ответил я первое, что на ум пришло. «Эх», — сказала она и пошла покачиваясь, — может, все-таки, пьяная? Но догоняли другие, и все кричали одно, кричали женщины, фабричные мужики, студент какой-то, кричал извозчик, он стегал кобылешку, мчал порожняком по разбитой мостовой, шапка свалилась, а я стоял посерединке улицы столбом, люди бежали со всех сторон и орал вразноголосье: царя убили, государя-батюшку, антихристы, насмерть убили, в кусочки разорвало, шкубенты это, нет, н и г и л и с т ы,

да не ври, жида его порешили, слышать, Зимний-то дворец разнесло весь, а-ах ты, господи, твоя воля, да что ж это...

Скакали откуда-то фараоны, никогда их столько здесь не бывало, размахивали пашками-«с е л е д к а м и», р-р-разойдись, разой-дись-сь, кому сказано, ударили кого-то «селедкой» плашмя, заталкивали в двери, из лавок, из кабаков зачем-то выгоняли, па улицу выскакивали торговцы, сидельцы, кабатчики, половые, затворяли ставни, лязгали засовами, около меня очутился городской, высоченный, толстый, усы лезут в распахнутый рот. «Чего стоишь тут, сопляк, такую твою...» Замахнулся блестящей «селедкой», каркнули взлетевшие вороны, зашвистел паровичок, другой раз свистнул, звякнуло стекло, пьяный мастеровой лил в глотку из бутылки, кто-то сдуру ватынул «Боже, царя храни»...

Вломился в квартиру, все оказались дома, только Сеньки нет, он завел сожительницу, к л я ч у. Отец па койке валялся, курил. «Царя убили!» — заорал я. Дуся охнула, спустилась на пол, для чего-то придерживая живот, — опят ж е л а я, а мужа в солдаты забрили. Другие братья и сестры поглядели как на тронутого, а пятигодовалая Нюрка вдруг заревела и пустила на пол лужицу. Батя же душул махорочным дымом, повел судачьими глазами, сказал: «Че базлашь, убили, дак убили, одного ухайдакали, другой будет». Я был как громом пораженный, чего это батя, с ума что ли сошел. А он велел за водкой сбегать, мол, за упокой души. Никак его не понять.

Сбегал, принес. Вышел на зады, там на старых бревнах мужики тратили время в разговорах. Сегодня, понятно, про единственное толковали.

Говорили разное, с опаской, но больше сводилось к тому, что копчили Его баре, никак не смирятся, ведь государь крестьянам волю пожаловал и землю у господ отнял. Еще опять н и г и л и с т о в каких-то помипали,

а еще жидов — тем больше всех надо, Россию к своим рукам прибрать, своего царя поставить.

Смех теперь сказать, мне скоро четырнадцать должно было стукнуть, а разумом в чем-то был как малый ребенок. Оно и понятно, в деревне рос, а здесь, в Питере, еще ума не успел набраться, представления были у меня, можно сказать, детские. Они, жида и нигилисты, виделись мне горбатые все, рога торчат, копыта постукивают, не то черти, не то анчутки, всех бы своими руками передавил, погань такую. А убиенный государь, воображал я, большущий, красивый, он ходил в золотой одежке, уж если у нас в Славковичах поп и тот в золоте, государь-то и подавно. И все у него золотое — кареты, столы, табуретки, лавки, щи хлебал золотой ложкой из таких же мисок, и ухваты да кочерги во дворце, поди, чистого золота, им же и царята козны заливают, когда в бабки играют... А крестьянам государь, известно, волю дал...

Подходили новые люди, рассказывали, кто что слышал. Будто ехал государь по Екатерининскому каналу, народ собрался поклониться, и он всем в пояс кланялся, а тут выскочил какой-то, сам черный, нос крючком, росту аршина в четыре, да как жажнул б о н б о й. А бонба-то, ровно пузырь надутый, взлетела вверх, покружила да упала, его же, убийца, и поразила. Тогда другой, косматый, в шерсти, на коленях к царю-батюшке подполз, просил ручку пожаловать, а когда государь благословлял, кинжалом б а т ю ш к у поразила в самое сердце.

Очень мне было царя жалко. Поди, в золотой гроб положат?

## 6

«Божиею Милостию Мы, Александр Третий, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем верным Нашим подданным: Господу

Богу угодно было в неисповедимых путях Своих поразить Россию роковым ударом и внезапно отозвать к Себе ея благодетеля, Государя Императора Александра II-го. Он пал от святотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на Его драгоценную жизнь. Они посягали на сию столь драгоценную жизнь, потому что в ней видели оплот и залог величия России и благоденствия Русского народа. Смирясь перед таинственными велениями Божественного Промысла и вознося ко Всевышнему молибы об упокоении чистой души усопшего Родителя Нашего, Мы вступаем на Прародительский Наш Престол... На подлинном Собственной Его Императорского Величества рукою надписано: «А л е к с а н д р».

Я читал и сперва не понял: начертано «Александр», как же так, ведь его убили? Потом смекнул: Александр Третий, значит, сын. Но почему дальше сказано: «Господу Богу угодно было отозвать к Себе»? Так убили государя или бог отозвал? И почему велено всем придворным явиться для поздравления? Когда человек умирает, плачут, а не поздравляют...

Пошел к мастеру, тот: после работы потолкуем, останься.

Про то, что бог отозвал и насчет поздравлений, дескать,— это нового поздравляют со вступлением на престол, он пояснил, а после я спрашиваю: «Так за что же государя убили и кто это нигилисты?» Мастер говорит: «Помолчи пока, Васек, мал еще...» Не такой я маленький, как работать — со взрослыми наравне, а как чуть что, говорят — мал, не суй нос.

Не пойму, отчего и почему я взял этот номер «Правительственного вестника», разрезал на колодки, расклеил, сделал переплет... Что-то мне чудилось тайное в манифесте, не в нем самом, а в том, что за манифестом крылось, объяснить я себе не мог. Только я переплетенные страницы запрятал. И не зря ли?

Через день к нам нагрянули в мастерскую жандармы. Вверх дном все перевернули, чего искали — невдомек. Всякую книжку перетрясли, у иных непросохшие крышки отлетали, начиная сызнова. У меня прямо из-под пресса вытащили журнал «Слово», сунули в мешок. «Ты это брось,— офицер погрозил пальцем, внушительно говоря,— ты к р а м о л у всякую не вздумай читать, запрещенная это книга». Опять запрещенная, как и батя говорил. Опять невдомек: ежели книга напечатанная, как можно запретить? Но через месяц узнал: журнал этот и в самом деле закрыли.

А 31 марта напечатали в газетах — теперь я газеты каждый день читал, — что тех, кто убил государя, приговорили к смерти через повешение. И мигом стало известно по городу, что на казнь всех допустят желающих. П у б л и ч н а я будет казнь.

1866 год, 4 апреля. В Петербурге, в Летнем саду, студент Московского университета дворянин Дмитрий Каракозов, родившийся в 1840 году, совершил неудачный выстрел в Александра II. Это было первое п о л и т и ч е с к о е покушение в России. Первое (из многих) покушение на «государя-освободителя». Специально учрежденный Верховный уголовный суд заседал всего один день и приговорил Каракозова к смертной казни через повешение. Приговор был вынесен 31 августа, а третьего сентября на Смоленском поле казнь пад Каракозовым совершилась. Он был так измучен пытками, что свидетели утверждали даже: в петлю сунули не живого человека, а труп. Министр юстиции вспоминал: «Какое ангельское выражение было на лице государя, когда он сказал, что он давно простил его, как христианин, по, как государь, простить себя не считает вправе».

1878—1879 годы. В процессах террористов — пред-



шественников «Народной воли» — получили смертные приговоры 29 человек, невиданное в России количество. Приведено в исполнение 18 приговоров.

1881 год, 3 апреля. В канун позорного юбилея, пятнадцатилетия расправы над Каракозовым, подвергнуты удушению на том же Семеновском плацу славной столицы государства Российского цареубийцы:

Андрей Желябов, сын крепостного, неполных тридцати лет от роду (его Ленин поставит в ряд с такими выдающимися революционерами, как Робеспьер и Гарибальди);

Николай Кибальчич, сын священника, один из первых, кто разработал проект реактивного летательного аппарата, кто наверняка стал бы выдающимся, быть может, гениальным ученым;

Софья Перовская, дочь статского генерала, крупного чиновника;

Николай Рысаков, мещанин, несовершеннолетний и потому не подлежавший смертной казни; на следствии опструсил, выдал товарищей, но так и не «заработал» помилования;

Тимофей Михайлов, крестьянин, малограмотный, не сумевший даже постоять за себя в суде; впрочем, если бы и постоял, вряд ли бы облегчил себе участь — она была предрешена.

Непосредственный исполнитель приговора народовольцев — Игнатий Гриневицкий (от взрыва его бомбы Александр II и получил смертельную рану) избежал виселицы, ибо тем же метательным снарядам был искромсан, умер через несколько часов после покушения, даже не назвав своего имени, оно стало известно позднее.

Приговоренная к смерти Гесья Гельфман, объявив, что беременна, получила отсрочку от виселицы, умерла в тюрьме при невероятных муках и унижениях; ребенок ее исчез бесследно.

Надо при этом отметить, что Перовская была первой в России женщиной, лишенной жизни по политическому процессу.

И казнь 3 апреля 1881 года была последней публичной расправой. С тех пор политических вешали, расстреливали тайно: царизм боялся демонстраций.

Но репрессии продолжались.

1880—1890 годы. Казнены 17 человек, 106 приговорены в каторжные работы.

«Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа». — В. И. Ленин.

## 7

Я отпраился у мастера, уговорились, что за это воскресный день отработаю.

Пробивался к Семеновскому плацу, что возле Царско-сельского вокзала, там была назначена казнь. Я проталкивался поначалу вдоль Лиговки, вынесло на Звенигородскую, где народу вовсе невпротык, но я худой да верткий, ввинчивался меж боков, нырял под ноги. Боялся, что не попаду куда надо, но все-таки указывали дорогу, хотя все были нервно возбуждены.

Слышать было, что вывезут их со Шпалерной, из Дома предварительного заключения, в восемь, путь пройдет по Литейному, Загородному. Вот-вот покажутся, сейчас без четверти девять, сказали.

Меня вынесло на угол Звенигородской и Загородного, как раз когда процессия следовала мимо.

Две колесницы, высота невиданная: головы осужденных поднимались чуть не вровень с окошками вторых этажей. Пятеро. Прикручены к сиденьям широкими ремнями. На груди каждого болтались черные доски с бе-

лыми буквами: ц а р е у б и й ц а. Среди пятерых — женщина, значит, верно писали в газетах, я думал и многие, что, мол, ошибка получилась в газетах-то. Мужики-убийцы в серых, с закрытым воротом куртках, в таких же арестантских штанах и в круглых, блином, шапках, а женщина — в полосатом, как тюфяк, платье, с непокрытой головой. Не лето, озябла, наверно, подумал я и застыдился, что пожалел государственную преступницу, и еще подумал, что ей ведь все равно, мерзнет, не мерзнет, вздернут через несколько минут.

За телегами двигались открытые кареты с попами, кажется, попов тоже пятеро, все в черном и с крестами в руках. И, батюшки-светы, помыслить только, охраны-то нагнали, словно не полдесятка связанных по рукам-погам, прикрученных ремнями к скамейкам везут, а целую тысячу вооруженных разбойников! И пешие солдаты — штыки наперевес, и конные с шашками наголо, и жапдармы в голубых мундирах... Тишина такая, что слышать, как телеги и кареты стучат колесами, да что про стук — даже кашель доносился с первой телеги. Там сидел в одиночестве молодой, сам белый-белый, и голову попурил, а другой, бородатый, прямо на людей глядел, не совестился.

Я протиснулся к солдатам, что рядами выстроились вдоль тротуара, увидел убийц близко-близко, и почувдилось, будто женщина в полосатом платье поглядела на меня, а глаза печальные и добрые, как у маменьки, когда помирала.

Почему-то я кинулся прочь, но толпа повернула тоже, понесло вместе со всеми, я заторопился, шнырял опять меж ног, намяли бока, оттоптали, отдавили всего. Не знаю, зачем, почему, но мне обязательно было надо увидеть. Увидеть и понять что-то, а что — и сам не знал.

Открылся огромный, как деревенское поле, плац. Виделся красивый вокзал, гудел паровоз. Тянулись позади

казармы Семеновского полка, приземистые, о два этажа, справа и слева низкие каменные дома, а прямо передо мной высоко поднималось это. Я боялся даже мысленно это сооружение назвать настоящим именем.

Это — в виде буквы «П», на помосте, сажень от земли, с верхней перекладки свешивались шесть веревок с петлями. Почему же шесть, когда их пятеро? Никто не знал, что шестая была приготовлена для Геси Гельфман... Вережки раскачивались, касались друг друга, хотя ветра не было, и я подумал, что раскачиваются они от дыхания тысяч и тысяч людей, запрудивших плац.

Взад-вперед по деревянному помосту — лакированные сапоги выше людских голов — расхаживал здоровенный, в красной рубахе, пуговицы сплошным рядом, такие рубахи мясники надевали праздниками. Кумач перехвачен крученым пояском с кистями. Чего так вырядился, подумал я и спросил парня, что стоял рядом. «Дурак, — ответил он, — деревня ты, это ж — Фролов». Я опять не догадался, и парень втолковал: палач это, Фролов, единственный на всю Россию, его по всем городам возят, где в з д е р н у т ь надо, говорят, за голову по тыще получает, а вместо квасу али там чаю водку глохтит, сколь влезет... Жутко сделалось, я водил глазами за Фроловым, за красной мордой, красной рубахой, блестящими сапогами и тут увидел то, чего не заметил раньше.

Левее помоста, на земле, тулились в рядок п я т ь гробов, некрашенные, как у мамки, набитые свежими стружками выше краев, мне показалось, будто чую, как стружки сладко и весело пахнут.

Вспомнил маменьку и сжался весь — страшно, когда умирают, я видел, как маменька умирала, но ведь она своей смертью, никто не убивал. Ну, а ведь их-то убивать будут! А что, так ведь и они убили, да кого! Государя! Око за око, зуб за зуб, нас учил священник. Но ведь око за око. Значит, за одного тоже один.

А если пятеро за одного — это как понимать? Понимать так, Васька, ведь это же государь! Разве он даже целых пятерых стоит? Да за пего и сто тысяч повесить не грех... Сто тысяч? А если в их числе и меня, и батю, и сестренку, и братьев, даже маленькую Нюшку, мы-то при чем? А эти? Они-то бомбы не кидали, тот, который кинул, сам погиб вместе с царем, покарал, говорили, бог. Но эти помогали? Так ведь помогали, а не убивали... Я у соседей однажды, в Славковичах, окошко расколотил ненароком. Я расколотил, а рядом стоял Федянька. Меня — ремнем, ему — по затылку. И правильно. Виновному — кнут, а невиноватому, пускай и пособлял, так и подзатыльника хватит...

Эти мысли так и неслись, додумать не успел, да и не смог бы, паверно. Закричали на разные голоса: «Везут, везут!» Все повернули головы туда, к Загородному, я опять увидел казаков и над ними, конными, черные телеги, а над телегами, еще выше — под небом — их головы. Их.

Отвязали, взвели на помост. Я вспомнил вдруг: эш афот в книгах называют.

Поставили к виселице спинами. Рядышком всех. Женщина посередке, возле бородатого. Тот поклонился, видно, что-то сказал, опять поклонился. Вроде целуются.

Какой-то важный — генерал, не иначе — зачитывал по бумаге, не слышать, покуда не выкрикнул: к смертной казни через повешение!

И хотя все знали заранее, толпа разом дрогнула.

На эшафот взошел священник в золотом, каждому по очереди приложил крест для целования — зачем столько попов ехало, если достаточно и одного? — они приложились к святому кресту. При этом бородатый — Желябов, сказали, — улыбнулся, или мне показалось.

Священник спустился вниз, и палач отодвинулся в сторону, преступникам дали знак, они разломали ровный

ряд, перемешались в кучку, целовались. Я видел, что женщина, Перовская, обняла Желябова, прижалась, замерла, а от бледного, с опущенной и сейчас, как и в детстве, кудлатой головой, она отвернулась...

И вот раздалась неслышная команда. Они опять выстроились, как прежде. И снова казалось, что Перовская смотрит прямо на меня и глаза у нее, как у мамани перед кончиной.

До этой минуты чудилось еще, что это не казнь, а навроде представления, лишь народу напоказ, сейчас их посадят в двухсаженные колымаги, повезут обратно в тюрьму, а то и отпустят по милости нового царя.

Но палач приблизился, подергал для верности веревку, другую, он был теперь не один, а с подмастерьем, так обозначил я, потому что не знал другого подходящего слова.

Пятерых поставили на табуретки, трех по две были табуретки. Почему? И меня осенило: для того, чтобы неустойчивые были, чтоб легче вышибить...

Значит, сейчас... Значит, взаправду...

Может, неподходяще, может, не надо говорить, но тут я будто наяву, очень внятно увидел, как новый хозяин нашей избы на станции вздернул Кусая и как я плакал в темном вагоне и во мне теплилось, подобно лампадке, понимание несправедности, несправедливости, гнев против грубой силы, жестокости, уничтожения живого... Неужто и этих так вот вздернут и они будут сучить погами, стараясь достать земли, неужто и у них вывалится синий язык и останется торчком изо рта, неужто можно так поступать с человеком...

Напялили какие-то балахоны с мешками, пришитыми сзади, у самой шеи. Чинovníк, что стоял рядом, пояснил: «Это капюшоны, пакинут на головы, чтобы людям не видеть, сколь страшны сделаются...» Откуда он знал? И неужели правда?

Капюшоны им накинули, разом все пятеро стали похожи на черные кули, на черные колокола. Они стѣяли недвижно. Подмастерье отошел, сделав свое дело, а Фролов, поигрывая кистями крученого пояса, красуясь перед толпою, придвинулся к первому, расставил ноги, согнул одну — блеснула подковка, — послал вперед, однако не ударил, а опять стал прочно, примеривался, наверно. И опять послал вперед сапог, сильно, крепко, будто в жестокой драке бил супротивника в живот, ударил по табуретке, она вылетела, кувыркнулась и покатилась, а тот, в черном, закачался, из-под балахона завиднелись опорки, один слетел, и босая нога — босая, а холодно ведь! — тянулась подрагивая, чтобы достать до помоста, но где там... Он затих, и тогда Фролов саданул по второй табуретке. Выждал, потянул для верности за ноги, подошел к третьему. Под балахонами все неразличимы, но я-то помнил — третьей была женщина в полосатом, как тюфик, платье, Перовская, она дважды смотрела мне в лицо, как маменька, печально и добро. Неужели и она... будет дергаться, она маленькая, уж ей-то не достать неструганных досок помоста...

Удивительно, Перовская не дернулась, повисла сразу, раскачиваясь, будто по ветру, а ветра не было, и тихо-тихо струился воздух, и тихо стояла толпа, я быстренько глянул: все лица разные, кто плакал, кто исподтишка крестился, кто смотрел испуганно, а некоторые жадно, вытягивали шеи, становились на цыпочки, и в глазах прямо-таки огнем полыхало свирепое, паскудное любопытство, как у деревенских парнишек возле бани, где они подглядывали за голыми девками. Некоторые поднимали детишек, повидали чтоб и они...

Повис четвертый. Оставался один. Он что-то закричал, голос из-под капюшона прорвался через непрерывный деревянный бой барабанов, тот, последний, скинул несвященными руками капюшон, и раскрытый в неслышном

воплем рот виднелся отсюда, как рана, Фролов мигом опять закрыл ему лицо, потому, торопливо саданул сапогом, и тот — Михайлов, пояснил все тот же всезнающий чиновник, — рухнул на помост с лопнувшей веревки. Барабаны смолкли от ужаса, я слышал, как тело с мягким стуком ударилось о помост, увидел, как Михайлов силится встать.

Жуткий слитный вздох ахнул над площадью и раздался в толпе выкрики, можно разобрать: б о ж ь я м и л о с т ь, всевышний рассудил, его воля, провидение господне... Я слыхивал и прежде: если казненный сорвался из петли, значит, помиловал бог, второй раз вешать нельзя... Но уже кинулись прыткие солдаты, поставили Михайлова силком, он покачивался на табуретке, лицо второнях не закрыли, я видел — или мне только мерещилось, будто видел, — его страшное, перекошенное лицо. Снова накнули петлю, опять ударил сапог, и — господи! — Михайлов, дернувшись, качнулся и повис, и тогда веревка еще раз оборвалась...

Перекрывая вежливой барабанный треск, Фролов по-звериному взмыкнул, заорал, помянув и бога-мать, Михайлов лежал на спине, почему-то задрал ноги в опорках, может, хотел ипать пасильника, когда тот приблизится, в толпе становились на колени, поднимали руки, молили бога о милости, проклипали палача. Подмастерье быстро скакнул на табуретку под последней петлей, неизвестно, для чего, для кого уготована, — про запас, на такой вот случай, что ли, — и притянул веревку к той, на которой казнили пятого. Теперь Михайлову набросили две петли, через секунды все кончилось.

Палач Фролов, поигрывая кистями — пояс похож на веревку, подумал я, — с веселой лихостью выступил на край эшафота, горделиво помахал ручкой, быстро спустился и сел в приготовленные дрожки.

Было десять. Ровно час продолжалась казнь.



Казаки стали напирать на людей, напирали солдаты, напирали жандармы, толпа сперва нятилась неохотно, потом зашевелилась живей, хлынули прочь, переговариваясь. Я слышал прежде: антихристы, баре, студенты, жида, царя-батюшку сгубили, гады, поделом вору и мука... Я обернулся и увидел: кто-то полоснул по веревке пожом, тело грохнулось, другие, в серых пинелях, волокли тела и кидали, словно бревна, в открытые гробы, приминая свежую, весело пахучую стружку...

8

Долго не утихали разговоры об убийстве государя и казни злодеев. Больше сходились к прежнему: это баре отомстили за то, что дал крестьянам волю и землю. Но и о другом, случалось, толковали: вышел бы государь к народу, послушал про то, что воля-то неполная оказалась, да и сказал бы, дескать, правда ваша, люди добрые, помешали мне баре дать вам с л о б о д у не споловиненную, а заправскую, без выкунов да утеснений, по сам я не совладаю, пособите мне, бейте их, змеев окаянных, с моего благословения... Иные спорили: царю во все по вникнуть, держава у него велика, за десять лет не объедешь верхом, да и не государь в том повинен, что правды не знал, а савовники его, продажные шкуры, покойному императору голову забивали враньем...

Однако и этак рассуждали: мол, от самодержца милости не дожدهшься, потому как он сам, царь барский да купеческий, заодно с ними, а на рабочего человека ему тыфу... Но таких слов мало слышалось, а если кто и запкался, ему тотчас глотку затыкали: государя не трожь, он помазанник божий...

А про казни большей частью судили одинаково: дескать, коли решил Александр Третий погубителей своего батюшки сказнить — тут понять можно, любой на его

месте озлился бы. Но вот бабу понапрасно вздернули, этак ведь и ребятишек примутся жизни лишать, не по-христиански это...

ЗЗЗ

И еще такой был разговор: народищу-то на Семеновский плац понабежало тьма-тьмушая, людей вешали, через насильную смерть жизнь отымали, а тут буркалы плят, по-человечески это разве — на такой страх и поношение глядеть... Мне стыдно сделалось: и я ведь бегал, пялил буркалы, как сказали сейчас. Но только я почему-то понимал: на до мне было это увидеть, не любопытничания ради, что-то иное тут, я сам определить не умел. Знаю только: с того дня, с третьего апреля, сделался в чем-то другой. Молчаливый стал, дома так и почти вовсе не разговаривал.

Да и с кем разговаривать... У Дуни муж с царской службы вернулся, они сняли комнату на стороне. Нюрка еще маленькая. Саня швеей обучалась, жила у хозяйки. Семен, Федор и Лексей — те на заводе маялись, придут — и на бок, храпят, как слопы. Батя никак места подходящего для работы не сыщет, ждет неведомо чего. А Тимофей-родич вот какую штуку взял да учудил: поступил в городовые.

Явился при полном параде: фуражка с лакированным козырьком и кокардой, усы отпустил, закрученные кверху, накрашил их — сам-то белокрысы — и нафабрил, мундир с позументом, шаровары заправлены в сапоги, перчатки белые, а на перевязи — пашка-«селедка». Ах, красавец, ах ты, фараон... Приволок два штофа и закуску, батя выпить не отказался, конечно. И меня Тимоха уговаривал, мол, родича не уважаешь, сопляк такой, Васятка, родненький ты мой, поганец этакий, да я за тебя руку дам отрубить, а ты... «Не отрубишь, — сказал я, — руки-ноги тебе понужней прежнего теперь, по мордам лупить, в околодок тащить». Тимоха не обиделся, он захмелел, хвастал, сколько ему платить будут жало-

ванья, и мундир вон какой, и в любой трактир или кабак зайдя — стопочку наливают, навевываются, Тимофей Палыч, салфет вашей милости... Эх, Тимоха. А ведь хороший был парень, мастер на все руки, а польстился на мундир, на саблю, на фараоновский почет паскудный, на дармовую выпивку. Какой там почет, все фараонов ненавидели, только улыбочки делали им сладенькие, а как отвернется, кукиш показывали, а то и другое, посрамней.

Разошлись наши дорожки. Родич женился — начальство приказало остепениться, — в невесты подыскал дочку лавочника, страшна как смертный грех, косопузая, физиономия в ряби, волосенки жидкие. Зато приданое получил и стал у тестя жить как у Христа за пазухой. Мы встречались только ненароком, на улице, кивнем да и разойдемся. Зато батя к нему навевывался часто — понятно, по какой причине. И меня поучал: подрастай, дуrolом, тебе Тимофей Палыч — он Тимоху и заглазно так называть стал — п р о т е к ц и ю составит, пойдешь по его стопам, сыт, пьян и нос в табаке. Я на отцовы речи помалкивал, старшим перечить не положено, да и что проку с батей спорить, его не переделаешь.

## 9

Я все про тех, казенных, думал. Никакие не бароны — теперь доподлинно известно, — из крестьян, из мещанского сословия... Софья Перовская, правда, генеральская дочка, но ведь ушла из семьи, не захотела жить в богатстве и праздности, — значит, какой-то в том смысл есть, когда человек по доброй воле отказывается от богатства и на смерть идет — не за себя, за других. И как она глядела, будто прямо на меня, словно мне говорила: «Вася, ты не суди нас, постарайся понять — мы умираем, и гибнуть неохота, по мы идем на смерть без страха, на коленки не падаем, не просим пощады и милости...»

А ежели человек так с жизнью расстается, значит, понимает, что не зря приемлет муку и погибель?

Не с кем было поделиться мыслями, не у кого спросить. Я читал много и в книжках искал ответа — не сыскивалось ответа и там. На что уж Пушкин смелый, декабристам писал, над царями смеялся, но и он всего не растолковал. Да и кто растолкует, если большинство людей сами не понимают, как им жить. Разве что в записанных книгах полная правда есть? Но такие книги больше не попадались.

Однако ночью как-то — когда выходила газета, мы, из переплетной, поочередно помогали фальцевать номера — на рабочем столе у меня обнаружилась брошюрка. Мы такую мелочь в работу не брали, заказчик у нас шел солидный, издания тоже солидные — в коленкор и кожу одевали, — а тут брошюрка тоненькая, да нет, не одна даже, несколько, стопочкой. Тоненькие, на плохой бумаге. Название у всех одинаковое: «Зерно», а подзаголовок — «Рабочий листок». Тиснуто в Санкт-Петербурге, выпуски второй, третий, четвертый. Издатель не обозначен — я знал, что всякую книгу надо рассматривать, узнавать выходные данные, — только в конце припечатано: «Издание Общества «Земля и Воля». Не слыхивал про такое общество.

Листать начал без особого интереса, в сон клонило, скоро принесут газеты на фальцовку, подремать бы пока, да и вид у брошюрок неприглядный, картинок нет, стихов не видно, — я стихи полюбил. Но почему на столе у меня брошюрки оказались? Для чего? Я перевернул обложку, и первое, что увидел:

«4 ноября 1880 года в 8 час. 10 мин. утра приняли мученический венец борьбы за народное освобождение Александр Александрович Квятковский и Андрей Корпеевич Пресняков. Они умерли мужественно, с твердой верой, что их дело не погибнет и правда рано или поздно

возьмет верх. И они не ошиблись! На место погибших бойцов станут сотни и тысячи других. Русский народ встанет, как один человек, против своих притеснителей и кровопийц! А имена этих мучеников с гордостью будут повторяться из уст в уста наряду с именами других мучеников, погибших за народное дело! Вечная слава мученикам и месть врагам!»

Вон как! Значит, пятеро те не первые были, кого повесили... А может, этих, двоих, не казнили? Но ведь напечатано — мученическая смерть. И к мести зовут. Кого? Кто зовет? Кому надо мстить?

«Правда везде одна и та же,— читал я дальше.— И по за облаками она скрывается, не в шапке-невидимке гуляет по белу свету. Нет, ее можно узнать и понять!»

Ага, слава богу... Значит, есть правда, одинаковая для всех, и понять ее можно... Вот как раз чего и требовалось мне... Пошел к любимому уголку, там, где кивы несброшюрованных листов, падалился почитать лежа. Но тут позвали на фальцовку.

Управились часа за два, все поразошлись, кто в почтовой трактир для пивозчиков, кто завалился до утренней смены подремать, а я заперся и раскрыл выпуск «Зерна».

«Итак, если правда везде одна и та же, то русский рабочий, если подумает о ней как следует, пойдет ее... Эта правда — освобождение рабочего народа — зовется социализмом, а себя лучшие люди всех стран, люди, ставшие за общее дело работников, отдавшие этому делу жизнь и душу, готовые голову за него сложить, называют социалистами».

И прежде слышал я это слово, только произносили его немного иначе: социалысты, звучало оно ругательно, и никто не понимал толком, кто ж они, социалисты, пиги-листы, вроде антихристов их числили. А тут объясняли совсем по-другому.

«Объясним же, что такое социализм. Какой должен

быть устроен порядок в обществе, чтобы рабочий человек жил не впроголодь, как ныне, а сытно и в довольстве, чтобы один человек не обижал и не притеснял другого? Теперь трудящийся человек обогащает хозяина, служит ему рабочим скотом и изнуруется непосильной работой. Социалисты хотят, чтобы каждый, работая лишь столько, сколько на самом деле нужно для его потребностей, стал сам себе хозяином. Теперь рабочий и его семья не обеспечены и куском хлеба: сегодня ты не наелся досыта, а завтра тебе хозяин отказал от работы, и смотри — совсем с голоду гибнуть придется...»

А и верно! Вот когда я в чугунолитейном работал, закружилась один раз голова, потерял сознание — и пожалуйте, расчет. Вот, сейчас мне полтора червонца платят, я довольный, а коли вдуматься — какой ценой достается, по четырнадцать часов в день... И в брошюрке складно как говорится про все, будто сидит рядом умный человек и доступно втолковывает.

«Теперь вся сила государства берется с крестьян и рабочих: из них вербуются войско, платежами и податями с них наполняется казна; но всем этим начальство распоряжается, не спрашиваясь народа и даже прямо во вред народу».

Истинно так. На что господин Худеков у нас и образованный, и вежливый, голоса никогда не повысит, и с днем ангела поздравит, и мастеров учтивости обучил, но разве станет он с рабочими совет держать, прибылями поделится? Правильно все в брошюрке.

Весь день я размышлял: как эти брошюры оказались у меня, зачем? Мастера не отважился спросить. А вдруг испытывают меня, узнали про Тимоху-то, фараона, вдруг, думают, и я на тайной службе состою? Обидно сделалось от подобных мыслей, к товарищам приглядывался с испыткой — вдруг кто посмотрит косо? Нет, все по-прежнему.

Брошюрки я утянул, никто не спохватился. И вот что интересно дальше пошло. Если прежде мне попадали в работу и французские романы, и письмовники, и сочинения, которые не притягивали меня, вроде Боборыкина или Кукольника, то сейчас больше оказывались на моем столе в переплетной и Пушкин, и Лермонтов, и Тарас Шевченко (я его полюбил, доходчиво писал он!). И еще «одевал» я однажды «Современник» от 1863 года, выпуски 3, 4 и 5-й, в каждом номере — закладочка, глянул, ишь, роман с заманчивым заглавием «Что делать?», сочинение какого-то господина Чернышевского. Прочитал, половину так и не понял, но главное-таки разобрал: не про любовь, как поначалу кажется, хотя и про любовь тоже, по сути романа в ином — как людям жить надобно, если хотят по справедливости сами жить и кругом справедливо устроить.

Лишь много после, когда я из переплетной уходил, наш мастер за прощальной выпивкой мне шепнул: это, дескать, книжки-то он подбирал для меня. А разговоров не заводил, потому что все ж опасался: молодой, не проболтался бы... С мастером тем я больше не встречался, а жалько: он, оказывается, в моей судьбе много значил.

## 10

Когда Тимуха ушел жить к тестю, я перебрался в его закуток, выгороженный в нашей комнате. Кровать, маховый столик, и еще я полку сделал для книг, их приконилось десятка три, покупал на развале, трепанные, сам переплетал. И среди прочих стоял у меня томик, в который я влил выпуски «Зерна», всего их оказалось шесть, раздобыл полностью.

Вернулся как-то пораньше, застал привычную картину: братья спят после ночной смены, сестры у себя,

Нюшка уроки приготавливает, она в школу пошла, батя не вяжет лыка. «Тимка у нас», — доложила Нюшка.

Родич сидел в моей каморке и занят был чтением. Я посмеяться хотел: глянь, за ум взялся, господин городской, не иначе в благородия наладился, в господа офицеры. Но посмеяться не дал Тимофей, опередил, он себя хозяином чувствовал.

Он пребывал в полном параде: саблю и ту не отстегнул и фуражка на башке. А перед ним, это я мигом углядел, «Зерно».

Читал Тимофей бойко, дольше всех нас учился, бойко читал и с выражением, когда надо. Вот и огласил «с выражением»:

«Правды не задушить, рано или поздно она возьмет верх! Русский народ станет за нее крепко, грудью и раздавит орду мироедов и кулаков с ненавистным правительством во главе, как триста лет тому назад он сбросил иго татарской орды».

Значит, грудью раздавит? Ког-го раздавит? Правительство. Какое правительство? Государево. А кто государь? Помазанник божий. Бун-то-вать?

Это мне отчекапил городской Тимофей Павлович Сизов, оп же мой дальний родич Тимоха, мастеровой парень, теперь же фараон и кабатчиков зять, продажная шкура. Отчекапил, вылупил об обученно зепки, подкрутил усы, брякнул саблей. «За-а-р-р-е-с-т-у-ю!» — скажет теперь запросто.

Но Тимофей повел себя вовсе по-ппому. Словпо бы в задумчивости полистал еще раз книжку, выпул коробку папирс «Заря», дорогие, на пяточок десяток, с форсом чиркнул шведской спичкой о подошву, пустил дым сквозь нафабранные усы — оп проделывал это медленно, с явным наслаждением своей властью падо мпой. Я присел на кровать и молча наблюдал комедию. Накопец, спалив папироску, Тимоха заговорил, и речь его была нетороп-



ливая, гладкая, видно, приготовленная, пока сидел тут, рылся в моих книгах.

«Политикой, значит, интересуешься, браток,— сказал он со значительностью.— Книжечки почитываешь запрещенные, за которые в «Кресты» сажают, а то и в крепость. Жить надоело на воле, казенных пожелал харчей? Что ж, не отговариваю, более того (ишь ты, кому-то подражал из своего начальства — более того!) — нам такие люди надобны». — «Какие — та к и е? — спросил я. — И кому это — н а м?» — «Нам — значит, государственной полиции,— пояснил он снисходительно.— А такие вот, как ты. Молодой ты, Васятка, и грамотный и, наверно, социалистов знаешь, коли такие книжки почитываешь». — «Социалистов», — поправил я. «Один хрен, социлисты, нигилисты, всех бы в один мешок да в воду. Слушай, Васятка, айда к нам, слышь?»

Чего-чего, а подобного я никак не ожидал, вид у меня, должно быть, сделался глуповатый, Тимоха захохотал. «Не тушуйся, парень,— сказал он,— правду говорю, давай к нам». И похлопал меня этак по-барски.

«Фигура у меня для того неподходящая,— нашелся тут я наконец,— виду нет представительного, не то, что у некоторых». Тимоха принял за комплимент, прошелся, громыхая шашкой и выпятив брюшко. «Ничего,— сказал он,— мундир не потребуется, в чем ходишь, в том и останешься, поскольку будешь ты...» — «Шпионом, доносителем,— подхватил я,— так, что ли?» — «Не шпионом,— поправил Тимоха,— тайным агентом». — «Это другой коленкор,— сказал я.— Если агентом, да еще тайным, тут надо покумекать. Очень интересуюсь, а плата велика ли?» — «Сперва не шибко,— сказал Тимоха,— десятка в месяц, а опосля видно будет, по твоему, слышь, усердию». — «А как усердие определяется, поштучно за каждого, кого продам, или как?» — «Поштучно», — подтвердил Тимоха, шуток и подковырок никогда не понимал.

«Маловато,— сказал я,— по червонцу ежели. Иуде и то аж тридцать сребреников отвалили, а нынче овес дорогой...» Тимоха хлопал гляделками, никак не мог взять в толк. «Ладно,— сказал я,— катись, шкура, доноси на родича своего».

Он выругался матерно — Нюшка, паверно, слыхала, да ей не привыкать — и ушел.

Нет, не продал. Думаю, за себя опасался: как же, у него родич, хоть и не близкий,— и вдруг нигилист.

А я не был никаким нигилистом или социалистом, я блуждал в потемках, нащупывал путь слепо, наугад, без чьей-то помощи. И не ведал, какие события происходят в России, за границей.

1883 год, 13 сентября. В Женеве опубликовано извещение об организации группы «Освобождение труда» во главе с Георгием Валентиновичем Плехановым. Через месяц издана его работа «Социализм и политическая борьба».

Начало зимы. В Петербурге образована социал-демократическая группа Димитра Благоева, болгарина, учившегося здесь. В ее составе около тридцати человек, главным образом студентов Петербургского университета и Технологического института.

1884 год, февраль. Группой «Освобождение труда» издана книга Фридриха Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» в переводе Веры Засулич.

Лето. В Женеве напечатан первый проект «Программы социал-демократической группы «Освобождение труда».

Вторая половина года. Группа Д. Благоева разработала проект «Программы партии русских социал-демократов». Ряд важнейших теоретических положений решался с позиций, близких к марксистским: признание неизбежности капиталистического пути развития России, форми-

рования и роста рабочего класса, необходимости завоевания демократических свобод как предварительного условия для последующей борьбы за социализм. Но в проекте содержались также народнические и лассальянские ошибки.

1885 год, начало. В издании группы «Освобождение труда» вышла работа Г. В. Плеханова «Наши разногласия». В ней дана развернутая критика теории и тактики народничества, обоснован вывод о вступлении России на путь капиталистического развития, доказано, что передовой и решающей силой грядущей революции является пролетариат, а не крестьянство, выдвинута задача создания рабочей социалистической партии в России.

7—17 января. Знаменитая стачка на текстильной фабрике «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сын и К<sup>о</sup>» близ станции Орехово Владимирской губернии под руководством Петра Моисеенко, Василия Волкова и других. Арестовано более 600 человек, но суд присяжных вынес оправдательный вердикт, ответив отрицательно на все 101 вопрос о виновности подсудимых. Реакционнейший журналист Михаил Катков по этому поводу писал: «В старом богоспасаемом городе Владимире раздался 101 салютационный выстрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса». Царизм вынужден был пойти на уступки, приняв закон о штрафах, отражавший требования владимирских ткачей. «Эта громадная стачка,— отмечал В. И. Ленин,—произвела очень сильное впечатление на правительство, которое увидало, что рабочие, когда они действуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса совместно действующих рабочих выставляет прямо свои требования». Морозовская стачка явилась поворотным пунктом в истории русского революционного рабочего движения, которое отныне стало все более приобретать организованный и сознательный политический характер. Народовольче-

ское движение пошло на спад. Революционные народники, писал Ленин, «исчерпали себя 1-ым марта».

Конец января — начало февраля. В Петербурге вышла нелегальная газета группы Д. Благоева «Рабочий», тираж 200—300 экземпляров, распространялась в Москве, Одессе, Киеве, Харькове, Казани, Самаре и других городах.

### *Глава вторая*

Итак, народники себя исчерпали первым марта 1881 года...

Организация «Народная воля», образованная в августе 1879 года, насчитывала всего пятьсот человек. Именно они, по мысли инициаторов, были должны — и могли якобы! — поднять вооруженное восстание с целью демократического преобразования России. Средства оставались прежними: индивидуальный террор. Они «сделали шаг вперед, перейдя к политической борьбе, но связать ее с социализмом им не удалось» (В. И. Ленин). Царизм перешел в наступление. В 1879—1883 годах прошло более семидесяти политических народовольческих процессов, привлекались около двух тысяч человек. Партия «Народная воля» оказалась обескровленной, переживала идейный и организационный кризис и вскоре прекратила существование.

Но страх и смятение обуревали также правящие круги. Уже через двое суток после воцарения Александра Третьего председатель Комитета министров граф П. А. Валуев дерзновенно предложил государю... назначить правителя-регента на случай, если нового самодержца также убьют. Александр Александрович, естественно, обиделся, полмесяца капризничал, однако регента назначил — своего брата, двумя годами моложе, великого князя Владимира. И тотчас удалился в Гатчину, проще говоря, сбежал

в панике перед террористами. «Военнопленным революций» называли венценосца Маркс и Энгельс, в России он получил прозвище «гатчинский пленник».

Человек он был, как свидетельствуют современники, тяжелого нрава, наделенный непомерным самомнением и себялюбием, отличавшийся изрядной скудостью воображения. Излюбленным его занятием была игра, отчасти патологическая: он коллекционировал фотографические карточки всех, кто покушался на жизнь его отца, собственноручно расклеивал по альбомам. Была игра и другая, о ней поведал начальник его личной охраны и ближайший друг, свиты его величества генерал-адъютант П. А. Червин: «Ляжет на спину на пол и болтает руками и ногами. И кто мимо идет... норовит поймать за ноги и повалить». Этим занимался отнюдь не мальчик: к моменту вступления на престол Александру было 36 лет.

Но сущность Александра III заключалась, разумеется, не в этих полуапекдотических выходках и страпноватых привычках, не в пристрастии к алкоголю, наследственному в роду Романовых. Сущность его личности заключалась в ином, и ее с неожиданной точностью и лаконизмом и со столь же пегаданным сарказмом выразила после кончины венценосного сунруга его жена, Мария Федоровна. Наставляя занявшего престол сына, Николая II, вдовствующая императрица произнесла о муже знаменательные слова: «И без образования был, и читать был не охотник, а в люди, видишь, вышел». И прибавила о своем свекре, Александре II: «Либеральничать вздумал, вот его бомбой и разорвало. А отец твой никакого либеральничанья не допускал, и слава богу...»

Официозная литература старалась изобразить нового царя со стороны сугубо положительной, подчеркивая в нем «тихий нрав, простоту, прямодушие, добросовестность», находя, что император отличается «твердостью

воли, любовью к строгому порядку, приверженностью ко всему русскому», утверждала, что Александр — «спокойный миролюбец, воздержанный семьянин и человек правильной жизни».

Между тем предпоследний император Всероссийский был отнюдь не так уж безобиден. Именно при нем ограничили права поляков, евреев и иностранцев на приобретение земель, прокатилась волна антисемитских погромов, установили более жесткие правила проживания евреев в сельской местности и приграничной полосе, ввели для них трехпроцентную норму при поступлении в гимназии и университеты. Запретили преподавать польский язык и употреблять его в государственных учреждениях на территории Царства Польского. Преследовали католическое духовенство, многих украинцев-униатов (лиц греко-католического вероисповедания) насильственно обращали в православие. Всяческим гонениям подвергали население в прибалтийских провинциях — Лифляндии, Эстляндии, Курляндии, в Финской губернии.

Словом, государь неукоснительно исполнял собственный манифест, подписанный 29 апреля 1881 года: «Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело Правления, в уповании на Божий Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы призваны утвердить и охранять... к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к водворению порядка и правды».

Крамолу искореняли весьма настойчиво. Правительство, по словам В. И. Лепова, вступило «в беспощадную борьбу со всеми и всяческими стремлениями общества к свободе и самостоятельности». Учредили реакционный университетский устав. Ввели — с широкими правами — должности земских начальников. Решительно атаковали прессу. О реакционнейшем Каткове — том самом, кто писал о «сальютационных выстрелах в честь рабочего вопроса», чье имя стало нарицательным, как некогда имя

Фаддея Булгарина, — всемогущий обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев сказал: «Он один — достойный уважения и преданный, разумный человек. Все остальные (журналисты. — *Авт.*) — сволочь или полумные». Александр высказался: все «газетчики» в России — «такая дрянь».

Вторая революционная ситуация в России — конца 70-х — начала 80-х годов — была решительно ликвидирована самодержавием. Волна революционного энтузиазма пошла на убыль. Среди интеллигенции, в том числе и передовой, пользовалось особым успехом толстовство, расцветала обывательщина, на передний план выдвигались мелкие культурно-благотворительные дела, дух 60—70-х годов уходил в прошлое, умирал, многим теперь жизнь казалась безнадежной и беспросветной.

Реакция перешла в наступление.

## 1

Издавна говорят, что рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Оно, конечно, так. Но лучше можно понимать по-разному. Ибо сказано еще: не хлебом единым жив человек.

Казалось бы, чем плохо Шелгунову в переплетной? Порядки отнюдь не зверские, люди кругом грамотные и большинство вежливые, выпивали в меру, не безобразничали, работа хоть и долгая, но без физического изнурения, жалованье — пятнадцать рублей, прочили в старшие подмастерья — словом, жилось вовсе не худо, если прикинуть.

А он всем на удивление весной 1885 года попросил расчет, как ни уговаривали мастер и даже сам господин Худеков, сколько ни лалялся папаша, ни высмеивали братья, ни удивлялись старшие сестренки.

Не всегда, особенно если тебе лишь восемнадцать,

как было Василию, мы умеем толково объяснить свои поступки себе, а тем более окружающим. Причин поднакопилось изрядно.

Слишком уж благостно и тихо показалось Василию здесь. Пускай Шелгунов и не ведал о том, что творилось в России, а паче того — за ее пределами. Но, парень умный и достаточно уже начитанный, кое-чего наслышанный, Василий не мог не чувствовать: вокруг совершаются дела поважнее, чем здесь, в мастерской. Он знал, разумеется, о стачках, о забастовках, о том, как рабочие, навалившись на владельцев с о о б щ а, нет-нет, а и добиваются каких-то уступок, послаблений. Не столько сам этот результат, сколько, пожалуй, мальчишеская еще потребность ввязаться в драку, показать силушку тоже влекл его.

В нем пробуждалось — пока не слишком осознанное, скорее подспудное — стремление сделать нечто большое, значительное, крупное, такое, что восхитило бы людей, надолго бы осталось. Переплет — что переплет? — им полюбуются хозяин книги, похвастается перед гостями, пускай даже сотня людей увидит, а надо бы такое, чтоб тысячи, десятки тысяч подивились мастерству... Он понимал, конечно: в одипочку ничего крупного не сотворишь.

Надежда выбиться в люди, даже, чем черт не шутит, и разбогатеть тоже не оставляла Шелгунова, и ему казалось, что на большом заводе, среди многих и многих таких же, как он, легче найти дело по душе, по силам, по способностям, проявить себя, помериться с другими. Свою застенчивость Василий преодолевал, по молодости лет в себя уверовал крепко, готов был кинуться без оглядки — вернее, не столько был готов, сколько хотел быть готовым, рвался к тому.

А отважился на решительный шаг все-таки не сразу: и побаивался уходить с насиженного места, и льстили



уговоры остаться, и сбивали с толку родственники. Но, быть может, все это, с другой стороны, и подливало масла в огонь, побуждало пойти наперекор, показать самостоятельность. Василий взял-таки расчет, вынул в переплетной «отвальную» и на другой день оказался в конторе «Нового Адмиралтейства», судостроительного завода, что расположен в конце Галерной улицы, меж Большой Невой и Мойкой.

Начало его не порадовало: приняли чернорабочим, жалование — полтинник в день, значит, за месяц рублей тринадцать всего, и работа тяжелая и неинтересная: подай, убери, принеси, сбегай, перетаскай на склад, словом, мальчишка на побегушках, а Василий ощущал себя уже взрослым, привык к отношению уважительному. Но терпел, верил, что это положение временное, он своего добьется.

Работал в механической мастерской. В обеденный пабаш, а то и после смены ходил по заводу, старался понять, что к чему.

Все наполнилось грохотом, лязгом, скрежетом, криками. Понемпогу начал разбираться, как рождаются огромные корабли, стальные махины, предназначенные и для мирной торговли, и для человекоубийства.

Заходил в плаз, громадный сарай, где по гладкому черному полу в натуральную величину мелом вычерчивали детали. Видел, как по рисункам этим выкраивали шаблоны и лекала. Как по шаблонам режут, а потом выгибают листы металла, намечают в них отверстия, устанавливают на деревянном каркасе — на шпалгоутах, на киле, на шпрингерах. И как постепенно из деревянного скелета, похожего чем-то на огромную обглоданную рыбину, вырастает корпус красавца корабля. Как ладят палубные надстройки, поднимают мачты, устанавливают двигатель, как, наконец, красят суриком. А позже, когда о форштевень разобьют бутылку шампанского, повый ко-

рабль катится по насаленным полозьям, буравит воду Невы, похожий на тот, каким станет вскоре, хотя и предстоит еще д е л ь н ы е работы: установка шлюпбалок, дверей, клюзов, кнехтов, всякая столярка и конопатка.

Он любил смотреть, как покачивается на широкой невской волне корабль, еще не законченный, недостроенный, но уже прекрасный. И пускай он, Васька Шелгунов, был всего-навсего чернорабочим в механических мастерских, все равно гордился: и моя тут доля есть, пускай неприметная, никому не известная, есть моя доля труда в сотворении чудо-корабля, покорителя морей и океанов!

Вскоре Шелгунова заметили, поставили учеником слесаря. Он старался с превеликим усердием. Разметка, рубка, правка, гибка, резка ножницами и ножовками, опиловка, раззенковка, нарезка, клепка, шабровка — это понял и освоил быстро. Допустили к станку. Тут поначалу — на шарошке — запарывал деталь за деталью, порченные винты летели в ящик с отходами, мастер-немец ругался по-всякому — и доннер-веттер, и цум-т о й ф е л ь, и загибал русским основательным загибом. Но продолжалось недолго: наострился, перевели с шарошки на фрезерную. И Шелгунов духом окончательно воспрянул.

Осенью того же года случилось у Василия и другое событие.

Возле пропускной будки увидел типографическое объявление: приглашали для поступления в вечерне-воскресную школу. Афишка приманчивая: занятия после смены, по воскресеньям же — когда закончится ранняя обедня. Последнее обстоятельство Шелгунова не интересовало: в церковь давно уже не заглядывал. А вот программа вроде подходящая: русский язык, арифметика с начальной геометрией, черчение, рисование... Правда, еще и пение, и закон божий, но это можно и перетерпеть. Зато имеются и с п е ц и а л ь н ы е классы, где преподают начала фи-





зика, химии, механики, а также главные сведения по географии, естественной и всеобщей истории, преимущественно российской. Плата чепуховая: тридцать копеек в месяц. И школа удобно расположена, недалеко от дому, по Старо-Петергофскому проспекту... Все подходяще. Только вот удивился: а чего ради эти школы открыты, ведь, говорят, правительство совсем не заинтересовано, чтобы рабочие из тьмы выходили на свет.

Ему было невдомек, что правительство заботилось, конечно, вовсе не о благе мастерового люда. Промышленность бурно развивалась, появлялись сложные станки, требовалось теперь не бездумное выполнение указаний мастера, а надо и собственной головой соображать. Вот и создали эти школы, чтобы снабдить «чумазах» пачатками технических знаний.

Однако допустили крупную промашку, не учли важного обстоятельства. Преподавание в школах велось бесплатно, и в педагоги пришли прежде всего женщины. Притом настроенные, как правило, прогрессивно, если не прямо революционно. С желанием открыть ученикам доподлинную правду об их существовании.

Василий оказался в классе чуть не всех моложе, но живости ума быстро управился с программой, сразу перевели в третий, технический.

Тут начали учить и космогопию, и геометрию, Шелгунов освоился, даже на Библию замахиваться стал, усомнился, правильно ли там рассказано о сотворении мира...

В школе происходило и забавное, и трогательное. Ученики относились к наставницам с полным, безграничным даже, доверием. Помнится, мужик один, сторож, заросший дремучей бородою, докладывал учительнице, что сын у него народился, и спрашивал, как мальчика называть. А другой, с табачной фабрики, написал в сочинении, как нашли на улице подкинутого младенца — надо ли его кому-то усыновлять, или сдать в приют? Сектап

один, сильно верующий, вдруг заявил, что бога нет, и от понимания этого легче стало, поскольку быть рабом и божьим, и хозяйским — это двойной гнет. Безногий солдат явился, сказал: «Был у вас в школе дружок мой, помер, а перед кончиной всех учительш вспоминал и гроши, какие прикопил, завещал школе». А рабочий, церковный староста, взбеленился, что священники-то парод обдуряют, а он попов хочет на чистую воду вывести, потому как теперь про ф а з ы развития человечества стал понимать... Или еще. Ученик бойко и толково доказывал, что Земля круглая, про корабль, который сперва показывает мачту, после — трубы, а окончательно уж потом объявляется, и про то, как солнце закатывается за горизонт. Очень толково разъяснил, а под конец добавил: это неправда, б а р е придумали...

Бывало в школе и другое. Например, задала учительница написать предложение, с подлежащим, сказуемым, дополнением. Ученик и вывел на доске: «Кустарь не может выдержать конкуренции с крупным производством». Учительница и глазом не моргнула, сказала: «Предложение построено верно, садиться прошу».

Рабочие пользовались любым случаем, чтобы на уроках рассказать о заводских делах, об утешениях администрации, какие недовольства где... Были, конечно, и провокаторы, но их не боялись: провокаторов — единицы, а в большинстве — люди свои, попробуй выдай! Потому и говорили в открытую, что предполагали: учительницы, скорей всего, связаны с подпольными организациями, расскажут кому надо про настроения своих подопечных.

## 2

Среди учеников Шелгунов давненько заметил этого человека, невысокого, щупловатого, хорошо одетого, — впрочем, на занятия все приходили в ч и с т о м, но этот

был особенно щеголеват. Веселый, общительный, он во время перерывов ходил по коридорам, прикуривал у одного, у другого, заводил разговоры. Дошла очередь и до Василия. Молодым свойственно преувеличивать возраст других, Шелгунову он поначалу показался значительно старше, вскоре выяснилось, что разница была всего в полтора года.

Беседа началась с пустого: где работаешь, да кем, да сколько получаешь. Отвечал Василий без охоты: все-таки человек этот мало походил на мастерового — костюм-тройка, стоячий воротник белой сорочки, галстук бабочкой; то ли мастер, то ли конторщик. Зачем тут ему отираться, может, шпик? Но шпик старался бы выглядеть как все, не выделяться. Хозяйский прихвостень какой-то? Василий отвечал односложно, а тот гнул свое: для чего в школу поступил, какой предмет больше по душе? Шелгунов слушал-слушал, да и выпалил в лоб: «Скажите, господин, чего вам от меня угодно?»

Г о с п о д и н засмеялся, вынул заводской пропуск: подручный кузнеца экспедиции заготовления государственных бумаг. Про экспедицию Василий не слыхивал, но подручный кузнеца — свой же брат. Сбавил тон, сказал уже запросто: «Чего турусы на колесах разводишь, говори, к чему разговор завел?» — «Во, наконец-то, — сказал тот, пожалуй, обрадованно. — Я, Василий, к тебе давно приглядываюсь. Да ты не морщись, не фараон я и не пособник ихний. Будем знакомы: Егором звать, по батюшке Афанасьевич, по фамилии тоже Афанасьев». (Осторожен оказался: в пропуске заводском фамилию вроде бы ненароком прикрыл, Василий позже узнал — Афанасьев была его подпольная кличка, на самом же деле Климанов.)

Потолковали более или менее в открытую. Шелгунов признался — не без смущения, как-то совестно было признать свою неразвитость, — что не против был бы позна-

комиться с нигилистами. Думал, Егор засмеется, нет, остался серьезным. «Нигилистов нынче нету, Вася, — сказал он, — а есть революционеры. Социал-демократы, не слыхал про таких? Вот-вот, социалисты по-иному, верно. Познакомлю в свой срок. А пока почитай вот, после поговорим». — «А где... вас искать?» — спросил Шелгунов, еще не смея обращаться на ты. «Искать меня тут-ка, — нарочно по-псковски отвечал Климанов: земляки оказались. Егор из-под Плюссы родом и крестьянский сын тоже. — Я же в школе этой учусь, только на уроки не всегда успеваю, делов хватает, Вася. А выкать ни к чему, мы с тобой, считай, ровесники. Книга же эта полезная, хотя и отдает народническим духом. Эту осилишь — другую дам».

Сперва Василий удивился, книжка называлась «Слово на великий пяток епископа Тихона Задонского», на кой хрен? Но тотчас обнаружил: в середку вплетены листки совсем иного рода, про три цени там говорилось, какими народ опутан, — царь, помещик, поп.

Вскоре Климанов — теперь Василий знал и подлинную фамилию — принес и другие брошюры. Те были посерьезней, посложней, в них трудно вникать оказалось, а с Климановым виделись редко. Да и в школе заниматься делалось с каждым классом затруднительней: на четвертом году стали учить физику, химию, механику.

Шелгунов знал, что среди учителей шли бесконечные распри: одни считали, что надо просвещать рабочих только грамотой, лишь начатками знаний, а другие пытались использовать все возможности, чтобы расширить кругозор своих учеников, подготовить их к политической борьбе. Василию повезло: преподавателем теоретического курса в школе оказался Тимофей Тимофеевич Будрин, личность, безусловно, весьма незаурядная. Флотский офицер, он, выйдя в отставку, полностью посвятил себя педагогике. Лет пятидесяти, стройный, суховатый, он и живо-



стью, а пылкостью характера напоминал юношу. Бывало, затевал с учениками разные игры, бегал вперегонки, всех обгонял. Вскоре поняли: не просто резвится Тимофей Тимофеевич, а этак вот, ненавязчиво приобщает к занятиям гимнастикой. А уроки были у него интересные, смелые, без оглядки на казенную программу, с примерами, взятыми из жизни. Когда видел, что ученики приустиали, начинал читать какой-нибудь смешной рассказ. Будрин своим подонечным старался привить хорошее и по долгим наставлениям учил, не скучными проповедями, а без всякого нажима, чаще всего своим же собственным, неподчеркнутым примером. На квартире у себя он устроил столовую и ежедневно угощал десятерых, а то и больше беднейших учеников — поначалу жареной картошкой с хлебом, а позже и обедом из двух блюд, многим такой обед вообще казался в диковишку, барским: привыкли хлебать одни только щи...

Мягкий был человек, деликатный, а вот на занятиях отличался большой строгостью, лодырей терпеть не мог, зато хорошо успевающим выдавал премии — картинку, книгу. А еще Василий надолго запомнил, как Тимофей Тимофеевич схлестнулся с законоучителем. Поп от природы был небрежен и ленив, а «школяров» закон божий почти не интересовал, не для того поступали сюда, чтобы катехизис зазубривать. Вот перед выпускными экзаменами священник на уроке Будрина объявил, что не допустит к экзаменам такого-то и такого-то, Шелгунова в их числе, — в нерадивые попали как раз лучшие ученики. Ух, как взвился деликатнейший Тимофей Тимофеевич, скандал закатил. Отстоял Будрин своих любимцев.

Да, Шелгунову с юности выпало наивысшее, пожалуй, человеческое счастье: на его пути с юности стали встречаться люди незаурядные, вольнолюбивые, чистые помыслами, начиная с мастера в переплетной мастерской. О Будрине один из приятелей Василия сказал: «Он вла-

дел нашими мыслями и чувствами». А когда Тимофей Тимофеевич отмечал свой шестидесятилетний юбилей, бывшие ученики пришли в скромную квартиру, говорили о том, что он был источником любви к людям и мужества, научил их любить книгу, отбирать здоровые зерна от сорняков. И прикинули: каждый четвертый из тех, кто занимался у Будрина, стал революционером.

А ведь, надо сказать правду, м и р о с с и а н и е большинства подобных тогдашнему Шелгунову было весьма ограниченным. Дальше собственного носа, как правило, не видели. В и д е т ь же было что...

«Я спросил одного фабриканта, что за люди впоследствии выходят из всех этих мальчуганов, работающих при сушильных барабанах, в зрелых и на вешалах. Он, немного подумав, дал мне такой ответ: «...Да так, высыхают они». Я принял это выражение за чистую метафору. «Вы хотите сказать, что впоследствии они переменяют род своих занятий или перейдут на другую фабрику?..» «Нет, просто высыхают, совсем высыхают». — Филипп Нефедов, писатель XIX века.

«Его Высокому Благородию Г-ну Ивану Петровичу. Прощение. Покорнейше прошу Вас, Иван Петрович, не оставьте моей просьбы, так как я, бывший ваш рабочий, работал 23 года на вашей фабрике, а теперь от болезни совсем работать не могу. Хоть голодной смертью помирай. Будьте так добры, Иван Петрович, помогите, чем можете, явите божескую милость, заставьте за Вас Богу молить». Р е з о л ю ц и я: «Получить 8 рублей».

«Причитается за первую половину месяца — 12 р. 11 к. Удерживается по штрафам и вычетам (за квартиру, за то, что забрано в лавке, за проеденное в столовой, за дерзкое слово мастеру, за опоздание на пять минут, за выход из мастерской в непозначенное для сего время) —

12 рублей. Причитается к выдаче — 11 копеек». — Расчетный лист.

«Фабрикант содержит рабочих 60 человек на своем кушанье... покупает двенадцать фунтов мяса для щей... варят к обеду, к ужину наливают воды и, наконец, завтрак — опять наливают воды на те же 12 фун. мяса, так что приходится есть не щи, а какую-то бурду». — Прощение рабочих от 4 апреля 1885 года петербургскому градопачальнику П. А. Грессеру.

«Квартира № 57. Для угловых жильцов. 1) Кубическ. содерж. воздуха в квартире 16 ж. 2) Количество жильцов 17 чел.». — Типовая табличка на двери петербургского дома.

«Спальные помещения как с гигиенической стороны, так и с нравственной — невозможны. Рабочие спят на нарах вповалку — мужчины и женщины. Помещение сырое и тяжелое. Больница без доктора». — Донесение начальника губернского жандармского управления.

«В больнице нет ни малейших удобств. Разбитые, окровавленные члены... завернуты в грязные тряпки, их не отмачивают... а прямо сдирают присохшую тряпку с живым мясом». — Записка мирового судьи фабричному инспектору, 30 августа 1885 года.

«Во время массового гулянья ко мне стал приставать С. Г. (мастер. — Авт.) и хотел меня изнасиловать, но я его обругала... На следующий день моего мужа вызвали в раскомандировочную и объяснили, что твоя жена дерзко относится к служащим, за это получай расчет». — Заявление работницы.

«Законное средство — право жалобы в суд — для них (рабочих. — Авт.) почти недоступно, отчасти за отсутствием формальных доказательств их прав, отчасти вследствие сложности процессуальных правил и невозможности ввиду больших штрафов за самовольный прогул отлучиться с работы. Поэтому единственно пригодным

в глазах рабочих средством являются стачки и всякого рода насилия». — Из доклада министра внутренних дел графа Д. А. Толстого Александру III, представленного 11 февраля 1885 года.

### 3

Время массовых стачек еще не пришло, не созрели подходящие условия. В тетрадку себе Шелгунов записал прочитанные где-то слова:

«Русский крестьянин всегда был верноподданным своего царя... Над пропагандистами посмеивался, видя в них желторотых птенцов, воодушевления их не понимал, а учения — и подавно... Русский мужик голодал, не бунтуясь, давал себя сечь сборщикам податей, не избивая их, посылал на войну своих детей, не жалуясь».

Сказано было про крестьян, однако и многие рабочие совсем еще недавно вышли из деревни, связей с нею не рвали, по сознательности своей ушли недалеко.

Вот что довелось видеть Василию.

В Петербурге и м е л а м е с т о торжественная процессия. Шелгунов стоял на углу Невского и набережной Фонтанки, возле Анничкова моста. Промчался в открытой карете государь с императрицей, за ними великие князья и княгини, высшая придворная челядь. Замыкал процессию градоначальник, его знал в лицо чуть ли не каждый житель столицы. Он скакал в легких санках, а на запятках, увидел Василий, стоял молодой рабочий, он — прямо-таки в телящем восторге! — вопил: «Ур-ра государю! Ур-ра!» А градоначальник — на его лице Шелгунов ясно видел и страх, и презрение — лупил рабочего куда попадая, норовил разбить рот. Белые перчатки генерала покрывались кровавыми пятнами. А рабочий, знай кричал свое, пока из шеренги, выстроенной вдоль проспекта, не подскочили городовые, сбили рабочего, но и

тут он исхитрился уцепиться руками за спинку генеральских санок, волочился за ними, а городовые лупили по рукам, покада не отвалился, не упал в рыжий, затоптанный снег. Тотчас его подняли, поволокли. Василий не утерпел, подскочил: «Куда вы его, за что?» — «Куда надо,— сказал городской,— а вы проходите, проходите, господин хороший, неровен час и вы туда отправитесь...» А рабочий жалко улыбался разбитым ртом, шел покорно и, утерев кровь, опять закричал: «Государю нашему — ур-ра!» — «Ты, братец, не дури,— сказал, увещевая, городской,— себя не выказывай, не было такого приказа, чтоб у р а кричать...»

4

В цеховой курильне «Нового Адмиралтейства» вели, да и не так уж редко, разговоры про социалистов. Большеинство сходились на одном: люди это, кто их знает, видел, узкие, сухие уж больно. К рабочим не идут, крестьян и вовсе как бы не замечают. На хозяев, правда, вроде и замахиваются, но ведь от владельцев, если прикинуть, рабочему польза, они средства к существованию дают, кабы не фабрики, не заводы — чем бы кормились? Ну, верно, зажимают хозяева порой, ну, штрафы, начеты, в фабричных лавках обдираловка, да куда ж денешься, терпеть надо. Бывает, стачку наладят в одном месте, а проку что? Покричат-покричат, побунтуются недельку, а как животы подтянет, снова к станку, разве что и добьются прибавки пяточка, проку-то. Нет, от социалистов подальше надо, свяжешься — мигом в «Кресты» угодишь или — того страшней — в крепость. А там, в Петропавловской, слышать, каменные мешки построены такие, что пошевелинуться нельзя. Впихнут, зажмут промеж стен, а в камеру воду пустят. Человек захлебывается, а вода все выше, выше, а надзиратель в дверной

глазок смотрит. Как задохнулся арестованный, тут нажимают на рычаг, пол у камеры сам собой раздвигается — и тело примехонько в Неву, раков кормить... Словом, социалисты — народ опасный, от речей толку мало, а дела не делают. Вот другие, как их, народники, что ли, в общем, те, которые царя убили... А они чем лучше? Мыслимо ли дело — государя-императора убивать, правителя всея Руси, помазанника божия? Он-то чем виноватый? Если казнить, так его министров, чиновников, это ихняя подлость, они царю-батюшке голову морочат, так ведь их, министров, разве перебьешь, одного ухлопают — другого поставят. Нет, от политики подальше, пускай господа эти, народники, социалисты ли, — сами по себе, а мы — сами по себе.

Шелгунов помалкивал, он и в самом деле оставался как бы сторонним наблюдателем, был сроду небоек, немногоречив, с людьми сходилась туго и маялся от этого, не умея преодолеть застенчивость, ею тяготясь, и в то же время если не гордился, то как бы утешал себя именно этой свойственной ему главной чертой: пускай таков, пускай стеснителен и даже нелюдим, зато собственным умом дойду до самого что ни на есть главного в жизни. А что в жизни главное — понять как раз и не умел.

Разговоры в курильне притягивали его, он прислушивался к любому слову, сидя в сторонке, подымливал сигаркой, хотя и не курил по-настоящему, не затягивался, набирал дыму в рот, выпускал мятым клубком. Хотелось не обращать на себя ничего внимания, однако это удавалось недолго: собою Василий стал парень видный, росту крупного, плечи вразворот; здесь, на заводе, у него вдруг увеличились кисти рук, они сделались тяжелыми, ладони широкими. Неожиданно улучшилось зрение, однако по детской привычке Василий щурился, и, должно быть, этот прищур и это постоянное молчание сделали его приметным среди остальных. Однажды к Шел-

гунову приблизился незнакомый мастеровой — сллушкой, видно, ему под стать, смоляно-черный, с диковато-озорным взглядом — и, не обинуясь, ухватил жесткой пятерней за грудки, пустил напирсочным дымом в лицо, сказал: «Фараонам служишь, паскуда?» Василий в растерянности издал горлом какой-то слабый писк — почувствовал, как от этого жалкого звука покраспел, совестно перед людьми, — а мастеровой, распаяясь, норовил, кажется, двинуть по челюсти, но за драку можно было схлопотать изрядный штраф, и, держа Шелгунова за косоворотку, он только повторил: «Фараоново семья!» Руки у Василия оставались свободными, он тоже подавил соблазн шарахнуть обидчика в полный размах. Ухватил того за плоские широкие запястья, сжал всеми десятью пальцами, тот охнул и Шелгунова отпустил. Кругом все молчали, и молчание показалось обиднее всего: как же так, ни за понюх табаку обижают, а никто не вступился. Каждый сам по себе, подумал Шелгунов, ему хотелось сразу же уйти, но самолюбие не позволяло, закурил, ненароком затыпулся, с непривычки закашлялся, словно маленький, и этот ребячий задушливый кашель обстановку разрядил, кругом засмеялись, Василия хлопнули по спине, и кто-то пробасил сзади: «Чего ты к парню привязался, прихвостней здесь пету!» Неприятный случай тем и завершился, но без следа не остался — Шелгунов еще крепче занерся в себе, без вины как бы виноватый. А Егор Климанов решил, как видно, взять быка за рога и однажды в школе вручил Василию старательно завернутый и перевязанный шпагатом тяжелый том, пояснил: эта книга важная очень, для правительства вредная, для рабочих куда как полезная, она, правда, не под запретом, однако читать в открытую не рекомендуется и гляди не потеряй ненароком, ей сорок рублей цена, куплена вскладчину на р а з в а л е...

В тот вечер Василий еле дождался конца уроков и

дома, в закутке, запершись на хлипкую задвижку, развернул толстый том.

Название, отпечатанное крупным, жирным шрифтом, ему не понравилось: «Капитал». Шелгунову и прежде попадались брошюры с заглавиями вроде: «Как нажить капитал», «Как стать богатым», и поначалу он хватался за них, поскольку мысли о том, чтобы разбогатеть, одолевали, да и теперь не покинули окончательно. Вскоре, однако, сообразил: если авторы брошюр дают всякие советы, взамен требуя прислать им десятикопеечную марку, то почему они вместо копейчатого побирушества не воспользуются своими же рекомендациями, не станут миллионщиками... С тех пор он такие сочинения забросил и сейчас на книгу, врученную Климановым, глянул с сомнением.

Что-то было здесь не то... Да и том вовсе не похож на дешевенькие, с крикливыми обложками брошюры. И как же он, типографский рабочий, поднаторевший в обращении с книгами, не охватил единым взором сразу и название, и подзаголовок: «Критика политической экономии». Критика! Василий стал читать далее, по титульному листу: «Сочинение Карла Маркса. Перевод с немецкого. Том первый. Книга 1. Процесс производства капитала». Выпущено было в С.-Петербурге, издание Н. П. Полякова, в 1872 году. Поглядим...

С первых же страниц сделалось ясно: речь идет вовсе не о том, как простому человеку нажить капитал, а про то, как наживают его предприниматели. Страниц десять всего за долгий вечер одолел Василий, то и дело спотыкаясь на непонятных словах, на трудных рассуждениях, и так продолжалось несколько дней, и, чем дальше, тем делалось непонятней. Окончательно же застыл, когда начались формулы. Отчасти с формулами знакомили на уроках химии, но здесь было совсем иное, не похожее:  $D-T-D$ ;  $T-D-T$ ;  $D-T-D+D...$



«Деньги, товар, деньги; товар, деньги, товар; деньги, товар, деньги плюс деньги». Мудрено, ох мудрено, не перешагнуть... Помаевшись, Василий отыскал Климанова и, стыдясь, буркнул: «Возьми книжищу эту, не одолеть мне». Но тот признался, что и сам ничего не понял, надеялся, что Василий разберется, вдвоем-то будет проще. «Ладно,— успокоил Климанов,— попробуем добыть, что нам по зубам».

И в самом деле, принес книгу и куда как меньшую и написанную доходчиво, просто, хотя речь шла о том же самом, что и в «Капитале». В предисловии говорилось, что книжку «Кто чем живет?» написал польский социалист Шимон Дикштейн. Она только что, видно, вышла из типографии, не затаскана, приятно в руках держать, а главное, все понятно: кто такие капиталисты, как они эксплуатируют рабочих и кто чем живет на самом деле.

А как на самом деле жилось — этого Василий, в сущности, не знал. Он книжку Дикштейна читал как бы отвлеченно. Как бы не про него, Васю Шелгунова, говорено там. С одной стороны, жил он, Василий, не так чтоб и плохо: и зарабатывал пристойно, и жилье не хуже других, и отношение мастеров тоже подходящее. В общем, жить можно. И получается, что сам он, Василий Андреевич, обретается вполне прилично, а вокруг такое творится... Голодает народ, мыкает горюшко, бедствует. И пикю не указал, где и какой тут выход.

Выход искал он и в книгах, и в немногих разговорах, читал газеты, присматривался к товарищам. Путаницы становилось больше, чем прежде.

Узнал, к примеру, что по всей России на каждые сто двадцать душ насчитывалось по кабаку или винной лавке, а доходы от винной монополии — почти две трети всех государственных доходов. Даже в реакционной газетенке «Гражданин», которую выпускал князь В. П. Ме-

щерский, придворный камергер, прочитал: «Невозможно всегда и вечно строить бюджет страны на основе этой жертвы правдивностью и адором... всего... населения... России. И разве не должен быть неизбежным последствием этого физический упадок нации, прогрессивный паралич, разжижение мозгов, идиотизм и, наконец, полная гибель?» И правда — спивают народ. Слыхали, будто какой-то сановник сказал открыто: «Спивали и будем спивать!»

«Кабак, трактиров много, чаем голову хоть мой!» — распевали возле заводов, будто хвастались. Василий сказал как-то: «Неправильная частушка, надо переменить — водкой голову хоть мой!» И думал: да где же конец подобному, неужто и впрямь будет Россия пьянствовать до скопчения веку? Сам он прикладывался редко, за компанию только.

Он вглядывался в товарищей. Попадались и такие: пакляузничает, к примеру, на смешица или соседа по станку, глядишь, и получил от мастера повыгодней работенку. Но вскоре другой этого допослика продаст, и тот покается: лучше бы не фискалить, больно уж дорогой ценой достается временное благополучие.

Забрел как-то в непогайный кружок. Думал, там услышит пеку, им не осознанную истину. Нет, и там не пахло истиной, только благодушные разговоры. Интеллигент, объявившийся народником, проповедь читал, а под конец встал рабочий, говорит: «Вот слушаем вас, и думается, что вы как будто хотите нас рассердить, на что-то подвять, а на что — нам как раз и неведомо, а мы хотим узнать, откуда что берется, против чего выступать. Может, мы тогда и сами рассердимся, а науськивать нас попусту — ни к чему». И с этим согласился Шелгунов, потому что не видел выхода, блуждал в потемках и не понимал, к чему бы приложить силу, а силенок у него хватало, кажется.

Человек этот был необычен и внешним обликом, и одеждой, и манерою поведения. Волосы длинные по плечам лежат, как у студента (правда, вскоре укоротил и прическу, и бороду, и усы), волосы красивые, цвета воронова крыла. Обряжался наподобие рабочего — пиджак, косоворотка, но обут в опорки, даже вроде на босу ногу, подобного ни один себя уважающий мастеровой не допускал. Обыкновенно заводской рабочий ступает медленно и в то же время споровисто, легко, а этот двигался патужно, как бы через силу. Имел такую привычку: скрещивал руки на груди, глядел в упор на собеседника, от чего делалось неуютно. Часто впадал в хмурость, делался замкнут, сердился, мог уйти, хлопнув дверью, не объяснив, за что разобиделся, а после не показываться неделями.

Любопытный человек. Трудный. Не подступишься, не угадаешь, с какого боку подойти. Чем привлекал — так это пением. Голос глубокий, сильный, поставленный, и любимая ария — Мефистофеля, про то, как люди гибнут за металл. Вот из-за этой арии да еще из-за привычки скрещивать на груди руки, сверкать глазами, за лохматые волосы и диковатость норова его прозвали Мефистофелем, он и не думал обижаться, напротив, кажется, ему льстило.

Он был очень странный человек, Павел Варфоломеевич Точисский, и биография у него диковинная оказалась.

Как-то под веселое настроение, что с ним случалось редко, за стойкою «смирновки» в извозничьем трактире Точисский сделался откровенен и рассказал Василию о себе. Любопытная история, Шелгунов слушал и диву давался. По возрасту, выяснилось, всего тремя годами старше, родился в мае 1864-го, но успел, сумел пайти

себя. Отец из польских дворян, мать парижанка, <sup>там</sup> получила образование. Словом, аристократ. Но его отец пошел по тому пути, который редко выбирали российские аристократы: служил по тюремному ведомству и там преуспел, стал полковником, начальником екатеринбургской тюрьмы.

С малых лет Павел нагляделся на порядки в этом заведении (семья начальника тюрьмы жила в том же казенном помещении). Арестанты в лохмотьях, нижнее белье не всегда прикрывало наготу. В общие камеры, случалось, набивали битком и мужчин, и жепщиц, и детей, а одиночки — в два квадратных аршина. Окна — просто узкие щели. Во многих камерах не ставили вторых, для тепла, рам и не было печек, а ишие отапливались переносными железными очагами, от них случался почти смертельный угар. Около ретирад, в коридоре, пол покрыт мерзлыми нечистотами. Полы прогнили, потолки вот-вот обвалятся. В баню заключенных не водили месяцами. Многие болели цингой. Горячую воду — пожалуй-ста, а вот пищу горячую давали не каждый день. Тюрьму переполняли так, что часто в одной камере содержали и закоренелых преступников, и тех, кто наказание отбывал за сущие пустяки. Даже правительственная комиссия вынужденно отмечала, что российские тюрьмы представляли собой школы и рассадники преступности, в которых «хорошему человеку достаточно пробыть три дня, чтобы окончательно испортиться».

Павел много читал, и не только беллетристику, а и литературу социалистическую — Добролюбова, Флеровского, Лассаля, Оуэна, много размышлял, благо жизнь протекала в одиночестве: местная интеллигенция сторонилась начальника тюрьмы, тем более что поговаривали, будто господин полковник подкармливается за счет изголодавшихся и полуголых арестантов. Павел в конце концов не стерпел, решительно порвал с отцом, от-

казался от всякой помощи, хотя мать сулила тайком посылать деньги, бросил ученье в гимназии, поступил рабочим в железнодорожные мастерские. Было это в 1883 году. А через год перебрался в Петербург, стал заниматься в ремесленном училище Технического общества и работал в Александровском заводе, после — у Берда... Тут он и познакомился с передовыми рабочими Невской заставы, Васильевского острова, Выборгской стороны. И вскоре, в 1885-м, создал группу, называлась она длинно и мудрено: «Общество содействия поднятию морального, интеллектуального и материального положения рабочего класса в России».

Длинно и мудрено, так и сказал Шелгунов, когда Павел Варфоломеевич предложил ему вступить в группу. «Опо, пожалуй, и так, — ответил Точисский, — но зато в самом названии как бы заключена и программа кружка, сразу понятно, чем занимается». — «Это вам попятно, — возразил Шелгунов, — а нашему брату нет, вот, к примеру, что значит интеллектуальный?» — «Ну, это — духовный значит, — объяснил Точисский, сразу поправился. — Духовный — не в том смысле, что божественный, а умственный, разумный». — «Мудрено, мудрено», — стоял на своем Василий. «А вы приходите на занятия, Василий Андреевич, приходите, послушайте. Только имейте в виду: группа наша конспиративная, отбираем самых надежных, но ведь за вас поручился Егор Афанасьевич...» Это Шелгунову польстило, и ума-разума понабравшись он весьма хотел.

Много странного, причудливого было во внешности, в поведении, в поступках Точисского, и столь же странным показался Василию его кружок. Из «Общества содействия...» его вскоре переименовали в «Товарищество санкт-петербургских мастеровых», было это в конце 1886 года, но рабочих, считая Шелгунова, в «Товариществе» оказалось всего пятеро — Климанов, Буянов, Тимофеев,

Васильев. Остальные же — их тоже было немного — интеллигенты. Почему тогда называется «Товариществом мастеровых»? — рассуждал Шелгунов. Но того удивительнее было другое: Точисский, сам дворянин, образованный человек, к интеллигенции относился почти враждебно.

Пожалуй, что на первом собрании, где был Василий случился крупный разговор. Точисский, по обыкновению своему возбужденный, широко расхаживал по комнатам, выкрикивал сидевшим напротив трем братьям-студентам Брейтфусам: «Запомните, крепко запомните, господа, что единственный революционный класс — это промышленный пролетариат, в него надо бросить все революционные силы страны, в нем надо создавать революционный опыт, пока российский рабочий класс еще находится на низкой ступени политического развития, пока у него не пробудилось классовое сознание, приходится пользоваться услугами интеллигентов, а интеллигенция только случайный гость в революции, ее можно терпеть, да, именно терпеть, не более, и до тех только пор, пока рабочий класс не выработает собственную интеллигенцию, подлинно революционную...» Брейтфусы в ответ слитно кричали, Точисский не слушал, как не стал слушать и женщины-бестужевки, их в кружке было четверо. Он гнул свое: «Вы с нами до первого поворота, до первой конституции, которой добиваетесь от правительства, ну и добьетесь, быть может, а там наши пути разойдутся окончательно».

Шелгунов ничего не понимал. После собрания задержался, пошел проводить Точисского, тот еще не остыл, бормотал что-то про себя, широко размахивая руками. Василий улучил момент, сказал: «Как же так, Павел Варфоломеевич, вы-то, извините, конечно, белая кость, а на своих же кидаетесь». Точисский моментально вснылился, оборвал: «Белая или не белая, а со своей средой порвал

окончательно, я не интеллигент, а рабочий, как и ты, Василий».

Водилась за ним еще и такая вот черта: все рабочие из «Товарищества» называли Точисского по имени-отчеству, а он каждому говорил ты: подлаживался под своего или свысока отпосился, этого Василий разгадать не мог, по всякий раз неприятно было слышать такое обращение, однако терпел, понимал, что не в том суть.

«А я,— горячился Точисский,— постоянно им слова Христа папоминаю: «Прежде чем петух пропоет три раза, вы трижды отречетесь от меня». Запомни мои слова».

Запомнить Шелгунову было нетрудно, и сам он к интеллигентам доверия не питал, но, с другой стороны, прикидывал: как же так, чего ради уходят из обеспеченной жизни, ради чего отправляются в тюрьмы и на плаху даже, какая в том корысть? И, продолжая гнуть свое, опять сказал: «Павел Варфоломеевич, а как же народовольцы, они ведь почти все из интеллигенции, а жизнью своих не жалели...»

«Ха-ха,— не засмеялся, а проговорил Точисский.— Народовольцы! Заступники страждущих! Цареубийцы! Да их террор — чистой воды рисовка, они личной славы больше всего добивались, понятно тебе? Да если бы им и удалось захватить власть — кому бы она досталась? Той же буржуазии. Народ у нас темен, власть в свои руки взять не может. И добейся народовольцы своего — власть от одних врагов народа перешла бы к другим врагам. И террор, и все потуги революционной интеллигенции — это попытки с погодными средствами».

«Не пойму вас,— решительно сказал Шелгунов.— Не пойму, Павел Варфоломеевич, хоть убейте. Ладно, вы себя за интеллигента считать не желаете, дело ваше, не преукрашивайте, извиняюсь, поросся в караса, но ведь «Товарищество»-то ваше, хоть и числится рабочим, а на

самом деле — большинство в нем интеллигенты — и Брейтфусы, и женщины все — Лазарева, Данилова, Аркадакская, и сестра ваша, между прочим, — как это понимать?» — «А понимать надо так, — сказал Точисский, успокаиваясь, — мы отсекаем, отсеиваем от интеллигенции подлинно революционное ядро, привлекаем ее к работе en gros». — «Что, что вы сказали?» — переспросил Шелгунов. «Фу ты, черт, — Точисский засмеялся. — Это по-французски, значит — в общих чертах». — «Вот видите, — сказал Шелгунов, — по-французски заговорили, крепко сидит у вас в натуре интеллигентская закваска, не случится ли так, что и трижды петух не пропоет, как и вы отречетесь?»

«Знаешь что, — сказал Точисский, — поди-ка ты с такими разговорами...» — «А это уж вовсе нехорошо, — сказал Василий, — с французского переходить на нижегородский. Этак и я умею, по-нижегородски, случается, меж своими запустить могу, но я на равных со своими, а ты, Павел, свысока, по-барски меня обложил. И, к слову сказать, мы тебя, Павел Варфоломеевич, вежливо всегда величаем, а ты нам — только что не Васька или Ванька». — «Извини, Василий Андреич, извини, друг, — сказал Точисский, — тут прав ты полностью, давай на ты».

Разговор этот не выходил у Шелгунова из головы, и первый, с кем он поделился, был Андрей Брейтфус, из троих братьев ему наиболее симпатичный, открытый, скромный белокурый паренек. Тот выслушал молча и заговорил первым делом о народовольцах.

«Я после казни первомартовцев до сих пор не могу в себя прийти, — признался он, — потрясен до галлюцинаций, прямо наяву я эту казнь снова и снова вижу». — «И я, — сказал Шелгунов, — и я, Андрей, тоже». — «Но все-таки эта казнь дала мне и великое счастье пробуждения, натолкнула на революционный путь, научила



глубоко ненавидеть. Она революционером меня сделала. И Павел конечно же не прав, когда единым духом отвергает всю интеллигенцию. Да он и не думает, я полагаю, так, а просто характер у него, сами знаете...»

Беседа пообстоятельней была и с кружковцем Тимофеевым.

Иван Иванович работал слесарем на Балтийском заводе. Обликом напоминал больше студента, нежели мастерового: зимой носил барашковую шапку, летом не картуз, а фуражку, на шею повязывал вязаный шарф. И всегда — под мышкой книги. Чуть не весь заработок — а жалованье получал приличное — тратил на них, много времени проводил на Александровском толчке, у книжных развалов. Гордился, что библиотеку собрал — около тысячи томов, и у образованных такая встречалась не часто.

«Мужик он своеобразный, это верно, — сказал Тимофеев про Точисского. — Но только, Вася, надо отделять зерна от плевел, как говорится. Главная-то мысль у Варфоломеича правильная: основная революционная сила — это пролетариат. И прав он в том, что интеллигенция должна помочь нам обрести знания, выработать свою, рабочую интеллигенцию. И сам он — агитатор превосходный, убеждать умеет, разъясняет очень толково. Ну, а загибы — кто из нас безгрешен. Между прочим, ты обратил внимание, что в «Товариществе» все на равных правах — и рабочие, и студенты, и курсистки, — никого на деле Точисский не ущемляет. А по красоваться любит, вот и запосит его. Народовольцев осуждает за рисовку, а сам в Мефистофеля играет. Однако я думаю, что касательно террора он прав: пальбой в государи толку не добьешься, не тот способ».

Шелгунов призадумался. А ведь и в самом деле Павел старается самую значительную часть работы в «Товариществе» передать рабочим, постоянно твердит:

наша задача — готовить пролетарских руководителей революционного движения. И движение это направить в сторону политической борьбы, а не за пятачок..

Слушал Василий своего товарища, Тимофеева, внимательно и с ним соглашался, и в то же время его одолевали новые и новые сомнения. Интеллигенции Точисский полностью не доверяет — пускай так, с этим Шелгунов был согласен. Хочет воспитать рабочих-интеллигентов, рабочих-руководителей? Распрекрасно. Только почему оп так осматриваетел и осторожен с рабочими, почему привлекает их к делу только после многократных проверок? Конспирация, конечно, важная штука, но всему есть мера. Павел не согласен с террором? Пускай тоже правильно. Однако зачем кидать черную тень и на рабочих, которые входили прежде в народнические кружки? Помнится, оп прямо заявлял, что считает этих товарищей испорченными революционным авантюризмом. Сколько его пришлось уговаривать, чтобы приняли в группу Василия Буянова и Нила Васильева... А Нил-то человек пожилой, ему за полсотни, еще в кружке чайковцев, пятнадцать лет назад, состоял и только чудом от ареста уберегся. Человек рассудительный, верный, а Точисский уперся, ни в какую. Еле уговорили. Но при каждом промахе Васильева, по каждой малости, при любой обмолвке Точисский не мог удержаться, чтобы не попрекнуть Нила: дескать, интеллигентами распространялся. А когда Василий Буянов пытался ввести в «Товарищество» членов своего кружка — и в самом деле, был кружок народовольческого толка, — Павел Варфоломеевич отказался наотрез, не смогли переубедить, поставил ребром: или они, или я...

Ох, трудно с ним было. Василий приглядывался к Точисскому с все большим и большим удивлением: какую штуку еще отколет? А он и в самом деле откалывал. На одном из собраний без всякого видимого повода

вдруг предложил исключить из «Товарищества» всех без разбору интеллигентов. Тут Шелгунов впервые открыто схлестнулся с Павлом Варфоломеевичем.

Столкновение это рано или поздно произойти должно было, и не только потому, что Василия, как, впрочем, и многих других, раздражали странности характера и поведения Точинского, его неожиданные, непредсказуемые взбрыки, но и по другой, более глубокой и существенной причине.

## 6

В рабочей «пятерке» подпольной группы Василий был почти всех моложе и уступал большинству товарищей опытом и начитанностью. Понимал это, не ввязывался в открытые споры, не высказывал суждений, опасаясь показаться несмышленищем, а старательно слушал, запоминал, читал, думал, сопоставлял одни речи с другими. Он был в ту пору молчалив, замкнут, малообщителен, хотя природа наделила его правом открытым и простодушным. Он подавлял пехитрые и понятные в его возрасте соблазны воскресным днем пройтись под гармошку по улице, заглянуть в портерную, закрутить любовь с такой же, как и сам, фабричной девахой, забить лапту, перекинуться в картишки. Все эти соблазны стояли перед ним, он искушения преодолевал, как и насмешки парней-ровесников, подковырки отца и Семена, недоумение старших сестер и братьев и малодушное намерение отринуть непонятные книги, перестать морочить себе голову, жить, как все. Поначалу это доставалось непросто. Бывали срывы, но после туманного, в одури, воскресенья, после торопливой и безлюбой любви, после карточного, пускай и в целковый всего, проигрыша он просыпался утром тягостно, хмуро, не от похмельного томления и раскаяния, а от душевной

пустоты, сознания ненужности всего этого и ненужности себя, такого... Гулялки делались реже, утихало буйство плоти, смиримое и работой, и чтением, и неосознанной безразличностью, притуплялась и обида на поддразнивания. И еще росло в нем самолюбивое, по-молодому нестыдливое ощущение собственной непохожести на большинство тех, кто жил рядом, росла та гордыня, какую обыкновенно стараются не показывать, однако внутри себя деляют, и, быть может, из такой гордыни не столь уж редко и случается прок.

Споткнувшись на «Капитале», он крепко рассердился на себя, приуныл, но братья за труд Маркса запово не стал, понимая, что все равно пока не одолеть, но брошюра Дикштейна не только разъяснила неясное, а и внушила уверенность в своих силах, в том, что может, может он, Васька Шелгунов, одолевать книжную премудрость. И правда, без особой натуги, в одиночку он приступом взял «Манифест Коммунистической партии», после же — «Речь Петра Алексеева на суде», брошюра показалась ему совсем легким и понятным чтением. Он выписал в тетрадку, заучил:

«Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Но было в речи Алексеева и другое, что заставило Василия крепко задуматься. Там говорилось: «Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа».

Сказано было об интеллигенции, той самой, что и притягивала к себе, и отталкивала Шелгунова и многих, подобных ему. А тут говорил рабочий Алексеев, удивительный человек, о котором вот уже почти десять лет помнила передовая Россия...

...и этой листовки, с речи Петра Алексеева, пожалуй, и начался по-настоящему революционер Василий Шелгунов, и начало это оказалось связанным с двумя происшествиями — Василий запомнил их на всю жизнь, стыдясь первого из них и гордясь вторым.

Читал и думал он много и наконец решил, что не для того же обретает человек знания, дабы легли они мертвым грузом, не ради самоутверждения и самосовершенствования, но для практической цели... И ни с кем не посоветовавшись, не прикинув толком, с чего же начинать, как усвоенное чужое слово сделать своим, как от слова перейти к делу, Василий, будто мальчишкой по весне в ледяную Череху, кинулся головой вперед.

И расшибся. Да еще как! Помнил всю жизнь и лишь впоследствии рассказал самым близким товарищам — Ивану Бабушкину и Константину Норинскому.

В заводе на перекуре, улучив момент, заговорил в сторонке с рабочим, примеченным давно: собою не старый, однако и не юнец, и грамотен, видно — частенько газета из кармана торчит, правда, неизвестно, какая газета, но все-таки... Перекур заканчивался, Шелгунов не стал тратить время на подходы и прямо — а чего бояться, не выдаст, свой же человек! — заговорил про Алексеева, про мускулистую руку, про то, что царя давно бы скинуть надо. Мастеровой слушал внимательно, даже вроде поддакивал, был он собою невысок и, кажется, не силен, и глаза внимательные, злобы в них Василий не увидел. Мастеровой слушал, кивал утвердительно, а после, не разворачиваясь, коротким, обретенным в кулачных воскресных боях тычком дал в рожу так, что Шелгунов качнулся.

Он чуть не плакал, оставшись в ретиреде, и не оттого, что растерялся, принял безропотно удар, а от неумения своего, от бессилия, от несправедности случившего-

ся. И бессонной ночью понял простую истину: мало знать самому, надо еще и научиться знания свои передавать другим, надо и людей уметь распознавать. Надо научиться...

7

А через несколько дней произошел и второй важный случай, то собрание группы, где Василий впервые открыто столкнулся с Точисским.

Павел Варфоломеевич явился оживленный. Если бы не знать его, можно подумать: выпил. У него шла какая-то новая полоса: клочкастую бороду подстриг на клинышек, с узенькими бакенбардами, голову причесал аккуратно, сменил показные опорки на штилеты, обзавелся жилеткой, перестал играть в Мефистофеля, главное — прекратил и опрощаться в поведении и в речи. К этому новому Точисскому еще не привыкли, приглядывались в ожидании того, что принесет вся эта переобмундировка. И руководитель «Товарищества» ждать долго не заставил. Едва сбросив на табуретку пальто — собрались у Тимофеева в комнате, — Павел Варфоломеевич огляделся, все ли в сборе, и отрубил командирским голосом, что полагает необходимым всех интеллигентов из группы выключить незамедлительно и навсегда. И сделав краткую паузу, прибавил излюбленное насчет петуха, пропоющего трижды.

Впечатление произвел гнетущее, ошеломительное, все молчали, опутив глаза: как можно людей объявлять предателями столь огульно, чохом да еще заране. Шелгунов испытал то же самое, что несколько дней назад, когда его хлобыстнули по физиономии, воспоминание было почти физическим, и, чего прежде не случалось, он вскочил, опрокинув табурет, дернул себя за бородку так, словно вцеплялся в Точисского, заговорил негаданно —

для себя и для всех остальных, — гладко и складно, будто все предвидел загодя и приготовил речь.

«Я слышал, — выпалил он, — что на военных советах первым дают слово младшему по чину и по годам, так вот я и скажу первым. Ты, Павел, других предателями считаешь, винишь без вины — по какому праву? А если тебя в подозрение взять? Если я скажу, что ты с подлой целью в рабочие перерядился? Ты-то сам — дворянский сынок, полковничий, да еще из каких полковников, известно, из тюремных. Понравится тебе, ежели тебя таким вот манером? А то, что предлагаешь — это и есть предательство, потому как рабочий к учению, к свету стремится, а ты поровнишь нас такой возможности лишить. Ты же сам принес листовку, где речь Петра Алексеева, там что про интеллигенцию сказано, ты забыл? Прочитать? Наизусть помню...»

Все по-прежнему помалкивали, Василий же шарил без всякого удержу, в осознании своей правоты и в упоении собственной смелостью, своим умом, в наслаждении тем, как он проверяет вчерашнего кумира. Он обводил всех победным взором и где-то краешком сознания ловил: почему не глядят и в его сторону, он-то чем провинился?

«Ишь, заговорил, как валаамова...» — бросил Точисский, домолвить не успел, когда, шарахнув по столу кулачищем, бешеным басовым шепотом перебил Тимофеев: «Не смей, Павел Варфоломеевич, не смей так про Васю!»

Тут всех прорвало, понесло. Шелгунов забыл, что пора бы и сесть. Говорили враз, трудно было понять, кто про что, кто за кого, что к чему. Неожиданно весь этот гвалт перекрыло сильным, явственно по-мефистофельски нарочитым хохотом.

В тишине отчетливо и уверенно Точисский сказал: «Товарищи, товарищи, шутки же надо понимать!» И, хо-

тя каицый понимал, что пачал он собрание отнюдь не в шутку, никто не возразил, вздохнули облегченно, как всегда после замятой неловкости, один только Василий глядел растеряннo и не мог взять в толк: победой ему гордиться или числить за собой поражение? «Нет, Павел Варфоломеевич,— сказал наконец непреклонный Тимофеев,— ты не крути. Сегодня этак пошутишь, завтра иначе, а мы не для забав собираемся. Предлагал? Предлагал! Изволь решать подачею голосов». — «Шары не принес для баллотирования, виловат», — попытался и это свести к безобидной забаве Точисский, но Тимофеев настаивал, и Василий подумал: а что, если студенты и курсистки осерчают на Павла, возьмут да и уйдут? «Хорошо,— сказал Точисский,— подача голосов открытая, прошу, кто имеет возражения против моей резолюции...»

Руки подняли все. «Но я, однако, озорничал», — упрямо сказал Точисский.

«Хорошо, что высказался первым и в открытую,— похвалил Тимофеев после, на улице. — Ты, Вася, очень вовремя и в точку. Интеллигенты могли обидеться, вот и рухнуло бы наше дело. Айда пивца потянем». — «За победу!» — почти воскликнул Шелгунов. «Э, брат, вот это хватил! Победа — когда врагов одолевают, а Точисский, он свой, без обману, он наш учитель, только самолюб, да молод, вот его и заносит».

## 8

За несло Павла Варфоломеевича не в последний раз. Сильный спор возник на собрании, когда обсуждали выработанный им проект устава «Товарищества». Главный упор Точисский делал на повышение умственного развития и нравственных качеств рабочих, на чтение, как он выражался, книг серьезных, а под таковыми он



понимал сугубо научную, хотя и доступную пониманию рабочих, литературу. «Умственное развитие нам и воскресные школы дают», — возражал Шелгунов, он теперь держался все уверенней. Василия поддержал Андрей Брейтфус, за ним курсистки: нужно завести библиотечку с нелегальной литературой. Павел Варфоломеевич упорствовал: увлечение всякой нелегалщиной принесет больше вреда, нежели пользы, только взбудоражит, а не даст знаний. Однако он и тут оказался в меньшинстве: устав дополнили параграфом и о нелегальной библиотеке, и о кассе взаимопомощи заключенным рабочим и политическим ссыльным.

На том споры в группе и прекратились. Точисский был отходчив, обид не затаивал, а пропагандист и организатор он был превосходный, талантливый, умел разбираться в людях, вызвать доверие к себе, отличался осторожностью, хорошо знал правила конспирации. Эти качества его сослужили «Товариществу» добрую службу, а причуды и выходки ему прощали.

В скором времени группа сумела наладить работу на крупнейших предприятиях: Александровском, Обуховском, Балтийском, у Берда и на Охте, в «Арсенале» и ткацкой фабрике Варгунина и на табачной «Лаферм», в мастерских Варшавской железной дороги.

Шелгунову досталось конечно же «Новое Адмиралтейство». Но сперва пришлось Василию вспомнить старое ремесло — переплести книги для нелегальной библиотечки, набралось около семи сотен. И еще он получал литературу из-за границы, от группы «Освобождение труда», — Павел Варфоломеевич втягивал в работу постепенно, приучал к ней, проверяя деловые качества каждого члена «Товарищества».

Приходилось трудно. Впоследствии Ленин скажет, что в эту пору социал-демократия переживала период у р о б н о г о развития.

Кружковцам Точисского, группе Димитра Благоева, другим немногим и немногочисленным социал-демократическим организациям поднять широкое массовое движение было еще не под силу. Шелгунов видел: среди рабочих крепка вера в доброго царя. По-старому рассуждали: государя, дескать, обманывают, опутывают министры, промышленники, чиновники, помещики, даже купцы. И поговорка ходила, ее часто кидали в лицо, когда пытался Василий заговорить о царе: «Посуду бей, а самовара не трожь!» Правительство давило, жандармы и полиция осатапели. Даже безобидные сборища — для игры в бабки, в лапту, в орлянку — запрещали, хотя испокон веку по рабочим окраинам народ собирался на дворах вечерами. Отпраздновать именины — изволь получить разрешение от полицейского начальства. Десять вечера — ворота и калитки на запор, и все дворники, знал каждый, состояли на с е к р е т н о й службе.

Немота, глухота, мрак сгустились над Россией восьмидесятых годов. И многие жили, по свидетельству современников, руководствуясь принципами: «ничего не делать и всего бояться», «съежиться до минимума». На смену революционному, возвышенному духу шестидесятников пришло измельчание — идейное и духовное. Развились антиобщественные тенденции, беспринципное приспособленчество, дух стяжательства и наживы. Темно, мрачно, страшно сделалось жить. Люди боялись друг друга. Боялись разговоров. Боялись даже собственных мыслей. Да и было чего бояться. Случалось, в постановлениях властей указывали: «Задержать вплоть до выяснения причин ареста...» Значит, сперва схватить, затолкать в полицейскую, в тюремную ли камеру, а уж после выискивать причину — реальную, мнимую ли — для посадки...

Шелгунову казалось порой: все напрасно, ничего не добиться, вся их пропаганда — звук пустой. Случалось,

опускал руки. Созданный им в «Новом Адмиралтействе» кружок собирался редко, слушать о политике почти не хотели, занятия в основном вели просветительские: приходили студенты, что похрабрее, переодетые под рабочих, рассказывали, да и то с оглядкой, о происхождении Вселенной, ставили нехитрые химические опыты. Старались, правда, ввернуть словечко п а з л о б у дн я, иногда удавалось, чаще — нет.

Россия притихла, погруженная во мрак и страх.

Тем нежданней громыхнул гром в хмуром, низком, давящем небе.

## 9

1886 год, декабрь. После глубокого идейного и организационного кризиса народовольцев студенты столичного университета Александр Ульянов и Петр Шевырев попытались возродить организацию, создав «Террористическую фракцию партии «Народная воля». Она состояла в основном из студентов, вела пропаганду среди рабочих. Программа, разработанная А. Ульяновым, весьма противоречива: наряду с марксистскими положениями в ней содержались и отзвуки народовольческих традиций, в частности указание на неизбежность индивидуального террора.

«Отнимая у интеллигенции последнюю возможность правильной деятельности на пользу общества, то есть свободу мысли и слова, правительство тем самым... подавляет не только разум, но и оскорбляет чувства и указывает интеллигенции на тот единственный путь, который остается мыслящей части общества,— на террор... Но ни репрессии правительства, ни озлобление общества

не могут возрастать беспрдельно. Рано или поздно наступит критическая точка». — Рассуждал А. Ульянов.

1887 год, 1 марта. В шестую годовщину убийства Александра II трое членов «Фракции» — Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Василий Осипанов — вышли к Невскому со взрывательными снарядами, чтобы совершить покушение на царя, но в результате жандармской слежки были тут же схвачены. Через некоторое время, после откровенных показаний также арестованных П. Горкуна и М. Канчера, выявлена и вся организация. Задержаны 74 человека, из них 59 наказаны в административном порядке, остальные преданы суду.

15—19 апреля. Судебный процесс Особого присутствия Сената под председательством известного мракобеса сенатора П. А. Дейера, при закрытых дверях.

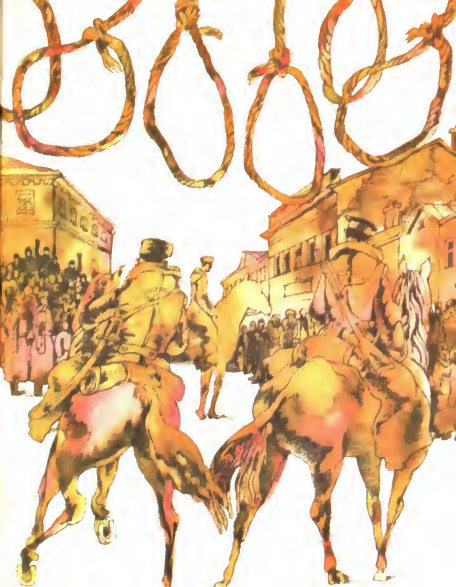
«Мне, одному из первых, принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации... Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное». — Александр Ульянов. Показание в процессе.

«Эта откровенность даже трогательна!!!» — Пометка Александра III на приведенном документе.

«Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать». — Александр Ульянов. Речь в процессе, 18 апреля.

«Речь, произнесенная Ульяновым, произвела очень сильное впечатление; ее сравнивают с речью Желябова». — Из нелегального издания того времени.

Все подсудимые приговорены к смертной казни. Император утвердил повешение для пятерых: Пахомия Ан-





дреюшкина, Василия Генералова, Василия Осипанова, Александра Ульянова и Петра Шевырева. Самому старшему, Осипанову, было около двадцати шести лет, Ульянову только что исполнился 21 год.

«На вопрос матери на свидании после суда, нет ли у него какого-нибудь желания, которое она могла бы исполнить, Саша сказал, что хотел бы почитать Гейне». — Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Из воспоминаний.

«Чувствую себя хорошо, как физически, так и психически... Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя. Твой А. Ульянов». — Последнее письмо. Адресовано сестре Анне. Послано из Петропавловской крепости 26 апреля.

30 апреля. «Вышлите немедленно палача». — Шифрованная телеграмма в Варшаву, где тогда находился единственный в России палач.

8 мая. Во дворе Шлиссельбургской крепости состоялась казнь. «Зрителей» не было, но сатрапы ради садистского удовольствия придумали дополнительную забаву: для пятерых поставили три виселицы. Пока вешали товарищей, Ульянов и Шевырев стояли рядом в ожидании очереди. «В продолжение получаса у них перед глазами было потрясающее зрелище тронх повешенных на концах веревок в мучительных конвульсиях». — Французская газета «*Cri du Peuple*».

«При возведении палачом осужденных Андреюшкина, Генералова и Осипанова на эшафот первый из них произнес: «Да здравствует народная воля!», второй только успел сказать: «Да здравствует...», а последний: «Да здравствует исполнительный комитет...». — Из рапорта коменданта крепости Покрошинского.

«Зачем нам эти подробности». — Резолюция начальника штаба корпуса жандармов.

«Александр Ильич погиб как герой, и кровь его заревом революционного пожара озарила путь следующего

за ним брата, Владимира». — Анна Ильинична Ульянова-Елизарова.

«Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». — Владимир Ульянов. По воспоминаниям Марии Ильиничны Ульяновой.

### *Глава третья*

Никто из нас не знает, думал он, и вряд ли узнает когда-нибудь, в какой камере провел здесь несколько предпоследних дней Саша, прежде чем его с товарищами перевезли в Шлиссельбург и там повесили. Повесили, подумать только, страшная выпала ему смерть... Четырнадцать месяцев не оставляет мысль о том, что Саша мог сидеть именно тут, в камере под номером 193, лежать на этой самой койке, сидеть на откидном железном листе, именуемом стулом, писать на доске, называемой столом, и в эту вот форточку ему протягивали миску с унылой тюремной пищей. И эти, вот именно эти глухие стены слышали одинокие слова его, и не дано им было услышать его последних мыслей, несомненно архипачительных, лишенных житейской мелочности, свободных от уныния, — мыслей, которых не услышал, не узнал и не услышит и не узнает никто и никогда...

Саша был больше, чем просто брат, он привык восхищаться Сашей, любимцем семьи и всех окружающих, привык, сколько помнил себя, восхищаться и подражать ему во всякой малости... Любой, кто с ним соприкасался, видел в Саше личность великую, если не гениальную. Дмитрий Иванович Менделеев с университетской кафедры сказал во всеуслышание: «...два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славою русской науки, Ульянов и Кибальчич, погибли...» Да, вероятно, Саша был бы славою науки... Но, кроме того, был он и любимым братом, и горько и странно думать, что мог он сидеть в этой камере № 193, где вот уже четыре-



ста восемнадцатый день отбывает фактически бессрочное предварительное заключение он, брат младший... Но, кажется, эти каналы зашевелились, Лянтюта сказала на прошлом свидании, будто готовится высочайший рескрипт... Что ж, будем собирать пожитки, перемещаться в места отдаленные... Мама подала прошение в департамент полиции с просьбою назначить местом ссылки либо Красноярск, либо Минусинск... Хорошо бы, если так. Впрочем, надо быть готовым ко всякому... Правда, по сравнению с народниками пока что социал-демократов наказывали достаточно легко... Хотя как сказать... Брусневу отвалили несколько лет одиночки плюс десять лет ссылки в Восточную Сибирь... А тюрьма — пострашнее этой предварилки. Здесь, по крайней мере, не стесняют книгами, позволяют писать, два раза в неделю — свидания. Здесь, пускай за стенами, Питер, и рядом — товарищи, друзья, родные... Здесь Питер... Кажется, это было совсем недавно, а ведь прошло почти три с половиною года. Помнится, как будто вчера...

...Остались позади тихая, приземистая Тоспа и задымленное Колпино. Вагон третьего класса, зеленый снаружи, охряной внутри, с узкими рубчатыми лавками, с вытянутыми кверху и тоже узкими окошками, плотно закрытыми по случаю приближения к столице, она давала о себе знать гарью и угольным запахом, — вагон этот сильно мотало и потряхивало на стыках рельсов. Пассажиры, мало привычные к частым передвижениям по чугунке, суетились, вытаскивали узлы, баулы, корзины, стягивали веревками заплечные мешки, перебрашивались — дорога от Москвы прискучила, бессонная ночь давала себя знать, томили духота и керосиновая вонь от фонарей, уши, ноздри забило дорожной пылью.

Шли последние сутки лета — 31 августа. В Самаре и в Москве было душно, пыльно, суетливо, особенно в первопрестольной. Можно было и не задерживаться

там, однако в древнюю столицу незадолго перед тем переехала в полном составе семья — мама, Аня с мужем, Марком Тимофеевичем Елизаровым, Маняша и Митя, надо было поглядеть, как устроились, тем более что, судя по всему, расставались надолго. Из Самары выезжали все вместе, но сделал остановку в Нижнем, получил петербургскую явку, завернул во Владимир, надеясь встретиться с Николаем Евграфовичем Федосеевым, с которым состоял в переписке по казанскому марксистскому кружку. Выяснилось, что Николай еще отсиживается в «Владимирке»... В Москве немного задержался, родные поселились удобно, помощи им не потребовалось, время ушло на деловые встречи с местными марксистами, на занятия в Румянцевском музее, превосходная там библиотека. Мама, понятно, уговаривала остаться с ними, но Аня и Марк поддержали его, особенно Аня, понимала, что уходит в революцию, и потому лучше жить ему отдельно, чтобы в случае чего не ставить под удар и мамочку, и Дмитрия, поступающего в университет... Кроме того, Питер есть Питер, не московское относительно захолустье.

Клетчатый саквояж с твердым дном стоял на замызганном полу, в саквояже уместилось все имущество. Зимнее пальто купить обещали мама и старшая сестра, сам он приобретать ничего не умел. Постель надеялся получить у квартирных хозяев. Книжки — в библиотеке. *«Omnia mea mecum porto»* («Все мое ношу с собой»).

Поезд сбавлял ход. За пыльным окошком ползли кирпичные строения, штабели просмоленных шпал, всякий придорожный хлам. Потянулся дощатый вокзальный дебаркадер. Тормознуло резко, с полки свалился узел, заплакал ушибленный ребенок. Приехали.

На Знаменской площади, справа, высилось огромное здание Северной гостиницы, в ней, конечно, сыскался бы недорогой номер, но денег было совсем в обрез. По той

же причине извозчика не взял, а от конки отказался — не из экономии, а удовольствия ради предпочел прогуляться, погода благоприятствовала.

В Петербург он приехал четвертый раз. Перед тем был ровно два года назад, в университете держал последние экзамены. А немного ранее, в мае того же 1891-го, вместе с мамой провожали здесь навечно Оленьку. Она училась на Высших женских курсах и скончалась от брюшного тифа, не прожив двадцати лет... Поехать бы на Волково кладбище сейчас же, положить цветы, но, по трезвому размышлению, следовало сперва устроиться с квартирою...

Обогнув Знаменскую церковь, он очутился на великолепном Невском. У перекрестка возвышался величественный городской, сверкали бемским стеклом витрины, звенели конки, пролетали, по-звериному храпя, могучие жеребцы лихачей, трухали на приземистых лошаденках ваишки, с нарочитой медлительностью, давая рассмотреть владельцев, следовали собственные выезды. Флажировали авантажные господа с тросточками, нарядные дамы, лощеные офицеры, слышался нарочитый гвардейский говорок. На стыке Загородного с Литейным благоухал приманчиво знаменитый Палкин. Есть хотелось, но ресторан — не по карману. Машинально свернул на Литейный.

После мягких, тихих торцов Невского здесь булыжник показался непомерно громким и жестким, колеса тарахтели, как в родном Симбирске. Но зато ровен и удобен тротуар, — он усмехнулся, припомнив услышанное от извозчика словечко плитувар. Наступал петербургский трехсветный, так называли коренные жители, час: еще не закатилось низкое солнце, взошла луна, и фонарики загодя зажигали светильники, перебегая с лестницей с одной стороны проспекта на другую. Надобно наконец отринуть задумчивость и побеспокоиться о

ночлеге. Он принялся вглядываться, в каком окошке белеет билетик, свидетельство тому, что комната или квартира сдается внаем. Литейный приглашенным таким не побаловал, свернул наугад в тихую Сергиевскую. Здесь, в доме под номером 58, в квартире 20, нашел себе пристанище.

Тут ему понравилось. С близкой Невы доносилось ее свежее дыхание, пахло привялой к осепи зеленью Таврического сада. И, если не откажут припать в коллегию присяжных поверенных, то придется бывать в Окружном суде, а он — рукою подать, Литейный, 4.

Единственное, о чем не подумал он тогда, что совсем уж рядышком, на Шпалерной, находится Дом предварительного заключения и что всякий раз, проходя мимо, будет вспоминать о Саше... И, конечно, еще не приходило в голову, что Дом этот сделается надолго невольной обителью для него самого. Правда, мысль об арестах, разумеется, его посещала, знал, какими терниями утыкан избранный им путь, но почему-то мысли эти не связывались с предварилкой.

А государственная машина, хорошо отлаженная, повернула еще одно, пока еще почти неприметное колесико.

«Состоящий под негласным надзором полиции... Прибыл 31 августа 1893 г. в С.-Петербург и поселился в д. № 58 по Сергиевской ул., 4 участка Литейной части». — Донесение Петербургского охранного отделения в департамент полиции, 7 сентября.

«Филер должен быть политически и нравственно благонадежный, твердый в своих убеждениях, честный, смелый, ловкий, разбитной, сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уклончивый, серьезно и сознательно относящий-

ся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности — с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми. Но при всех достоинствах чрезмерная нежность к семье или слабость к женщине — качества с филерской службой несовместимые и вредно отражающиеся на службе». — Из инструкции департамента полиции.

До столь идеального, чуть не ангельского облика филерам было далековато, но следует признать: хлеб ели не зря... Всего неделя потребовалась, чтобы и установить новое местожительство «сына действительного статского советника» Владимира Ильича Ульянова, и доложить непосредственному начальству, и отправить донесение в департамент...

...На Сергиевской, впрочем, он долго не задержался, компата и вся квартира его раздражали среднебуржуазной, вернее же, обывательской обстановкой, а хозяйка — непомерной педантичностью в соединении с любопытством. И близость к Окружному суду тоже пока представлялась бесполезной. С рекомендательным письмом самарского своего патрона, Андрея Николаевича Хардина, явился на следующее же утро к известному адвокату Михаилу Филипповичу Волкенштейну, тот жил рядышком, на углу Спасской и Преображенской. Встретил приветливо, угощал отлично заваренным чаем, предлагал и рому, был деликатен, диплома не спросил. Владимир Ильич, не желая ненароком поставить в неловкость предполагаемого нового патрона, счел необходимым сказать и о казенном брате, и о своем исключении из Казанского университета, на что вполне прогрессивный, а также преуспевающий и потому благодушный Волкенштейн отвечал без снисходительности и пугливости: таковые подробности его нimalo не тревожат, был бы коллега усерден и толков. Протеле-

фонировал в совет присяжных поверенных и не попросил, а почти распорядился записать с завтрашнего числа у него помощником господина Ульянова, окончившего курс в столичном университете с дипломом первой степени, — откуда стала Волкенштейну известна последняя подробность, Владимир Ильич не угадал. Возможно, известил в рекомендательном письме добрейший и милейший Хардин.

Записать записали, но ведения дел не поручали — было о чем призадуматься, не рука ли департамента полиции, — наведалься в канцелярию съезда мировых судей, поскучал там на конференции помощников присяжных поверенных — плетение словес, воздушнейшее сотрясение. Посетил Окружной суд, познакомился с коллегами, с разными чиновниками, — в их числе запомнился почему-то товарищ председателя Окружного суда, приятного обхождения Александр Евгеньевич Кичин. Дал несколько пустичных консультаций, притом безвозмездно, время шло как бы вхолостую, а денег оставалось меньше и меньше, урезывал расходы «*minimum minimum*». Чувствовал себя, чего прежде не замечалось, и смятенно, и неуверенно. В Симбирске, в Казани, в Самаре были родные, товарищи, единомышленники, здесь он очутился в одиночестве, и адвокатская среда, куда он по необходимости стремился, представлялась чуждой. Просиживал дни в читальном зале Публичной библиотеки, в читальне Вольного экономического общества, что в Четвертой роте, у Забалканского проспекта. Принялся за материалы земской статистики, литературу о сельском хозяйстве — вызревал замысел объемистой, основательной книги по развитию капитализма в России. Вечерами кипятил на спиртовке чай, снова работал, для отдыха читал беллетристику. Было ему одиноко и тошно. Бесплодные хождения в поисках заработка, вынужденные отчеты перед мамой в расходах — мама того не требовала, полагал необходимым

сам, — раздражающая обстановка в квартире, одиночество, жажда делать, странная неуверенность в себе томили, требовали разрядки, перемен каких-то. Взял и начал с простейшего: переселился в октябре на Ямскую, около Загородного и Невского, здесь показалось куда удобнее.

Надобно было преодолеть и окаменевшую скованность, и неуверенность, и чрезмерную осмотрительность, и настороженность, столь несвойственную ему, заводить знакомства, включаться в работу, ради чего и приехал он в Петербург. Вне сомнений: нужные, интересные люди в Петербурге имелись, предполагаемые и желанные единомышленники, предполагаемые и желанные противники, с последними хорошо бы и полезно схватиться... Но ведь не станешь на перекрестке звать к неведомым единомышленникам и противникам.

Надежно припрятано еще одно кроме врученного Волкенштейну рекомендательное письмо, из Нижнего. Тамашские марксисты, Скворцов, Григорьев, Мицкевич, оказались теоретически слабо оснащенными, напирали преимущественно на практику. А Скворцов, лохматый, нервический, желчный, казался начетчиком от марксизма и симпатии, кажется, взаимно не вызвал. Но письмо составил вполне доброжелательное, просил свсего земляка, Михаила Александровича Сильвина, студента первого курса университета, к подателю сего отнестись с полнейшим доверием. Другой явки в городе не было. Сильвин жил на Мещанской, 10, близ канцелярии съезда мировых судей, занимавшей дом 26. Владимир Ильич проходил там чуть не каждый божий день, однако заглядывать к Сильвину не спешил. Тем более что прежде у себя, на Сергиевской, у ворот, украшенных жестянкой: «Татарам, Триничекам и протчим крикунам вход во двор строга воспрещаетца!», каждый раз невольно улыбался, читая, — у ворот этих не однажды видел пресловутое гороховое пальто (потому гороховое, что охрапное отделение по-

мещалось по Гороховой улице). Вопреки ведомственной инструкции господ филеры не отличались выдающимися способностями к маскированию, даже не слишком наметанный глаз вскорости приучался выделять их. Так недолго подвести еще незнакомого Сильвина. Однако и тянуть далее было невтерпёж и невозможно...

Осенним утром, не рано, часов этак в одиннадцать, в квартиру, где обретался Михаил Сильвин, постучались. Студент-первокурсник, подобно многим сверстникам достаточно безалаберный в самостоятельной жизни, еще изволил почивать. Его разбудила хозяйка-немка, попеняла на образ жизни постояльца, сказала, что пришел гость. Полуодетый Сильвин вышел в залу, там увидел незнакомца. Сидел, не сняв пальто, глаза насмешливые, но в тон хозяйке сказал нарочито солидным баритоном: «Однако, однако же, молодой человек, долгопью сибаритствуете». И протянул конверт с рекомендательным письмом.

Ни Сильвин, ни Ульянов не запомнили числа, знали только впоследствии, что начало октября 1893-го. И встреча, сама по себе не слишком-то заметная и содержательная, — обменялись малозначащими словами — оказалась в конечном счете исторической: через Михаила Александровича вскоре Владимир Ильич познакомился с теми, кого так жаждал повстречать в столице.

Близился второй период истории русской социал-демократии — период детства и отрочества. Социал-демократия, по словам Ленина, появлялась «как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия».

## 1

Благовестили колокола, гремел дьяконов бас, кадили приторно-ароматным ладаном, Василий бухнулся на колени, крестился, кланялся до полу, опять размашисто кре-



стился, рядом то же проделывал Егор Климанов, лица у них восторженно-умилненные, как и полагается в таких обстоятельствах... Молебен заказали они по случаю чудесного избавления: в прошлом, 1888 году, 17 октября, на 277-й версте от Курска, возле станции Борки, дотолемало кому известной, случилось устроенное злоумышленниками страшное крушение царского поезда. В нем ехал Александр III со всем августейшим семейством. Газеты захлебывались: «Чрезвычайная опасность грозила России, день тот мог оказаться днем великой печали, а стал праздничным, было явлено чудо милости Божьей, по воле Провидения ни Государь, ни члены Его Семьи не пострадали...» Газеты не уставали долдонить о том, как со всех концов империи стекались изъявления верноподданными чувства радости о чудном спасении, как возносились молитвы, скрепляющие союз царя с народом... Год миновал, и снова трезвонили колокола и служили молебствия, Шелгунов осенял себя крестным знамением и чуть не расшибал высокий лоб, его примеру следовали колесопреклоненные товарищи. Список тех, кто заказывал молебен, вручили псаломщику накапуне с небезосновательной надеждою, что имена, обозначенные в этой бумаге, станут известны и полиции: в числе прочих способов она и таким вот манером, как ознакомление с поминальниками и прочими церковными росписями, следила за благонадежностью и благонамеренностью государевых верноподданных.

За несколько дней до молебствия в трактире на Забалканском, у Обводного канала, сдвинув столики, прихлебывали пенистое пиво, изредка горлачили песни, притом горлачили поочередно, а те, кто не распевал, под шумок переговаривались вполголоса.

Мысль об этой пирушке, а затем и о церковной службе пришла в голову Шелгунову, к тому понуждали серьезные обстоятельства.

Вот уже изрядное время назад, в феврале минувшего, 1888 года, полиция и жандармы выследили-таки «Товарищество санкт-петербургских мастеровых», арестовали почти всех интеллигентов-кружковцев во главе с Точисским. Вот когда Павла Варфоломеевича помянули добрым словом: его конспиративность, многим, в том числе и Василию, казавшаяся чрезмерной (шутка ли, иных членов организации по именам-отчествам даже не знали, только по кличкам!), пришлась очень кстати. Уцелела вся рабочая часть «Товарищества», основное, по сути, его ядро. Точисский оказался прав и в другом: к моменту арестов и Шелгунов, и Климанов, и Василий Буянов его стараниями сделались людьми достаточно зрелыми политически, способными вести самостоятельную пропаганду.

Но вот организаторского опыта им не доставало. И почти на ощупь, догадкой скорее, Шелгунов прикинул: надо бы попробовать создать легальную рабочую организацию, выходить на люди в открытую, попытаться вовлечь побольше народу. Егор, человек увлекающийся, беззадумно согласился. Придумали название — такое, чтобы, казалось, и комар не подточил носа: «Общество взаимопомощи учеников воскресных школ». «Пожалуй, что верно, Вася,— соглашался Климанов,— ты, оказывается, голова».

Сочиняли проект устава, походили-поездили по вечерним школам, нашли согласных людей, вот и сошлись в трактире, чтобы рассмотреть устав. А про молебен додумался Шелгунов уже на этой попойке.

Но уловка с молебном не помогла. Даже слова об обществе власти боялись. Правда, отчасти и запрет пошел на пользу делу: наименее стойкие и убежденные рабочие сразу от Шелгунова и Климанова отшатнулись, остались только самые сознательные. Из них и сколотили — теперь заведомо нелегальный — кружок «Борьба», поставили революционные цели: вести пропаганду среди рабочих.

Налаживали группы на заводах и фабриках, составили, как умели, программу занятий, подыскивали интеллигентов для чтения лекций, пытались заново собрать библиотечку взамен конфискованной, этим занимался Василий. Однако силенок не хватило, организация больше числилась, нежели существовала, не было твердого руководства и ясного понимания, по какому же двигаться направлению. Но посчастливилось: Шелгунов и его тезка Буянов окольными путями познакомились со студентом-технологом Михаилом Ивановичем Брусевым.

Однако для Шелгунова эта встреча была кратковременной, а следующие оказались редкими: у Василия улучшилось зрение, отсрочка от призыва истекла, вызвали в воинское присутствие.

## 2

Призвали на службу царю и отечеству в первый день 1890 года, в ополченский запас уволили 22 сентября 1892-го, — без малого три года потаскал солдатскую шинель, даже сделал карьеру — до ефрейтора.

Местом определили Ораниенбаум, в просторечье Рамбов, славный городок, сорок верст от столицы, на берегу «Маркизовой лужи», то бишь Финского залива. Дачи, сады, всякие увеселительные павильоны, а заводов никаких, ни копоты, ни гари, ни шума-грохота, и в Питер можно по железной дороге, а то и на пароходе.

Попал Шелгунов служить в роту при офицерской школе, где сотню капитанов готовили к замещению должностей батальонных командиров. А у солдат роты обязанности — пести караул, обслуживать кухню и офицерскую столовую, ходить в наряд на стрельбище, убирать во дворе, на плацу, в классах, прислуживать их высокоблагородиям. И, как полагается, муштра и словесность. Иногда увольняли в отпуск. Здесь, в Рам-

bove, в отличие от столицы, солдатам не возбранялось заходить в парки. Случалось, давали увольнительный билет в Питер, с почевкой, если не проштрафился, начальству угодил. Василий старался. Один старослужащий его наставлял: хочешь, мол, чтобы служба не шибко тяжкой показалась — не валяй дурачку, не отлынивай, выполняй справно, что прикажут, не лезь на рожон, умеи смолчать, однако и не угодничай сверх меры, поскольку прихлебателей солдаты не любят... Дельного совета Василий послушался. Маршировал на плацу — искры из-под сапог, словесность отбарабанивал, как дьячок молитву, кухонные кастрюли начищал до раскаленного блеска, выделялся опрятностью форменной одежды.

С позволения фельдфебеля усердный солдат поставил в казарменном закутке переpletный станок: дозволялось прирабатывать к скудному жалованью, из доходов этих выделял толику и унтерам, и фельдфебелю. А Шелгунову кроме нелишних денег было надобно и другое: под видом заказов привозил из Питера литературу, какую солдатам читать не положено, раздавал надежным товарищам.

Попал в руки томик Писарева, заинтересовало не слишком, но внимание Василия остановили такие слова:

«Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно».

Запало в голову, призадумался. На приклепанные деньги накупил книг, что можно было без особых опасений держать в казарме под видом сданных в переpletную работу. Принялся читать подряд: и Лафарга «Религию и капитал», и Лассалья «О сущности конституции», «Программу работников», и труды Августа Бебеля — о нем наслышался от Павла Точисского. И вскоре в голове образовался ералаш, Шелгунов начал запуты-

ваться в тех вещах, какие прежде вроде понимал вполне. И привела эта путаница к результату неожиданному: он стал все решительней настраиваться против интеллигентов.

У Василия был приятель, Саша, Александр Сидорович Шаповалов. За ним водилась некая странность: любил рассуждать о том, что для русского мастерового сознание собственного достоинства является крайне редким качеством, наш рабочий привык, что все его обманывают, и оттого ко всему относится с недоверием. «Погляди,— говаривал Шаповалов,— не только хозяева, управляющие, мастера, но и сам наш брат поровит ближнего унижить, обжегорить. Крадут друг у дружки инструмент, устраивают дикие забавы, изгаляются над мальцами-учениками. Те, кто из деревни перебрался недавно,— у них главная забота поднакопить деньжонок и вернуться домой, к городским относятся и с недоверием, и с презрением одновременно, за копейку готовы удавиться. Где тут, Вася, человеческая честь? А мастера-пемцы? Мы для них — руссишен швайпен, русские свиньи... А инженеров и хозяев — тех и вообще почти не видим, пренебрегают. И помыкает нами кто хочет, а мы помалкиваем, где же человеческое достоинство наше?»

Рассуждения эти припомнились неспроста, они диковинно переплетались со словами Писарева. А что, думал Шелгунов, если те интеллигенты, что налаживают кружки, втайне думают о рабочих с презрением, не считают за ровню? Что, если Точисский знал об этом и потому предлагал выключить студентов и курсисток из «Товарищества»? Почему народовольцы и марксисты охотятся за рабочими с двух сторон — для чего им это нужно, в каких целях намерены использовать? А мы идем, как бараны, представляем каждого интеллигента неоспоримой силой, — мы что, хуже, дурпей их? А может, они сами не знают, куда идти, — вон без копца

друг с дружкой спорят, мы — промеж двух огней, и сколько приходилось уговаривать их: оставьте, мол, свои распри, они только мешают пробуждению рабочих... Что, если прав Писарев — своим умом надо. И подальше от интеллигентов? Но, с другой стороны, ведь не получилось у нас с Егором, когда взялись организовать общество «Борьба», пришлось идти к Брусневу. Однако как пошли? Равные к равному или же — на поклон?

### 3

Если Павел Точисский, сын полковника, да еще вдобавок тюремщика, считался все-таки рабочими за своего, если, при сложностях натуры, с ним ладили сравнительно легко, то Михаил Иванович Бруснев, на взгляд и Шелгунова, и многих друзей Василия, представлялся человеком совсем иным.

Происходил Бруснев тоже из офицерской семьи, притом — казачьей, а казаки пользовались в России недоброй славой, верные слугители трона. И, судя по всему, в отличие от Павла Точисского, от своего батюшки-хорунжего Бруснев не отрекался, жил на его средства, учился в университете, не бедствовал, как Павел. И на вид Бруснев сильно отличался от Павла: лицо холерное, старательная прическа, борода и усы ухоженные, барин барином. Но главное, конечно, состояло не в том. Павел мог выкинуть фортель, мог поиграть в Мефистофеля, но все-таки был прост и доступен, Бруснев же, так решил Василий, отличался холодною сдержанностью в обращении, Шелгунову казалось, что эта сдержанность сродни той пренебрежительности, какую выказывали немцы-мастера и о которой столь много и страстно говорил Саша Шаповалов. Точисский и хмурился, и раздражался, но тут же, бывало, расхохочется, расскажет байку, не прочь ввернуть и крепкое словечко, посидеть

в портерной, потолковать не только по делу, а и так, о житейском. Бруснев же казался недоступным, всегда ровным, рассуждал преимущественно про теорию, про задачи революционной борьбы,— это, конечно, важно, интересно, а все-таки и человеческая простая беседа нужна. И лишь позднее Шелгунов и другие товарищи разглядели, что за спокойствием, хладнокровием, п р а к т и ц и з м о м Бруснева крылись и деликатность, и душевность, и подлинная, а не внешняя простота...

Настораживало Василия и то, что Михаил Иванович разделил социал-демократическую организацию на две части — Центральный интеллигентский и Центральный рабочий кружки. Опять, думал Шелгунов, это расчленение, вроде семи пар чистых и семи пар нечистых. Притом в рабочем кружке обязательно состоял представитель интеллигентов, а вот к себе интеллигенты небось рабочего не ввел... И даже заявление Бруснева о том, что главная и основная цель всей организации — выработать из участников рабочих кружков вполне развитых и сознательных социал-демократов, которые могли бы во многом заменить пропагандистов-интеллигентов,— эта мысль, сходная со взглядами Точисского, казалась теперь Шелгунову звонкой фразой, а то и л о в у ш к о й, в которую интеллигенты пытаются заманить. Ведь они же о х о т я т с я за нами, привычно думал Шелгунов, передовых рабочих заманить ради своих неясных интересов. И опять, рассуждал Василий, мы оказываемся где-то на втором плане, снова над нами возвышаются, опять нас г о т о в я т, а не действуют с нами на равных...

Василий жил теперь в состоянии раздвоенности.

Его и тянуло к интеллигенции, и в то же время копилось недоверие к ней и даже обида, затаенная, а порой и открытая, мальчишеская. Прорывалась эта обида весьма негадально и некстати.

Тяжело болел Николай Васильевич Шелгунов, извест-

нейший публицист, революционер-демократ. Василий, когда услышал о нем, сперва только польщенно думал о том, какой, вишь, у него знаменитый однофамилец оказался. Но после прочитал и статьи его, и некоторые книги, узнал кое-что из биографии, выяснилось, что Николай Васильевич и в Алексеевском равелине сидел, и дважды отбывал ссылку, а под конец жизни обретаётся в полной нищете. Передовые рабочие относились к Шелгунову с огромным уважением.

Примерно в начале марта 1891 года Центральный рабочий кружок решил послать к больному писателю делегацию. Составили приветственный адрес. Василий на этом собрании был, адрес подписывал. Выделили делегацию, ее возглавил самый старший по годам — ему исполнилось тридцать два — и авторитетный член кружка Федор Афанасьевич Афанасьев, уже в ту пору носивший уважительную подпольную кличку Отец. Вошел в делегацию и Егор Климанов. Тогда Василия больно укололо: его-то не выбрали! Хотя понимал, что глупо думает: второй раз подряд начальство из Ораниенбаума в Питер его не отпустит. Понимал, но все-таки обиделся. Однако смолчал.

13 апреля из газет Василий узнал, что накануне Н. В. Шелгунов скончался. Заметался по казарме: как быть? Давно условились, что в случае необходимости Бруснев или Климанов отобьют ему условную денешу о болезни сестры, денеша не получилась ни вечером, ни следующим днем. А ведь не скажешь ротному: дескать, ваше высокоблагородие, богом прошу, дозвоьте с писателем попрощаться, ведь не совершь, будто Николай Васильевич тебе родственник...

Через несколько дней удалось-таки вырваться в столицу. Прямо с вокзала — к Брусневу: «Как же так, Михаил Иванович, как же меня-то не позвали?» Настолько обиделся, что глупость сморозил: «Я однофамилец, мне



бы и венок нести». На сей пеленый довод Михаил Иванович никак не откликнулся, пренебрег. Тщательно одетый в студенческий мундир, он, как всегда снокойно, прошелся по комнате и сдержанно, словно по написанному, отчеканил: «Василий Андреевич, известно ли вам, что интеллигентский центр был вообще против участия наших рабочих в похоронах, опасались репрессий, оказалось, что небезосновательно на следующий день после демонстрации арестовали и выслали писателей Павла Владимировича Засодимского, Николая Константиновича Михайловского, наших пропагандистов, небезызвестных Леонида и Германа Красиных, из рабочего кружка — Гавриила Александровича Мефодиева... Нам каждый человек дорог, амбиция тут ни к чему. Вам, простите, Василий Андреевич, важнее что: сама революция или же личная ваша роль в ней? Извольте амбиции оставить. Насколько мне известно, Павел Варфоломеевич внушал членам «Товарищества», якобы народовольцами двигали только честолюбивые мотивы. Я с ним не согласен, однако, насколько мне опять же довелось услышать, позицию Точисского разделяли большинство участников кружка, и вы также. В таком случае — как вас теперь прикажете понимать? Тоже честолюбие выиграло?»

Сказал как отбрил. И тут все недовольство Шелгунова, все недоверие к Брусневу как бы собралось в одну точку. Возражать не стал, вытянулся во фрунт, словно перед генералом, поскольку был в солдатской обмундировке, парочито отдал честь, отранортировал: «Дозвольте идти?» И повернувшись, отпечатал шаг. Только на пороге не сдержался, хлопнул дверью.

Помыкался по улицам, поостыл, направился к Федору Афанасьеву. Отца застал дома, хмурого, усталого, у него, как и у Василия, болели глаза, правда, Шелгунова хвороба на время отпустила, Афанасьев же выглядел худо. Пока закипал неперемный у Отца самовар, Василий

выпалил все накопленные обиды и сомнения. Афанасьев не перебивал, дождался, пока гость выговорится, налил чаю, начал рассказывать.

За гробом Николая Васильевича шли несколько тысяч, в их числе — около ста рабочих. На ш венок с надписью «Указателю пути к свободе и братству» несли высоко, на шестах, Константин Норинский и Сергей Фунтиков. Полиция пыталась помешать, запретила поднять гроб над толпой, хотела направить шествие боковыми улочками. Не удалось, двигались от Воскресенского через Литейный и Невский, по Лиговке, самым людным проспектам. А на кладбище у венка от рабочих что творилось... Читали надписи вслух, и по сей день разговоры не стихают. Вот что главное, Василий, а не твоя пустяковая обида. А касательно твоих сомнений, то запомни раз и навсегда: своими силами рабочую интеллигенцию мы не создадим, нам учиться надо у тех, кто имеет образование, кто всей душой с нами, не отталкивать руку помощи, а крепко за нее держаться. Своей мозгой до теории не дойдешь, а тем более в одиночку. И вот еще что: нынче будем проводить маевку, постарайся выбрать-ся из своего Рамбова, пойми — первая в России рабочая маевка предстоит!

Но Василию опять не повезло: начались полевые учения, об отпуском билете в Питер не приходилось и заикаться.

А маевка и в самом деле была событием большим. Впоследствии Ленин оценивал ее как социал-демократическую демонстрацию передовиков рабочих... Речи, произнесенные на маевке Федором Афанасьевым, Егором Климановым и другими, с приложением адреса Николаю Васильевичу Шелгунову издала за границей группа «Освобождение труда»... И снова пришлось Василию узнавать обо всем этом лишь задним числом.

Осенью 1892 года Шелгунов отбыл срок действительной и вернулся наконец в Петербург. Он оглянулся в прошедшие эти два года и девять месяцев солдатчины, поразмышлял: что же обрел, что потерял за это время? Военная служба закаляет и дух и тело, научает сдерживать себя, вырабатывает навык жить в замкнутом кругу людей, — это хорошо. Увидел Василий еще одну сторону классовой розни, до того неведомую: рознь между офицерами и «серой скотинкой». Сблизился с одетыми в шинели крестьянами. Много читал... Но, с другой стороны, оторвался от питерских товарищей, варился в собственном соку, почти не бывал на кружковых занятиях, оказался отчужденным от Бруснева... Словом, жизнь приходилось начинать как бы заново.

Решил уйти с «Нового Адмиралтейства»: брусневский «Рабочий союз» разгромили, как знать, не взяла полиция под наблюдение и Василия, нет нужды их дразнить своим появлением. Надумал расстаться и с домашними: не чувствовал с ними душевности, а за время службы и вовсе поотвык.

Выбрал Путиловский завод — один из самых знаменитых в России, старинный и огромный, работали здесь, слышал Василий, чуть не десять тысяч мастеровых. Тут будет где развернуться, наладить пропаганду... Взяли без разговору, жалованья положили семьдесят копеек в день, маловато, в «Адмиралтействе» получал больше, а вот цены какие — фунт хлеба — три копейки, сахару — двугривенный, две селедки — пятачок, и столько же стоит чай на две-три заварки, а надо еще и одеваться, и за жилье платить. Ничего, Василий, переберешься, утешал он себя, бессемейный ты.

Начал искать крышу над головой — чтоб в окрестности Путиловского. Жуть взяла: комнаты отдельные

здесь, считай, и не сдают, по большей части лишь углы, да какие! За дневной свет и то дополнительный тариф: ставишь койку возле окна — плати в месяц три целковых, а если в темной стороне — два рубля... Иные целой семьей снимали одну кровать — спи вповалку, по условие: не больше п я т е р ы х на койку. Или полкровати можешь взять внаем, с чужим человеком, либо по-сменному, либо ложишься в а л е т о м...

Посоветовали податься на Васильевский, Васпя, как его называли запросто, остров, там, сказали, получше. Далековато, правда, от Путиловского, но что поделаешь... Тут посчастливилось: на Канареечной улице, в доме № 13, сыскалась комнатка — чистая и в квартире не шибко населенной. Перевез сундучок с бельем, с барахлишком всяким, с книгами. Впервые в жизни появилось у Василия собственное вроде жилье. Порядок навел по своему вкусу, книги расставил, кровать застелил аккуратно, по-солдатски. Хорошо, сам себе хозяин, да и родные, кажется, рады были от него избавиться: пугал своей непохожестью на остальных.

Первым, кого повстречал Шелгунов на Путиловском, забежав по какому-то делу в лафетно-снарядную мастерскую, был Коля, Николай Гурьевич Полетаев, знакомец по брусневскому кружку. Василий не вдруг Полетаева признал: на запятнях встречал его, понятно, в г о р о д с к о й одежде, притом Николай любил пофорсить, носил крахмальную рубаху с галстуком-бабочкой, хорошую тужурку и еще чванился роскошными усами; словом, фронт. А тут был, как положено токарю, в промавленной робе, черные руки, картуз на голове. Обнялись, хотя прежде не были особо уж близкими. Удрали в рабочий клуб, проще сказать — в ретирату.

Ничего веселого Шелгунов не услышал от Николая. За Брусневым, его взяли в Москве, где он искал связи, арестовали и Федора Афанасьева — Отца. Все-

го здесь к дознанию привлекли тридцать восемь человек, многих за сади ли, выслали — кого в Сибирь, кого в иные отдаленные места. «Но,— сказал Полетаев,— тут, понимаешь, есть и другая сторона, ее-то власти не учили: высылают в разные концы, а наши товарищи там без дела сидеть не станут; выходит, правительство само рассеивает крамолу. Еще при Брусинове мы установили связи с Москвой, с Казанью, Харьковом, Екатеринославом, сейчас, доходят слухи, под руководством наших ссыльных появляются кружки в Нижнем, в Одессе, Николаеве, Ростове-на-Дону, в Грузии, Польше, Привислянских губерниях... А здесь плохо, Вася, никакой организованной пропаганды нет, многие от движения отшатнулись, особенно женатые, боятся. Народники вроде опять голову поднимают... В общем, Василий, надо нам что-то предпринимать, иначе вовсе заглохнет дело. Но действовать осмотрительно. Думается мне, без продажных нуд не обошлось, больно уж сильно нас пощипали...»

## 5

«...Появился в С.-Петербурге в 1891 году в качестве исключенного за беспорядки харьковского студента. Он вступил в студенческую организацию... Возник слух о его поведении во время какого-то подозрительного знакомства, ибо... его упрекали в растрате денег, собранных для голодающих, но пополнил растрату. В это время он сблизился с...». — Заметки, сделанные В. И. Ульяновым в 1896 году в Доме предварительного заключения между строк на 240-й странице книги Н. И. Тезякова «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии». Видимо, в конспиративных целях набросано карандашом, мелким почерком, неразборчиво, с сокращениями слов.

Не хочу, не хочу, не хочу, всех к дьяволу, меня обдурили, охмурили, я не шел в предатели, в сексоты, у меня была совсем другая цель, другие побуждения, вам непонятные. Я глупо влип, вы знаете отлично, была чистая случайность, при обыске обнаружили револьвер, его дала на сохранение курсистка-истеричка, боялась, что хлопнет в себя, и еще взяли у меня брошюрки вовсе не крамольные, они продаются открыто в книжной лавке госпожи Калмыковой на Литейном. Но вам надо кого-то сажать, и меня толкнули в камеру при полицейском участке, дали время на размышление, я размышлял и пришел к выводу, что никаких показаний давать не стану, да мне и показывать было нечего. Я лежал на вонючих нарах в полицейском клоповнике, думал о том, что неудачи революционеров происходят из-за полного неведения насчет вашего оружия, революционеры не знают, как за ними следят, какими способами вытягивают признания, как вербуют филеров, сексотов, провокаторов.

Вывод один: чтобы избежать лишних жертв среди революционеров, надо изучить систему, приемы работы, средства противника, а сделать это можно, лишь находясь в его лагере. Я согласился добровольно и безвозмездно сообщать нужные сведения, согласился, чтобы войти к вам в доверие, господа голубые. И мне удалось втереться сперва в один эсдековский кружок, потом в другие, и я выдал эти кружки, но вы и меня взяли следом за ними, сказали — для отвода глаз, обещали выпустить недели через две, а вот уже сколько времени я в треклятой одиночке с асфальтовым полом, кормлюсь вашей чечевичной похлебкой, передо мной только стены да ваши постылые хари, они порой подмаргивают гнусно и доверительно.

В Путиловском задержался Шелгунов недолго, перешел в Балтийский завод, посоветовал Николай Полетаев, он сказал, что путиловские — более или менее сплоченная, единая масса, тут в случае необходимости поднять людей проще, а балтийские — публика весьма неоднородная. Да и удобнее — от Галерной гавани, где Василий устроился на жительство, до Чекушей, к заводу, несколько раз короче путь, чем до Путиловского. Василий внял совету. Жалованья тоже прибавилось: рубль тридцать в день, вдвое больше прежнего.

Вскоре он сблизился со слесарем Константином Норинским, тот числился в заводских списках под фамилией Фокина, однако в кружке Бруснева знали и звали так, как на самом деле. Костя и прежде нравился ему — внешностью, характером, начитанностью. Смахивал на студента: лохматый, очки в тонкой оправе, говорил чисто по-питерски, поскольку здесь родился, говорок приятный, неторопливый, голос низкий. Росту Костя был не слишком высокого, коренаст, подвижен, однако необдуманных поступков не совершал, говорил не вдруг, а обдумав и всегда веско, дельно. Он закончил ремесленное училище, работать начал еще раньше, чем Василий, с пяти лет помогал вдовой матери клеить папиросочные гильзы. В революционную работу вошел сразу, как поступил в Балтийский завод, пятнадцати годков неполных.

Норинский-то и познакомил с заводом. Балтийский числился по морскому ведомству, располагался на правом берегу Большой Невы, возле устья, основан в 1857 году, сейчас работали здесь около двух тысяч человек, строили преимущественно броненосные суда. Велик завод: кроме основных, механических, мастерских и огромного корабельного цеха имелись еще мастерские медниц-

кпе, кузнечные, чугунолитейные, котельные, модельные, столярные.

Правду сказал Полетаев: рабочая масса оказалась разношерстной: и кадровые, и воспитанники ремесленных училищ, и достаточно образованные самоучки, и едва умеющие читать, а то и вовсе неграмотные, особенно в корабельном цехе, где особой квалификации от большинства не требовалось, а работа самая тяжелая, за нее хорошо платили, потому туда и валили вчерашние крестьяне. Темные, с деревенскими привычками, с деревенским мировосприятием, скованные семейными связями. Придет работать один, вскоре тянет и сыновей, и кумовей, и шураков, и сватов,— они жили сельским укладом, сохраняли местный говор, выделялись из остальных. Питерские пролетарии над ними посмеивались — далеко не всегда невинно,— прежде всего над новичками. Дали кличку — пестрые. Но и те не остались в долгу, называли городских посадскими, в их понятии это значило: никудышный балабон, жулик, единственное на уме — как бы выпить, и ежели он возле тебя околачивается, держи ухо востро, хочет облапошить.

Необычное здесь обнаружилось для Шелгунова расслоение внутри рабочего класса, в «Адмиралтействе» такого не видел.

Пестрые все поголовно верующие, ни одной церковной службы не пропускали, соблюдали посты, книжки читали преимущественно духовные. А светские, если и попадались у кого, то самого низкого пошиба, вроде тех, с каких начинал и Василий, всякие там рыцари Францисканы, атаманы Епанчи, Кудимычи и тому подобные. Жили артельно, стол вели общий, деревенская еда — решетный хлеб, завариха, толокно, квасная тюря, толченая картошка. Зарабатывали прилично, а мясо потребляли редко, считалось — праздничное лакомство, грех тратиться каждый день, принакопленное утаивали в



к и с у. Однако нищим подавали всенепременно, хоть полушку: без нужды, дескать, человек христарадничать не пойдет, и любой от суммы не зарекайся. Обычаи тоже блюли сельские: на улице здоровались даже с незнакомыми, войдя в дом, осеяли себя крестным знаменем, почитали старших, что в семье, что в заводе. По вечерам устраивали посиделки, воскресным днем играли в бабки, в лапту, ходили на похороны и к чужим, провожали всем миром рекрутов... Темный был народ, такой не скоро встряхнешь...

И еще выделялась одна категория — кочегары, масленщики, боцманы с пароходов, поставленных зимовать возле Васиного острова. Эти по большей части сибиряки, люди пограмотней, себя высоко ставили, потому что поездили по белу свету, повидали много. Обиход тоже артельный, однако со своими отличиями. С работы придут — не помоют руки, волосы не причешут, как были, так и за стол, к самовару. Умывались раз в неделю — в бане. Выпьют — не орут, не буйнят, а кидаются друг на дружку и дубасят молча, не со зла, так просто, с хмельной дури. После ужина сядут кружком, старший байки бает, несет похабеля такую — уши вянут.

Враждовали не только городские с деревенскими, среди пестрых свой раздор, меж землячествами: рязанские насмехались над ярославцами, псковские — над архангелогородцами, а новгородцев почему-то все разом дразнили, диковинно прозвали чеченцы.

Словом, понял Василий, дел здесь неупрощен: прежде чем заняться революционной пропагандой, надо преодолевать темноту, взаимную недоброжелательность, недоверчивость, колебания в настроениях. А настроения менялись, бывало, по сущим пустякам. Придет, к примеру, в мастерскую управляющий заводом, умный и либеральный офицер Казин, поговорит как человек с людьми, то и горы своротить готовы. А наорет мастер на одного —

остальные волками глядят, но молча. Случалось — вроде вот-вот вспыхнет стачка. Но зайкнись о том, сразу ответ: «За ворота повыгоняют, поди ты прочь».

С прибытием Василия в заводе сам собой образовался рабочий актив: Костя Норинский, Андрей Фишер, Иван Кейзер, Шелгунов. Очень удивился Василий, когда узнал, что у Андрея Фишера в паспорте вписаны два имени, притом совсем другие: Матвей Генрих. Оказалось — по лютеранскому обычаю, Андреем же прозвали в деревне.

Было их четверо, и отчасти напоминали крыловских лебедя, щуку и рака: согласия не было, Кейзер, например, симпатизировал утасяющей «Группе народовольцев», созданной этак года два назад. Шелгунов с Норинским (немец Фишер по обыкновению больше отмалчивался) боялись, что через Кейзера влияние «Группы» распространится на остатки рабочих кружков, но переубедить Ивана не умели, срочно требовалась поддержка и подмога.

Тогда вот один из брусневцев познакомил Шелгунова с Германом Борисовичем Красиным, а тот в свою очередь — со Степаном Ивановичем Радченко, Глебом Максимилиановичем Кржижановским, Анатолием Александровичем Ванеевым, Василием Васильевичем Старковым...

Герман Красин показался Шелгунову совсем юношей — так и было, родился в 1871 году, — стройный, напряженный, как струнка, изящный в студенческом мундире. Василий сказал, что хотел бы повысить образование, — на более откровенный разговор не решился. Но и Красин считал главной задачей интеллигентов образование рабочих, полагал, что революционные связи надо поддерживать в ограниченном круге лиц и чтобы рабочие общались со своим братом, а интеллигенты — со своим. Еще более определенно заявил Радченко, тоже студент-технолог: пропагандисты должны заниматься с единичными активными рабочими, а те — руководить завод-

скими кружками... Шелгунов и Красин присматривались друг к другу, начали штудировать грамматику, арифметику, вскоре Шелгунов понял: это ни к чему, это известно... Зато постепенно прониклись взаимным доверием, повели политические беседы, поверхностные, правда, Красин, чувствовалось, не умеет... Дал Василию книгу Маркса «Наемный труд и капитал». Трудновата!

Весьма удивился Шелгунов, когда однажды Красин сказал, что с Василием хочет познакомиться очень интересный человек, который пишет. Удивило: с какой стати кто-то жаждет с ним, Шелгуновым, знакомства. Почему Герман Борисович предупреждает заранее, ведь прежде было проще: шел вместе, знакомил. Ради чего дает предварительно характеристику: очень интересный, пишет... Но по выработанной уже конспиративной привычке Василий вопросов не задавал. Свидание Герман назначил в своей квартире, на Мало-Царскосельском проезде, в доме 14/16, неподалеку от Технологического института.

Эта встреча — в конце 1893 года — и определила окончательно жизнь Василия Андреевича, до последнего вдоха.

Россия сбрасывала мутную дрему восьмидесятых годов, России пришла пора пробуждаться...

1892 год. Организованы марксистские кружки во Владимире (Н. Е. Федосеев), Самаре (В. И. Ульянов), Петербурге (С. И. Радченко, студенты-технологи); социал-демократические кружки в Иваново-Вознесенск (Ф. А. Кондратьев, О. А. Варенцова) и Казани (А. М. Стопани, Н. Э. Бауман). Первомайский праздник отмечен в Петербурге, Вильне, Лодзи. Забастовки, стачки, волнения в столице (Александровский механический завод, товарная

станция Николаевской железной дороги), в Лодзи, Юзовке, Луганске, Мариуполе, Екатеринославе, Бахмуте.

1893 год. Созданы Польская социалистическая партия, Литовская социал-демократическая группа, центральная марксистская группа в Москве, марксистские рабочие кружки в Либаве и на Сорновском заводе Нижегородской губернии, социал-демократические кружки в Одессе и Полтаве. Стачки и забастовки питерских рабочих (Адмиралтейские, Ижорские и Александровский механический заводы), в Егорьевске, Рязанской губернии (бумагопрядильная фабрика Хлудовых).

#### *Глава четвертая*

Нет, разумеется, прав был Сильвин, и безосновательна его, Ульянова, досада: не он ли сам думал и твердил товарищам, что гибель Александра и других первомаевцев была в конечном счете вызвана неопозволительной доверчивостью, архискверной конспирацией, забвением элементарных правил предосторожности... Конечно, рекомендательное письмо у Сильвина сомнений вызвать не могло, слишком характеристичен ломаный, первический, схожий с немецкой рукописной готикой почерк нижегородца Сковцова, слишком особливы его косноязычные, витиеватые фразы. Нет, Сильвин вряд ли усомнился в достоверности рекомендации, а вот в доподлинности предъявителя... Тут он опасаться мог и, более того, был обязан, ежели мыслил себя революционером. Ведь не заведено обыкновения к такого рода бумагам прикреплять фотографические карточки. Итак, Сильвин прав. Следовало ждать, возможно, долго. Разумеется, недоверие обидно, а все ж пора, господин помощник присяжного поверенного, научиться властвовать собой, проявлять выдержку не только внешнюю.

Так-то вот, Владимир Ильич, извольте потерпеть, вспомните римлян: «*Festina lente*» («Спеши медленно»)!

Рассуждая так, Ульянов и догадывался об истине, и заблуждался. Как раз Сильвин-то *поверил* вполне и вдобавок проникся великим уважением: в письме говорилось, что податель — брат Александра Ульянова! Но ведь речь шла о том, чтобы ввести новичка в организацию, а этого Михаил решать не мог. Направился к Герману. Там оказался и Степан Радченко, великий мастер и любитель конспирации, хранитель партийных тайн, как его называли. «Хм, значит, весьма ученый марксист», — пробурчал Степан об Ульянове. Звучало несколько иронически. «Хочет войти в наш кружок? Пойдем познакомимся».

В пути Радченко и Красин условились устроить сущий экзамен по части твердости в принципах. Брат, конечно, знаменит у него, но ведь народоволец! Как знать, что собою являет этот самарский адвокат, на словах быть марксистом нетрудно, а вот каковы глубокие убеждения... И вообще, настораживает самарская работа, там кружки преимущественно либерально-народнические... Радченко оставался верен себе: осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Цветущий, жизнерадостный, этакий запорожец с пушистыми усищами, с густой шевелюрой, он сейчас, понимал Герман, был напряжен, заранее ошечинен. Обоих угнетала ответственность: предстояло ввести в кружок человека незнакомого, со стороны. Или отказать, отвергнуть. Но не потеряешь ли нужного товарища?..

К встрече готовился и Ульянов, даже и по-житейски: комнату прибрал с особым тщанием, попросил хозяйку загодя о самоваре, сбежал в финскую булочную за крепделями, наколот синевого сахара, заварил чаю погуще. Он отвлекал себя от главного и в то же время собирал волю: понятно, предстоит смотрины, и решать будут

они, здешние, связанные друг с другом и общим делом, и круговою порукой, и личными пристрастиями, а ему остается лишь произвести надлежащее впечатление, и не актерством, на каковое не способен отроду, но только искренностью, откровенностью, прямою. И если примутся атаковать, не оказаться в позиции робеющего провинциала, зависимого, заискивающего, нет, коллеги, прошу заранее извинить, поскольку издавна известно: лучший вид обороны — наступление!

Перед Радченко, хмурым, насупленным, он умел и любил напускать на себя такое, когда сердился или желал смутить, и перед изычным, доброжелательным Красиным предстал человек оживленный, веселый, приветливый. Глаза — небольшие, с узковатым разрезом — как бы не просто глядели, а производили обстрел. Простой, радушный, он был настолько непринужден, что сразу вызвал доверие и расположенность Германа. Спутник его деланно хмурился, но Красня друга знал насквозь и понимал: Степан вот-вот скинет маску и объявится тем, каким его любили, — добрым, свойским, открытым.

После непужных, однако неизбежных слов о петербургской слякоти, о волжских природных красотах, отдав дань светскости, — молодцы все трое были, немножко все-таки поигрывали! — как и предполагал приезжий, учинили-таки экзамен, чуть не форменный допрос. Фразы, чуть не протокольные, сверкали, как рапиры, взблескивали, точно шпаги: откуда изволите быть родом, какого сословия, где кончали университетский курс, ах, экстерном, а позвольте, почему именно экстерном и что за ветры занесли в столицу, велика ли адвокатская практика, достаточны ли средства к существованию?.. Именно в беглости, стремительности предполагалась невозможность соврать, занутаться, и Ульянову ничего не оставалось, как принять правила игры, он сдержался, не дал воли раздражению, хотя повод был. Он старался, когда







можно, и отшутиться, но Радченко такой тон принять не желал и от биографической части перешел к мировоззренческой, начал, как и следовало ожидать, с Александра... «Покорнейше прошу извинить, Владимир Ильич, ваше горе понятно, а что касается мужества вашего брата, вряд ли в России найдется честный человек, не восхищенный им. Однако личная отвага — категория, простите, лишь моральная, а ведь существуют критерии свойства иного...» Сказал деликатно, отметил Красин, и тотчас почувствовал: вот, главное начинается, от Ульянова словно бы заструились флюиды... От быстрой, слегка лукавой и отчасти небрежной манеры, с какою Ульянов парировал радченковское стремительно-въедливое дознание, и следа не осталось, голос Ульянова понизился, глаза стали мрачноватыми, заостренными, точно бурава, движения монотонными, однако исполненными силы, а фразы — отточенными, самоочевидно продуманными, должно быть, для сегодняшней встречи еще и еще взвешенными. «Да, — говорил Ульянов, — к брату я относился с преклонением, но это не касается идейных убеждений. Глубоко уважая народовольцев за самоотверженность, нельзя не видеть, что средства их ошибочны, что своими действиями они лишь оторвались, и окончательно, от влияния на трудовые массы...»

И, не дав Радченке опомниться — Красин едва не поперхнулся остывшим чаем, глянув на Степапа, — из экзаменуемого Ульянов мигом превратился в экзаменатора, забросал обоих летучими вопросами, как видно, тоже припасенными, притом с реальным знанием обстановки. Теперь приходилось туго Степану... И слово за словом Радченко раскрыл перед провинциалом, перед тем, кого намеревался дотошно испытать и в ком сомневался, раскрыл все карты: да, пропаганду ведем кустарно, да, широкой организации среди рабочих нет, и нет их полного доверия к нам...

Вскоре Ульянов, в свою очередь не обинуясь, подвёл итог: «Убежден, что главный недостаток вашего кружка — абстрактное, а по сути догматическое понимание марксова учения, интеллигентское неумение связать его с конкретной действительностью. Кружок, насколько понимаю, оторван не от одной лишь рабочей массы в целом, но даже и от лучшего, верхнего, так сказать, слоя пролетариев...»

Спустя несколько лет Ульянов-Ленин отчекапит эти мысли в афористическую формулу: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

...Уф-ф, выдохнул Радченко, выйдя на Ямскую, и заговорил на слегка нарочитой, ломаной украинской мове, он делал это, когда шутил или смущался: «Дывись, який провінціял... Нынче у нас — неділя? Ну, воскресеньє. Я в баньку собирався, но, бачу, баньки нє трєба после такого розговору...»

Красин смеялся.

## 1

В назначенный день Шелгунов явился к Герману Борисовичу. Едва успел раздеться, как следом позвонили, Василий услышал в передней молодой звонкий смех, вышел навстречу.

«Очень интересный человек, который пишет», как его характеризовал Красин, оказался вовсе не таким, не предполагалым. Перво-наперво Василий отметил с удивлением и некоей даже удовлетворенностью, что ли: одет похуже моего, пальто у меня хоть и дешевенькое, с Александровского рынка, однако с иголочки, а у него поношенное, в рыжике, и шляпа-котелок не первой молодости. Снял — обнаружилась опрокинутая назад лысинка. А сам коренастенький, широкогрудый, юная бородка, усмешка непонятная, и карие глаза прищурены. Хитрый мужик, обозначил Шелгунов, не предвидя,

естественно, что именно так скажут и Михаил Васильев-Южин, и Луначарский, и Глеб Кржижановский...

Настоящего Ульянова увидел он минутами спустя, во время разговора. Гость находился, как впоследствии выразился Пантелеймон Лепешинский, в состоянии ртутной подвижности, как бы силком удерживал себя на месте. Был он всею повадкою натурален, будто летящая птица, будто рыба в воде, за собою со стороны не наблюдал, зато Василия бегло и цепко, даже слегка прижав на цыпочки, окинул взглядом, и Шелгунов, ростом более двух с половиною аршин, принагнулся, как бы давая себя разглядеть, и словно увидел себя глазами Ульянова: ровный, в меру пышный зачес, крутая складка меж густых бровей, крепкий, луковкой, нос и слитые с бородою усы, покатые плечи под косовороткой, калмыковатые, как и у приезжего волжанина, скулы... Пальцы Ульянова оказались сильными, хваткими, это Василий отметил с уважением, и голос понравился — низкий, а сперва показался тенором. Обменялись не только изучающими взглядами, по и первыми, для знакомства, словами, сделалось вполне просто, будто встречались много раз.

На столе у Гермапа лежала знакомая Василию книга Николая — —она, то бишь Даниельсона, «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства», сразу о ней и пошел разговор. Ульянов о книге отозвался пренебрежительно и едко, Шелгунов удивился: большинство его знакомых студентов сей труд хвалили. И в суждениях вроде слишком решителен и резок... Технологи — те свои, к ним Василий привык, а этот выглядел чем-то непохожим на Красина, Радченко, Сильвина, остальных, — чем именно, Василий не мог определить, и это мешало, делало теперь скованным.

Ульянов, вроде, торопился. Дал адрес — не визитку, а записал на листке, вырванном из книжечки, попросил не терять, приглашал заходить в любое время, лучше во

второй половине дня. «Милости прошу, Василий Андреевич, буду рад, и превесьма». Исчез так же стремительно, как и появился. «Что скажешь, каков?». На этот вопрос Красина отвечать Василий не стал, уклонился: пожжем — увидим...

Необычность Ульянова, его порывистость, его резкость, его мгновенная реакция на любые произнесённые слова, его запрятанная в глазах и моментально прорывающаяся усмешечка и притягивали, и отталкивали Шелгунова, и он размышлял даже: идти, нет ли? Отправился, пожалуй, скорее из любопытства: посмотреть, как он живет и каким объявится там, поскольку в домашней обстановке понять человека проще, нежели в иной.

Квартировал Ульяпов по Большому Казачьему переулку, возле Гороховой, выбор этот показался Шелгунову странным и опасным — на Гороховой размещалось охранное отделение. С какой стати Ульянов поселился тут? С огнем играет... Или у него такое озорство в натуре? Василию было невдомек, что перебрался Владимир Ильич сюда экономии ради: прежде, в Лештуковом, платил за комнату пятнадцать рублей, здесь сговорились на червонце в месяц.

Вот и дом 7/4. Вход, пояснил тогда у Красина Ульяпов, со двора. Прямо из подворотни в третий этаж вела узкая грязноватая лестница, изломанная крутыми поворотами. Дернул ручку старинного звонка. Из-за дверей спросили, кого падо, отворила толстуха, видно, хозяйка, назвалась, хотя о том Василий не спрашивал, Шарлоттою Бодэ, провела в конец коридора, постучала в угловую комнату.

Ульянов, должно быть, недавно вернулся откуда-то, был одет не по-домашнему. Обрадовался вполне искренне: «А, Василий Андреевич, молодец, батенька, что заглянули, присаживайтесь, а я с вашего позволения мигом переоблачусь, покпну вас на минутку».

Пока его не было, Шелгунов огляделся. Комнатка обиходная, как у знакомых ему студентов. Обои крупными розанчиками. В углу круглая печка, обитая железом. Рядом — комод с кружевной накидкой. Похожая на солдатскую, покрытая байковым одеялом кровать. У окна — стол под белой скатертью, тщательно отутюженной. Электрического света нет, лампа керосиновая. Книги — не много — на тонкой этажерке. Диван в полотняном чехле. Гнутые венские стулья. Таз для умывания и кувшин. Стоячая вешалка.

Хозяин вернулся без галстука, в темной рубаше из бумазеп, а белую сорочку и пиджак на распалочке повесил на гвоздь рядом с пальто и шляпой. «Ну-с, будет самовар, я ведь волжский водохлеб, а куда моя фрау расстареется, посмотрим, извольте, прелюбопытную книжницу...»

На обложке Шелгунов разобрал единственное слово, латинский шрифт знал, приходилось переплетать иностранные книги. Кажется, написано по-пемецки: *Schönlanck*. Смущаясь, объявил Ульянову, что, понятное дело, иными языками, кроме русского... И подумал: сейчас скажет ехидно, мол, иного, батенька, и не ожидал от вас. Однако Ульянов стушевался, кажется, еще более того. «Простите великодушно, — сказал он, — мою бестактность. Почитаем вместе, прелюбопытная, доложу вам, книжница». Он повторялся, и Шелгунов, дивясь его смятению, не понимал, что Ульянов тоже стесняется, как и он сам, что и Ульянов трудно сходится с людьми, что не избавился еще от юношеской застенчивости, нередко прикрываемой нарочитой резкостью, — Ульянову не минуло еще и двадцати четырех лет... «Бруно Шёнланк, — торопливо пояснил Владимир Ильич, — это немецкий социал-демократ. Вдумчивый журналист и в экономических проблемах разбирается. А название книги — «Промышленные синдикаты и тресты». Приступим, благословясь».

И — диво дивное! — начал читать... по-русски! Если бы Василий сидел, допустим, за ширмой, ни за что не угадал бы, что книга немецкая, что Ульянов прямо так, с ходу, переводит на родной язык без малой запинки... Читал часа три, не меньше, и в одном месте сказал: «Василий Андреевич, а вот это я рекомендовал бы записать, извольте, вот карандаш и бумага». И продиктовал, выделяя каждое слово: «Картели превращают паемных рабочих в игрушку объединенного капитала... Горе тому, кто теперь обнаружил бы строптивость, к кому бы он ни обратился за работой, повсюду он встретит запертые двери. Рабочий низводится на степень крепостного; он должен все терпеть и всему повиноваться; «свобода договора» становится насмешкой...»

Василий записывал и думал: слова-то правильные, только зачем записывать и ради чего Ульянов третий час мне читает вслух? Вот закончит чтение, примется выпрашивать, что к чему да что почему... Герман тоже таким вот манером поступал...

Выспрашивать о прочитанном и экзаменовать Ульянов не стал, спросил только, все ли понятно, Шелгунов понял далеко не все, но из самолюбия и пастороженности промолчал, Владимир же Ильич перевел разговор на другое — на рабочее житье-бытье. Это было проще, Василий поведал про свой Балтийский завод, про пестрых и посадских, про кружок. Прихвастнул малость: так изобразил, будто у рабочих существует центральная группа по руководству движением, регулярные собрания проводят, имеется рабочая касса, словом, все благополучно... То был вымысел: на самом-то деле группа самое себя представляла, никакой работы в массах не вела, шарахалась из крайности в крайность, не ставила практических целей, в теории слабо подкована... Но Шелгунов лицом в грязь ударить не хотел. И, кроме того, он таил обиду на студентов — те собирались отдельно, считали вроде бы,

что рабочие до понимания серьезных проблем не доросли... И, продолжая выхваляться придуманными больше, пожелали реальными успехами своей группы, Шелгунов бросил Ульянову козырную, как ему казалось, карту: «Мы,— сказал он,— и впредь намерены действовать самостоятельно, без участия студентов, потому как наши заботы им вроде и непонятны даже».

Запальчивую эту речь Ульянов слушал внимательно, что-то помечал на бумаге, ни разу не перебил, только вскидывал острые глаза, и Василий почувствовал: видит насквозь, понимает, что Шелгунов, попросту сказать, прикидывает, выдает желаемое за сущее... Василию невдомек было, что на тех собраниях студентов Ульянов как раз и требовал перейти от переуглубленных занятий с небольшой кучкой избранных рабочих — к воздействию на более широкие слои пролетариата, настаивал на переходе от пропаганды к агитации, на том, чтобы агитацию тесно связать с условиями труда на конкретных предприятиях. Ничего этого Шелгунов не знал.

«А вы, батенька, оч-чень смелый человек»,— сказал Ульянов, и Василий готов был принять за нежданную похвалу, если бы не это слегка подчеркнутое словцо — *очень*. «Превесьма и премного смелый»,— повторил Ульянов и улыбнулся, однако не тою хитровой усмешкой, что примечалась в нем, а вполне дружественной, отчасти не соответственной иронической интонации.— Значит, вы — за автономию рабочих кружков... Дай бог нашему телятцу да волка съест, похоже, так говорят в Малороссии? Нет, Василий Андреевич, нет, дражайший мой, ничего из подобной затеи не получится, уверяю вас. Прошу не обижаться, но само по себе рабочее движение отнюдь не способно выработать подлинно революционное, истинно марксистское самосознание, оно должно быть привнесено извне. Слепое преклонение перед блузой, как таковой, перед массой, как таковой, вредно. Проле-

тарский класс в России еще, извините, некультурен, дик, ему надобно учиться, и много учиться. И, разумеется, надо начинать внедрение идей социализма с рабочих-передовиков, с тех, кто способен идеи усвоить вполне сознательно, а затем, обладая возможностью приобрести полное доверие рабочих масс, целиком посвятить себя делу просвещения и организации пролетариата».

Он сказал это ровно, четко, и Василий понял: мысли, слова не раз обдуманы, выношены, сформулированы. И, настроенный спорить, настроенный получить отповедь и продолжать настаивать на своем, тоже, как ему казалось, страдальном и многожды обдуманном, Шелгупов затих.

«Вот когда,— говорил Ульянов, постукивая карандашом по столу, как бы выделяя главное в своей речи,— вот когда у нас будут отряды специально подготовленных, прошедших школу революционной борьбы рабочих, безаветно преданных делу,— с такими отрядами не управится ни одна полиция в мире. Завоевание масс — вот что необходимо! А еще надобно помнить, что привнести социал-демократическое сознание в рабочую среду может лишь интеллигенция, да-с, именно интеллигенция, Василий Андреевич, интеллигенция, революционно настроенная, социал-демократическая по духу, притом совершенно не обязательно трудовая, разночинная... Кстати, отец Карла Маркса был адвокатом, и весьма преуспевающим, отец Фридриха Энгельса — фабрикант. Казалось бы, какой резон им, Марксу и Энгельсу, выступать против своих, против самих себя, если рассуждать с точки зрения житейской? А наши отечественные революционеры? Декабристы? Народники? Вот, позвольте, минуточку...»

Он вытащил из-под стопки толстых книг переплетенную тетрадь, открыл, казалось, наугад. «Вот, послушайте, Василий Андреевич, что писал после восстания декабристов Федор Васильевич Ростопчин, граф, генерал, москов-



ский главнокомандующий в Отечественную войну: «У нас все делается наизнанку... В 1789 году французская чернь хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегии,— тут смысла нет». — Ульянов засмеялся. — А и в самом деле, с м ы с л а н е т. Так-то вот, Василий Андреевич. А ну-ка, давайте прикинем...»

И посыпал именами! Александр Радищев — крупный чиновник; декабристы — князья, полковники, ротмистры, все из дворян; Чернышевский родился в семье протоиерея; Герцен — побочный сын богатейшего помещика; народники и народолюбцы — бери любого наугад — почти все из состоятельных фамилий... Ульянов перечислял имена, в большинстве Шелгунову знакомые, но только Василию в голову не приходило прежде составить такой перечень, окинуть разом не отдельных революционеров, а всех вкуче...

«Да, наверное, вы правильно говорите,— сказал Шелгунов,— мне и в голову, признаться, не приходило. Но и еще скажу,— прибавил он самолюбиво,— наши студенты сами виноваты, меж собой спорят, каждый нас тянет в свою сторону, иной раз и не разберешься. Послушаешь одних — они вроде верно говорят, послушаешь других — и те не ошибаются». — «Вот-вот,— живо подхватил Ульянов,— потому я и не устаю твердить, что первейшая обязанность социал-демократической интеллигенции есть выработка из лучших рабочих подлинных вождей движения. Ведь наверняка среди ваших товарищей есть люди сознательные, овладевшие начатками революционной теории, такие, как вы, Василий Андреевич?»

Это польстило: такие, как вы, и Шелгунов принялся рассказывать о Косте Норинском, Андрее Фишере, Иване Кейзере, опять слегка приукрашивая, приумалчивая об ошибках и колебаниях. Ульянов просил при слу-

чае познакомить, сказал, что готов заниматься с рабочим кружком: «Там, где вы сочтете необходимым, договорились, батенька? Ну, а теперь... соловья баснями не кормят, чаевничаем да чаевничаем, пора бы и перекусить основательней... Отведаем эстляндской кухни, хозяйка моя, фрау Шарлотта, отменная мастерица, сейчас убедитесь».

И в самом деле, кровяная колбаса и вареная картошка с непонятною подливой были куда как хороши. За едою Владимир Ильич похвалил не только хозяйку, но и квартиру: удобное расположение, и места, можно сказать, знаменитые — на Гороховой, угол Большой Морской, живал Пушкин у сестры, и нянюшка его, Арина Родионовна, тут скончалась. И Публичная библиотека — рукою подать. И — чем худо? — Егоровские бани рядышком, прославленные в Питере...

«Зато и охранка по соседству, — наконец напел возможность предостеречь Шелгунов, — не опасаетесь, Владимир Ильич?» — «А, волков бояться... — Ульянов отмахнулся. — Да мы пока и не действуем, лишь готовимся. А еще римские юристы установили правило, весьма краткое и выразительное: «*Cogitationis nemo patitur*». Приблизительно перевести: «Мысли не наказуемы». Впрочем, у нас, в России, правила другие...»

Уходил Шелгунов совсем в ином настроении — Ульянов ему начинал всерьез нравиться.

## 2

Прощаясь, Владимир Ильич просил Василия о знакомстве с наиболее надежными и грамотными товарищами, однако прибавил, что спешить особо не следует, поскольку в ближайшие недели намерен он завершить одну, как выразился, брошюренцию. «Желательно, чтобы товарищи были с разных заводов и фабрик, — говорил

Ульянов, — придется вам, батенька, поколесить по городу, извините уж. Сейчас февраль, вот примерно месяца через два соберемся, годится такой срок? Отлично! Только прошу: конспирация, конспирация, еще и еще конспирация».

Но встретиться им довелось значительно раньше.

Похвастаться-то Василий перед Ульяновым похвастался, но рабочие кружки на самом деле оставались малочисленными, слабыми, разрозненными, и в них стали все чаще появляться представители «Группы народолюбцев», созданной еще в 1891 году (сейчас шел год девяносто четвертый). Сперва, известно было, «Группа» выпускала воззвания, издала два «Летучих листка», но теперь, обгоняя в чем-то социал-демократов, перешла к прямой агитации. Шелгунов, Костя Норинский, Андрей Фишер опять растерялись, тем более что Ваня Кейзер открыто народолюбцев поддержал. Снова сказка про лебедя, щуку и рака, опять рабочих потянули в противоположные стороны. «Глядите, что получается, — говорил Василий друзьям, — наши начинающие товарищи попросту выходят из кружков: не поймешь, мол, этих интеллигентов, они и сами, поди, не разбираются, чего им надо. А те из наших, кто более определенные, хоть занятий не бросают, но становятся в тупик от интеллигентских разногласий, пытаются уговорить студентов по крайней мере не спорить между собой, однако уговоры эти пропадают втуне».

Втроем они судили-рядили, к выводу не пришли. Герман Красин на шелгуновские сомнения ответил как-то уклончиво. Тогда Василий решил отправиться к Ульянову, испытывая неловкость — не успел выполнить его просьбы насчет знакомств с товарищами.

Компата Владимира Ильича на этот раз выглядела иначе: стол накрыт не скатертью, а клеенкой, завален книгами, раскрытыми, снабженными закладками. Книги

лежали на кровати, стульях, даже на полу. Шелгунов увидел стопку листов, исписанных беглым, летучим почерком Ульянова.

Владимир Ильич выглядел усталым, почти хмурым, изображать преувеличенную приветливость не стал. Впоследствии Шелгунов понял, что вообще не в натуре Ульянова и з о б р а ж а т ь что-то... Отказавшись от непременно чаю, Василий выложил свои сомнения. Услышав о народовольцах, Ульянов оживился, погладил узкой ладонью исписанные листы, кажется, хотел взять один, однако передумал, прошелся по комнате, запрокинул голову, сунул руки под мышки. «Гм-гм», — не то произнес, не то прокашлялся он и заговорил стремительно, бегло, похоже на свой летучий почерк. «Видите ли, — говорил он, — видите ли, Василий Андреевич, старые народники вполне искренне верили в возможность крестьянской социалистической революции, эта вера воодушевляла их, поднимала на героическую борьбу, и мы глубоко ценим и уважаем громадные заслуги этих лучших людей своего времени, чтим их память. Но их вера исчерпала себя, сменилась неверием, и у нынешних друзей народа нет и следа прежних намерений и целей. Они вовсе не желают коренного изменения современных порядков, они по-прежнему вызывают к террору, повторяют зады... Нет, нет, Василий Андреевич, народничество исторически себя изжило, и мы обязаны открыто и решительно выступать против политических благоглупостей, пошлостей, оппортунизма, вот в чем гвоздь вопроса, вот в чем архиважнейшая задача...»

«Вот ч е ш е т, — простодушно думал Василий, — как по-написанному, и все для меня одного, прямо-таки досада, что другие не слышат...» «Владимир Ильич, — сказал он, улучив момент, — вот если бы пришли к нам да выступили против народников, очень у вас получается убедительно и просто, мы-то не сумеем так». — «Я непре-

менно, всепременно выступлю, и не раз, но только мне, гм-гм, надобно сперва завершить одно, знаете, дельце, превесьма, простите, мне кажущееся и своевременным и важным. — Он скорее всего без намека, лишь следуя мыслям, поглядел на исписанные листы, и Василий понял, что пора уходить, время отнимает у человека. — Порекомендовал бы, Василий Андреевич, не отмахиваться от народовольцев и, если вы правильно меня поняли, то в таком вот духе и вступить бы с ними в открытую дискуссию, только для начала дискуссию узкую, в качестве пробного шара...»

Совета послушались, представительство устроили равноправное: четверо из рабочих — Шелгунов (в его комнате и собралось), Норинский, Фишер, Кейзер — и столько же интеллигентов, из своих — Василий Старков и Герман Красин, от народовольцев — некий Василий Михайлович (впоследствии узнали — Сущинский) и другой, назвался Бунаковым (Норинский шепнул, что подлинная фамилия — Федулов).

Он-то, Бунаков, и открыл словопрения, битых два часа говорил — заслушаешься! Излагал историю революционной борьбы в России, больше, конечно, упирал на подвиги народовольцев и предшественников их, начиная с Каракозова, рассказывал о Млодецком, Желябове, Перовской, об Ульянове, — для Василия это имя сейчас звучало по-особому... Хорошо говорил, красиво, ярко... Подчеркивал, что основа революционного движения — народовольцы, лишь их деятельность приводит к практическим результатам, нужно бросить книжничество, начетничество, пора переходить к живому делу. И даже приводил (откуда ему известно? — удивлялся Шелгунов) сведения о том, что и власти полагают народовольцев наиболее опасными врагами, поскольку они ставят на карту свои жизни и несут гибель, а социал-демократы занимаются лишь мирной пропагандой. И будто бы вице-

директор департамента полиции Зволянский сказал о социал-демократах: маленькая кучка, да когда-то что из нее будет, разве что через полсотни лет...

Словом, оратор оказался хоть куда, после него речи Старкова и особенно Красина выглядели много бледней.

Интеллигенты ушли, поговорив, оставили слушателей в недоумении: опять получается, что каждый про свое... А тут вдобавок прорвало молчаливого Ваню Кейзера: «Народовольцы-то правильно говорят, чего книжки почитать да ждать, покуда весь народ грамотным станет и политику поймет, надо рвануть бомбу, Зимний — на воздух вместе с царем и царятами, и делу конец». Шелгунов, Норинский и Фишер кидались чуть не с кулаками, но Кейзер знай твердил свое.

Пойти снова к Ульянову теперь Василий не отважился: ведь не сумел по-настоящему воспользоваться его советом, да и работает человек. Пишет...

### 3

После долгих раздумий Шелгунов предложил устроить новое собрание, теперь пошире. Назначили на 9 апреля в квартире Фишера. От народовольцев помимо Сущинского пришел уже знакомый рабочим Михаил Степанович Александров-Ольминский, более известный под кличку Петра Петровича, от марксистской группы технологов опять Василий Васильевич Старков, рабочих — свыше десяти: прежняя четверка друзей и другие брусневцы. Появился незнакомец, отрекомендовался Николаем Николаевичем Михайловым. Его и еще одного новичка, из рабочих, Василия Кузьмича Кузюткина, привел Норинский.

Пока не начали, Шелгунов — поскольку был инициатором собрания и чувствовал себя ответственным за все — отозвал Константина в сторонку, поинтересовался повесть-

кими. Норинский отвечал, что Михайлова рекомендовал старый товарищ, Василий Платопов, тому верить можно, и с Михайловым сам Костя предварительно выдался трижды, производит благоприятное впечатление, чувствуется, что заинтересован делом вполне искренне, по характеру спокойный, умеет убеждать в споре, не давит своим превосходством. И биография подходящая — участвовал в студенческих волнениях, чудом избежал ареста... Насчет Кузюткина говорил Норинский с меньшим воодушевлением, дескать, грубоват, настырен, однако предложил свою квартиру для занятий кружка, значит, на риск идет немалый, и квартира нам пужна, и свой брат-рабочий, отталкивать не годится... «Ладно, — сказал Шелгунов, — тебе видней, коли знакомые».

Собрание оказалось шумнее, чем первое. Олимпийский и Сущинский гнули свое, их поддержал новичок Кузюткин, говорил он, как показалось Василию, с долей рисовки, ударился в крайности пуще самих народовольцев, доказывал, что единственный путь для создания настоящей г а р н и з а ц и и — так он произнесил слово о р г а н и з а ц и я — это немедленно бить п о л и ц е й с к и х. Почему именно полицейских, это уж никак не было понятно. Но Кузюткин лез на рожон, остановить не могли. Не понравилась Шелгунову и его навязчивость, со всеми непременно желал познакомиться, выспрашивал имя-отчество, где работает...

Народовольцев и нового их сторонника поддержал опять Кейзер, но теперь Шелгунов и его друзья оказались в большинстве. Василий внес резолюцию, и ее приняли: народовольцы могут приходить только в те кружки, в какие позовут, и говорить на темы, предложенные рабочими, и действовать под контролем м а р к с и с т о в...

Итак, народовольцев, по выражению Шелгунова, взнуздали. Почувствовали себя победителями. Особенно Василий: на собрании он задавал тон.

Радоваться, однако, пришлось недолго: через несколько дней начались аресты. Первыми схватили членов «Группы народовольцев», а вскоре пришла очередь и социал-демократов, сперва Фишера, Норинского, Кейзера, после двоих еще. Из всех, кто припимал участие в апрельском собрании, остались на свободе четверо: Николай Михайлов, Василий Кузюткин, Иван Яковлев и Шелгунов.

Шелгунов остался на свободе... И это привело его в замешательство и уныние. «Как же так,— рассуждал он,— а что, если меня и Яковлева оставили нарочно, чтобы вызвать подозрение товарищей, чтобы выглядели провокаторами? На Кузюткина вряд ли наши подумают, он впервые приходил в кружок, никого еще не знает, и Михайлов тоже. Значит, могут наши подумать на меня, ведь я занимал в кружке видное место, уж я-то знал всех...» Василий маялся, места себе найти не мог.

«В России все подкуплены, кроме меня одного, и то только потому, что я в этом не нуждаюсь».— Александр II, император.

«Вся сила нашего дела заключается в агентуре».— Николай Бердяев, начальник Московского охранного отделения.

«Преследуйте нас — за вами сила, господа, но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи — увы! — на штыки не улавливаются!» — Софья Бардица, народница семидесятых годов.

«Если не на штыки, то на рубли уловятся!» — С. Зубатов.

«Полицейские агенты... подбирают подходящих рабочих, распределяют между ними деньги, науськивают их



на студентов и на литераторов... Среди двух-трех сотен тысяч необразованных, придавленных голодом рабочих нетрудно найти несколько тысяч, которые поддадутся на эту удочку...

Дело дошло до того, что в некоторых местах рабочие в силу недостатка у нас выдержки и конспиративности проникаются недоверием к интеллигенции и сторонятся от нее: интеллигенты, говорят они, слишком необдуманно приводят к провалам!» — Владимир Ильич Ленин.

## 5

В Московскую часть, на Коломенскую улицу, где квартировали Глеб Кржижановский и Василий Старков, недавний «технолог», ныне инженер Александровского завода, Шелгунов поехал и взвищенный, и растерянный, и — от растерянности — настроенный воинственно. Глеба не оказалось дома, и, едва Старков притворил дверь, Шелгунов заговорил безудержно и бестолково, то ли оправдываясь, то ли нападая, сам толком не понимал. На сбивчивые слова Старков, казалось, не обратил внимания, поставил мельхиоровый кофейник, налил в сахарсточки рому, выждал, покуда тетка выговорится, затем лишь начал сам.

Оказалось, что кроме тех, о ком знал Шелгунов, арестованы еще несколько народовольцев и улик обнаружено предостаточно: печатные издания, рукописи, гектограф, пишущую машину — ее наличие признали крамольным. «Разногласия разногласиями, — говорил Старков, — а все-таки товарищи, революционеры». Он рассказывал о недавних дискуссиях с Потресовым, Классоном и Струве, главную роль с нашей стороны играл Ульянов, а основным противником выступил Петр Бернгардович Струве, образованный и весьма известный марксист. Расхождения касались преимущественно методов. «Ульянов и

все мы,— говорил Старков,— полагаем, что сейчас на первый план должна выдвинуться революционная практическая деятельность. Струве же и единомышленники полагают, будто при нынешних условиях революционная работа вредна, пока общественное мнение обработано не будет посредством легальной литературы. Они, легальные, Ульянова поносили всячески, по видно было, что Струве поражен его зрелостью, трезвостью мысли, глубиной и всесторонностью знаний. Слышал, тезка, стишок такой: «Юные марксисты, задирая нос, заявили гордо, что решен вопрос...» Так вот, Ульянов не задирает нос, но и впрямь, видно, вопросы главные для него ясны и путь ясен, а логика, логика у него какая».

Слушал Шелгунов эти речи, запоминал, однако у него свербило свое, он свое и стал гнуть.

«Это, Василий, все интересно и важно, понимаю, а только я вот о чем,— говорил Шелгунов,— как ты объяснишь, почему из участников собрания у Фишера не тронули меня с Яковлевым и двоих повичков? Если уж фараоны разнюхали про кружок, про народовольцев, так должны поголовно всех брать, а то получается — либо кто-то из арестованных провокатор, либо кто-то из нас, кого на свободе оставили. Я до того дошел, что сам себе не верю, потому как выходит — именно мне и не должны верить, я кружком фактически руководил, а меня и не забрали, значит, я и предал». — «Эка понесло тебя, Вася», — Старков засмеялся. «Понесло не понесло, — возражал Шелгунов, — а мне под таким подозрением жить невыносимо, хоть с Николаевского моста башкой в Неву». — «Тогда уж лучше с Дворцового, — подначил Старков, — там повыше, и место людное, может, сам государь увидит, как ты сиганул... Брось-ка мерехлюндии. Никто тебя не подозревает. Подозрительность — штука хреновская, с ней можно черт-те до чего дойти. Не проще ли предположить, что голубые не задаром хлеб едят, у

них и порядок, и дисциплинка, и денежки платят, в том числе и поштучно. Ты, Василий, и па товарищей не греши, и себя не терзай. Перехваливать не стану, однако скажу, что после арестов на тебя возлагаем падежды многие». — «На безрыбье и рак — рыба, так попить?» — взорвался Шелгунов. «Сбесился ты, — ответил Старков. — Не валяй дурочку. Падо за Невской возрождать кружки, а не предаваться слюнтяйству». — «Плевал я, — заорал Шелгунов. — Плевал па всякие кружки, па всякие Невские заставы, хватит с меня, помотался, мне двадцать семь лет, может, я жепиться хочу, может, мне в помощники мастера предлагают, может, я устал, может, у меня глаза болят, сыт по горло, ищите другого дурака».

И хлопнул дверью.

### *Глава пятая*

«Довольно, однако! Много еще осталось подобных же инсинуаций у г. Михайловского, но я не знаю работы более утомительной, более неблагодарной, более черной, чем возня в этой грязи, собирающие разбросанных там и сям намеков, сопоставление их, поиски хоть одного какого-нибудь серьезного возражения».

Он отложил перо, прихлебнул остывшего чаю, прошелся, поскрипывали половицы. Занималось утро, слышно было, как со двора доносится запах свежих булок. Лампа начинала коптить, вот-вот коптится керосин, спать сегодня и не ложился. Вот и все... Работа закончена. Только не хватает последней, заключительной, у д а р п о й фразы, которая припечатала бы, пригвоздила...

Пробежал снова глазами последний листок: «Довольно, однако! Много еще осталось... инсинуаций... поиски... возражения...» Вернулся к началу абзаца. Походил еще по комнате. Черт, половицы скрипят. И хорошо бы самоварчик, но хозяева спят... Итак, недостает заключитель-

ной фразы, а без нее работа какая-то незавершенная. Он вспомнил римских ораторов — те умели закруглять речи! Строить их как бы концентрически, то и дело возвращаясь к основному тезису, повторяя, чтобы усилить его... Постой-постой... Возвращаясь, чтобы усилить... «Довольно, однако!.. возня в этой грязи...» Ну, сколько можно перечитывать этот абзац, хватит, остановись, и так главное сказано, хватит перечитывать, довольно... «Поиски хоть одного... возражения...»

Он счастливо засмеялся и, не присаживаясь, дописал единственное слово: «Довольно!» Подумал и прибавил в правом уголке: «Апрель 1894».

Лег на застеленную кровать поверх одеяла, сбросив туфли, сцепил пальцы под затылком, смотрел на стопки журналов и книг, с трудом выпрошенных из читальни домой. Проклятое безденежье, окайнная необходимость экономить каждый грош... Как славно, как надо иметь собственную библиотеку, пускай малепькую, но составленную из самых-самых, из твоих книг, во всякий момент отворить дверцу шкапа, вынуть любимый том, забраться в кресло или же прилечь, накрыться пледом, листать наугад. Или погрузиться в исследование, делать карандашные пометки, подчеркивания, всовывать закладки... Превесма нужно человеку иметь в доме книги... А тут изволь штудировать в читальне или выцыганивать на вынос, да и то под залог, а деньги на залог не всегда есть...

Со двора нестерпимо пахло сайками, он хотел есть и очень хотел чаю. Надо встать и пойти в кухмистерскую знаменитой филантропички фон Дервиз, где студентов и рабочих кормят дешево и отменно, где чисто и приветливо, где за тот же пятак помимо кофе с ванильными сухариками или марципановой булочкой можно спросить для прочтения выпуск газеты... Он сменил рубашку, последнюю, свежего белья не оставалось, опять стирка,

новый расход, а деньги рассчитаны до копейки. Волкештейн, кажется, махнул на помощника рукой, заработков нет и не предвидится. Гм...

Ах, если бы оттиснуть только что завершенную брошюренцию о народниках в типографии... Естественно, гонорария не предвидится, но о том ли речь... Он усмехнулся. Ишь, чего захотел, господин Ульянов, так тебе и сбегались издатели со всех ног... А было бы славно! Тогда не ограниченный круг лиц, а читатели мыслящей России познакомились бы с твоим трудом, и не в популярности личной дело, а в необходимости пропаганды идей. Можно было бы организовать открытые диспуты. И наконец, что лукавить перед собою: кому не приятно увидеть собственное творенье напечатанным? Тем более что, по сути, это первая его работа, предназначенная для распространения. Предыдущие были рефератами, прочитанными в узкой аудитории, в Самаре и здесь, на дискуссии с Германом Красным. Правда, самарский реферат «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» имел наивность предложить московскому либеральному журналу «Русская Мысль», но статья была признана «неподходящей к направлению» редакции... Не беда, однако. Собранный там фактологический материал он еще использует: явственно брезжит основательный том о развитии капитализма в России, книгу напишет всенепреренно...

Поллистал рукопись. Бумагу приобрел отличную, плотную, голубоватого слегка оттенка, на такой приятно писать. Перебеливал по ходу работы, лист за листом. Сочинялось легко — с веселой злостью, выражений для оценок противника не выбирал, писал подчас с тою скоростью, с какой рука попевала выводить...

Остановился на заглавии. Длинновато, не беда, пускай бы и длинновато, зато сразу как тезис, выражает суть. Но выглядит несколько академически, бесстрастно,

недостает полемической задорности: «Кто такие «друзья народа»... Это словно бы для учебного пособия, для словаря энциклопедического. Бесстрастно, да, именно так, бесстрастно. Что придумать, чтобы, не меняя смысла, придать иной оттенок?

И его, по выражению Маянши, полоснуло. То бишь осенило. Вместо кто падо что! Вот как: «Что такое «друзья народа»...» Чувствуете, господа? Как это Радченко подшучивает? Ага: «Шо воно такэ?» Вот-вот, именно, господа: шо воно такэ? Гм-гм, недурственно, право, а?

В прихожей он преучтиво расклапался с *meine liebe Frau Scharlotta* и даже приложился к ручке, она пахла квашеной капустой. Дорогая фрау весьма удивилась, но тоже с учтивостью коснулась материнскими губами высокого чела постояльца.

С Гороховой свернул на Фоптанку. Весна выпала ранняя, по реке уже волочились барки, выгребали на лодках охотники до преждевременных, экстравагантных прогулок. Дуло свежо, и ярко сияли купол Исаакия, шпиль крепости, Адмиралтейская игла. Было хорошо, весело, молодо, счастливо.

И в этом ощущении веселья, счастья, молодости он завернул в кондитерскую. Не скупясь,— а чего скаречничать, когда в кошельке три с полтиною? — спросил пирожных, коробку перевязали шелковой лентой и еще шпагатом, продели в шпагат палочку для удобства, так делали только в петербургских магазинах. Коленкоровую папку с рукописью прижимал плотно локтем, не положил на прилавок, чтобы не оставить ненароком. В кондитерской уж вовсе хотелось есть, но теперь недалеко до Старо-Невского, а там премилейшая Елизавета Васильевна, разумеется, угостит чем-то своим, особенным, она любит выпекать с утра, потчевать Наденьку... Надюша, Наденька, Надежда Константиновна... Познакомились у Классона в масленицу, на марксистских блинах, а после

вечеринки вдвоем катались с горок, покупали дешевые сладости... Сейчас его тянет именно к ней, к Наденьке, вслух еще так не называл...

Попьют чайку вместе с Елизаветою Васильевпой, а после удалятся с Наденькой в ее комнату, ослепительно белую по-девически, приладится он в отцовском кресле и будет глядеть, как она читает, морща курносый забавный носишко, улыбаясь припухлыми губами, он будет стараться угадать, над чем она хмурится, чему радуется, и, хотя ему предложат газету или журнал, не проглянет ни строки, покуда Надя не завершит рукопись, пока не поговорят о первой его настоящей книге.

Подумалось о Михайловском, главном герое брошюры. Виделись в Самаре два года назад. Творился переполох, когда известили, что в приволжские дебри пожалует властитель дум, знаменитый мыслитель, как его титуловали печатно и устно, кумир либеральной молодежи, пожалуй к братьям Водовозовым, тоже публицистам и либералам, однако вовсе не впушительным. По всей Самаре прогрессисты и радикалы возликовали: вот всыплет горячих задравшим хвост здешним марксистам из кружка Скляренко, Алексея Павловича, и первый кнут Владимиру Ульянову, слишком тот молодой да ранний, уж ему-то несдобровать...

...У Николаевского вокзала — корзины ландышей, пушок — пятачок, он всегда стеснялся покупать, нести в руках, дарить цветы, водилась за ним такая странность, но пересилил себя, взял два изрядных букетика, ландыши были несмятые, свежие, пахли весной...

...Диспут начал, понятно, мэтр, Николай Константинович Михайловский, ему загода смотрели в рот, жаждали откровений, он и в самом деле речь произнес превосходную. Казалось, Ульянову предreshen позорнейший провал. Говорили после, что Владимир был бледен и выглядел похudevшим и постарелым за считанные минуты...

Однако повел себя, по суждению общему, хотя и ядовито, но весьма тонко. Водовозовы благодарили за корректность. Сам же Михайловский отозвался так: бесспорно, весьма способный молодой человек, сильный оппонент, ясность мысли, вооруженность фактами, цифрами, сила логики выдвигают его как очень опасного для народничества противника, простота же изложения, чеканная отчетливость формулировок свидетельствуют о том, что из господина Ульянова может выработаться очень крупный пропагандист и писатель, в общем, личность незаурядная, и нам, народникам, надо полагать, придется еще не раз с ним встретиться... Владимиру, понятно, такой отзыв польстил. А встретиться... Да, придется, и весьма скоро, в моей брошюре, достопочтеннейший Николай Константинович...

Ульянов легко засмеялся, спрятал цветы за спину и вошел во двор на углу Невского и Гопчарпой, в дом, куда он после марта, после блинов у Классона, частенько заглядывал.

Конечно, ему обрадовались, и было чаепитие с пирогами, Владимир Ильич шутил, рассказывал — в лицах — уличные сценки, а сам то и дело поглядывал в сторону посудной горки, где на выступе нижнего шкафчика приютилась заветная коленкоровая папка. Надежда Константиновна заметила эти беглые взгляды, первой поблагодарила маму, предложила гостю пройти к себе. И там, в ее комнатке, где стол загромождался кипами ученических тетрадей, Ульянов сделался иным, не тем, каким был еще минуты назад, за чаем: веселье светилось еще в его живых глазах, и лицо не потеряло недавней оживленности, однако и веселость, и возбужденность сделались теперь иными, не беспечными, а порожденными, догадалась Крупская, неизвестными ей, но несомненно важными причинами. Знакомство их длилось еще малый срок и не привело к сердечной близости, но женским умом



и женским чутьем Надежда Константиновна поняла, женским взором заметила, что необычный этот человек невероятно эмоционален, веселая шутливость сочетается в нем с постоянной внутренней сосредоточенностью, смена настроений всегда обоснованна, и лишь внезапная бледность выдает его волнение.

Он развязал тесемки, достал нетолстую пачку бумаг, протянул, сказал как бы виновато: «Почерк у меня, знаете, отнюдь не каллиграфический, надо бы почитать вам вслух, но это сильно замедлит, однако я старался писать разборчиво...» Поскромничал, подумала она, для начала полистав. Почерк был четкий, особенно там, где имена, выписки, названия, иностранные слова, ни единой пометки, хоть сейчас в типографию... Как бы угадав ее мысли, он сказал, не скрывая огорчения: «О печатании, увы, речи быть не может, никакая цензура не позволит... Но есть надежда раздобыть гектограф... А пока вам придется разбирать мои каракули, если к тому есть охота».

Усадив его в кресло, Надежда Константиновна дала старый, еще от покойного отца, журнал, устроилась за столом. Перелистывая печатные страницы, Ульянов поглядывал на нее. Близоруко принагнулась к рукописи, делала какие-то пометки на чистом листе, он ревниво стал следить — текст помнил почти наизусть. Время тянулось невыносимо — шутка сказать, сидеть перед первым читателем! Он вообще с детства не любил, когда в его присутствии читали что-то им написанное, будь то даже гимназическое сочинение... Но ведь принес по доброй воле, просил ознакомиться, ничего не оставалось, как исподволь наблюдать и делать вид, будто сам увлечен старым номером «Книжек «Недели».

Наконец она перевернула последний лист, прошлась по комнате легкой, летучей походкой, он следил молча, явно сдерживая себя. Сдерживалась и Надя, искала нужные слова, о с о б ы е, и не могла найти. То, что сказала,

представилось ей самой слишком блеклым и, пожалуй, по-учительски гладким, отчасти правоучительным, что ли: «Меня просто захватила ваша книга, Владимир Ильич, впервые здесь с такою необыкновенной ясностью поставлена цель борьбы, не сомневаюсь, что работу вашу будут читать широко. И влияние она окажет сильное, особенно на молодых». Сказав, она испугалась: не слишком ли банально и правоучительно?

«Да-да,— с живостью подхватил он, бледнея,— спасибо, что поняли главное: поставить цель. Именно это для меня было архиважным. И, разумеется, не для господина Михайловского и его присных сочинена работа, но прежде всего для тех, кто вступает в движение наше... Однако перед вами лишь первая часть, или, если угодно, первая глава, за нею последуют еще две, и, сосредоточив здесь огонь на Михайловском, в дальнейшем постараюсь раздать всем сестрам по серьгам...»

Таким Надежда Константиновна его видела впервые и таким запомнила: возбужденным, то бледнеющим от волнения, то улыбающимся застенчиво, и отчасти по-мальчишески горделивым, и в то же время уверенным, сильным, победительным. Он был очень хорош, этот волжанин, скуластое лицо его было прекрасным, Наденька залюбовалась. На громкий разговор и смех постучалась Елизавета Васильевна, и он взял Наденькину маму за руки, прогалоцировал с нею в тесной комнатухе.

## 1

В смятении духа, замкнувшись, взвалив на себя тяжесть провала, Шелгунов сделал, как выразился Михаил Сильвин, резкое телодвижение, а именно взял в Балтийском заводе расчет и надумал поступать в Обуховский.

Как бы ни был он собою же придуманными подозрениями обижен, как бы ни замыкался в себе, сколь бы ни страдал от гнетущего одиночества, полностью из дела выйти не хотел, а точнее, и не мог.

В неприкаянности, в тоске и смуте навестил своих, давно там не показывался. Правду говоря, к родным и не тянуло, каждый сам по себе.

Как на грех застал у своих Тимоху. Тот был, как всегда после забот служебных, под мухой, наел ряшку на фараоновых небезгрешных доходах. Красовался в полной форме, угощались с батей водочкой и серым, из лавки, студнем. Уговаривали и Василия, отказался наотрез. Тимоха попер на рожон: «Брезгаешь, т и л и г е н т, знаем вас, бунтовщиков, сицилистов, себе на уме, а ты, слышать, у них чуть не в закоперщиках...» — «Социалистом быть не зазорно,— обрезал Василий,— а вот фараоном...» — «А тебе какое дело!» — выверился тот. Весело потолковали... Отец, сильно поднабравшись, в родственную беседу не вступал, сестры жались по углам, братьев где-то черти носили.

«Нету, нету семьи у меня,— тоскливо думал Василий, возвращаясь в квартиру, на Канареечную, взял извозчика, начались белые ночи, погода стояла дивная, светло, хоть газеты читай.— Жениться пора, засиделся в женихах, да ведь нету на примете никого, и откуда быть, если только и знаю, что с места на место перехожу, на восьмом уже примериваюсь, ежели солдатчину тоже засчитать. А может, у революционера и нету права жеваться, заводить детей, обрекать их на страдания...»

На Васином острове зазывно, приманчиво свегились двери и окна кабаков, тянуло запахом сытной еды и сивухи. Зайти, что ли, назюзюкаться... Удержал себя. Хозяева квартиры спали, влез к себе через окошко, с огорода. Зажег семилинейную лампу, прикрутил фитиль так, что еле теплился огонек, свернул самокрутку из жуков-

ского табачку — баловался иногда. Лег, раздевшись до белья. Тоскливое одиночество им владело такое, что и впрямь хоть с моста...

«Хорошо, — думал он, — занимаемся в кружках. Учим и Маркса, и сподвижников его, просвещаемся... Но эти знания зачем, ради чего? Одолею я формулу, казалась невероятно сложной, а понял ее: Д — Т — Д — Т... Ну, а какая дальняя цель? Хорошо, пускай мы теперь усвоили разницу между народниками и марксистами. Но для чего?»

Лежал, курил, думал, и как ни диковинно, а в голову пришло впервые: ведь они борются за власть! Это что же получается, Васька, тоже станешь у вершин? Смех! Министром, что ли, заделаешься или губернятором? Да, господи, калачом не замапят, сам откажусь. А вот Ванеев? Старков? Герман Красин? Миша Сильвин? Отличные люди, образованные, честные, а все-таки для министров, пожалуй, слабоваты. Но если они тоже не потянут — для чего тогда все наши занятия, кружки, лекции, пропаганда? Впрочем, они про власть пока и не говорят впрямую, пока только народников осуждают, споры с ними ведут, а к чему эти споры — все-таки разобратся трудно...

На следующий день — было воскресенье — поехал к Сильвину. Тот жил на Садовой, 49, вместе с Анатолием Ванеевым. Среди всех кружковцев самый молодой, Миша Сильвин казался Шелгунову проще остальных, понятней. Ему-то Василий повторил то, что рассказывал недавно Старкову, поглядывая неуверенно: а что, если Миша тоже станет посмеиваться, говорить, мол, тогда ситай с моста на государевых глазах?

Но Михаил шутить не стал и не говорил всякие житейские проповеди, он выглядел серьезным, усталым, отвечать не спешил, что-то прикидывал, думал. Потом вынул книгу, ее Василий видел и прежде, помнится, по-

казывал Ульяпов. Знакомая обложка. Николай — — — он «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства». Михаил сказал, что хочет сделать кое-какие выписки, а потом книгу Василию даст, пока же познакомит с ее содержанием.

«Даниельсон, придумавший себе такой чудоватый псевдоним, — говорил Миша, — между прочим, перевел «Капитал» и считает себя марксистом. А на самом деле в своей книге утверждает, что развитие капитализма подрывает само существование России, русского народа, что в нашей стране либо вовсе нет внутреннего рынка для сбыта товаров, либо рынок этот постоянно сокращается, и потому, дескать, капиталистическая промышленность в империи — явление искусственное: нет рынка — неизбежен кризис. Каждая капиталистическая нация, пишет Даниельсон, старается обеспечить себе как можно более широкий рынок для сбыта своих товаров, по возможности внутреннего рынка всегда ограничены, и выход в том, чтобы сбывать товары за границей, приобретать и завоевывать внешние рынки. А для российских промышленников эта задача непосильна, поскольку не имеют должного технического развития, знаний. Развитию же внутреннего рынка мешает и обнищание трудовых масс. В общем, самозванный марксист Даниельсон вслед за народником Василием Воронцовым старается доказать, будто в России нет условий для развития капитализма, что марксова теория к нашей стране совсем неприменима и потому социал-демократия у нас не имеет под собою почвы».

Возможно, Михаил излагал сейчас то, о чем предстояло ему говорить в каком-то кружке, рассказывал понятно, интересно.

«Герман Красин, — продолжал он, — в своем реферате выступил против Даниельсона, утверждал, что капитализм у нас буквально врывается в гущу народной

жизни. Однако Герман, как и большинство из нас, знает крестьянское хозяйство лишь понаслышке, не имел п фактов, и цифр не имел, только голые слова. И если бы не Ульянов... Вот записи... Трудно записывать за ним, но я уловил, кажется, главное... Начал Ульянов с того, что Николай Даниельсон оторвал конец от начала, да и удивляется, что капитализм висит в воздухе. Надо быть реалистами, говорил Ульянов, исходить не из голых схем, а из обстоятельного изучения действительности. Он обрисовал картину эконопического развития государства и роста капиталистического производства. Доказывал, что рост этот происходит на почве разорения и расслоения крестьянства, на почве вытеснения натурального хозяйства. Ульянов подчеркивал: крестьянин стал беднее, он теперь не производит для себя одежду и утварь, а должен все покупать, а для того, чтобы купить, вынужден продавать единственное, что имеет,— свою рабочую силу. Он питается, одевается хуже, чем раньше, но многие предметы покупает и, значит, расширяет рынок. С другой стороны, крестьянин-предприниматель стал производить больше, продавать больше, покупать больше... О рынках, говорил Владимир Ильич, позаботится в этом случае буржуазия, а наша забота в том, чтобы вызвать к жизни массовое рабочее движение в России...»

В последних словах Василий услышал как бы упрек себе, и еще он услышал в словах Михаила живой голос Ульянова и стал вникать внимательнее.

«Наши рабочие, по словам Ульянова,— продолжал Сильвин,— рабочие, с которыми штудлируем труды Маркса, те же интеллигенты, что и мы. Поскольку таких передовых рабочих, как Василий Андреевич Шелгунов, например, пролетариат не знает,— массе мы чужды...» — «Постой,— перебил Василий,— он так прямо и помянул меня?» — «Так и помянул. И еще Ивана Бабушкина, знаешь такого? Нет? Думаю, скоро познакомишься...»

Теперь Шелгунов был не просто внимателен, а и взволнован до чрезвычайности. Даже не заметил, как Михаил подмигнул сам себе понимающе, продолжал: «Значит, говорил Ульянов, мы должны повести работу так, чтобы заинтересовать массу, подходить к ней с вопросами, которые более всего волнуют ее. Нам должна интересовать не только теория, нам надо усвоить метод Маркса, применить его к изучению русской действительности, к задачам рабочего движения в России... Понял, Вася?»

Как тут было не понять, вполне доходчиво. И главное, как бы прямо к нему адресовался Ульянов, жаль, не позвали на то собрание. Опять Василия кольнула привычная обида, но промолчал.

«Знаешь,— продолжал Сильвин,— у нас такое впечатление, что реферат Ульянова — это поворотный момент в жизни кружка, а то и всей нашей социал-демократической работы. И если у нас прежде в лидерах как бы состоял Герман, то ныне лидерство несомненно перешло к Ульянову. И перед каждым явственно встанут новые, совершенно для всех новые задачи».

А завершил Михаил вовсе неожиданно: «Просто великолепно, Вася, что собираешься на Обуховский переходить. Если прежде твоя обязанность была созвать кружок, пригласить лектора, то сейчас... — Он сделал паузу и почти торжественно сказал: — Центральный кружок возлагает на тебя обязанность руководить всей социал-демократической работой в одном из районов. Поскольку нацелился в обуховцы — значит, станешь руководителем за Невской заставой, понял?»

Чего ж тут было не понять? «Управлюсь ли,— подумал Шелгунов.— Да ну, не в министры же прочат. И не боги горшки обжигают, не так уж слаб и беспомощен Васька Шелгунов». «Ладно, сделаем»,— сказал он.

Тут Сильвин, малость щеголяя осведомленностью, при-

нялся п р о с в е щ а т ь насчет завода. Обуховский сталелитейный, говорил Михаил, поглядывая в тетрадку с выписками, — он многое туда заносил на всякий случай, знал Василий, — основан в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году горным инженером Павлом Матвеевичем Обуховым. За недостатком у инженера средств завод вскоре перешел в казну, в ведение морского министерства. Главная задача была выпускать высококачественную сталь, и тут достигли результатов поразительных: представь, Вася, даже полностью прекратили покупать металл у знаменитой фирмы Круппа в Германии. Теперь на Обуховском изготавливают артиллерийские орудия, судовые башенные установки, валы для паровых машин, броневые плиты, другое корабельное оборудование, снаряды, мины. Рабочих — свыше трех тысяч. Говорят, недавно утвержденный начальником завода генерал-майор Власьев, человек взглядов достаточно передовых, повысил жалование, ввел поштучную оплату, сократил рабочий день с одиннадцати с половиной до десяти часов.

«Рай земной, да и только, — сказал Шелгунов, засмеявшись. — Уговорил».

Ушел он гордый и озадаченный: район-то за Невской заставой столь велик, что и вообразить даже трудно.

Громадность эту он воочию увидел, пока трясся к Обуховскому на извозчике. Миновали центральную часть города, выбрались на Шлиссельбургский тракт, начинался он, как водится, заставой. Пожалуй, будочников и городских здесь торчало больше, чем в других частях Питера. Оно и понятно: рабочие слободы и поселки... Где-то на двенадцатой версте закончились редкие господские особняки, — извозчик сказал, что в прежние времена их было тут полным-полно, облюбовала себе места для усадеб всяческая знать, но ей пришлось потесниться, уступить земли заводчикам, фабрикантам, купцам. И теперь там и тут чернели промышленные корпуса, высились трубы, лепи-







лись рабочие поселения, похожие друг на друга бараки, хибарки, церквочки, питейные лавки, глиные заборы, убогое бельишко на веревках, узкие, в грязи улочки, тупики. Едва миновали Рожковские провиантские склады, как переменялась и Нева: из чистой, просторной, благовидной сделалась замарашкой, перяхой, замордованной трудягой, по ней влачили баржи, межеумки, тихвинки, унжаки — большие и малые суда. Остались позади Чугунный завод и село Смоленское, Фарфоровый, возле него река стала узкой и вовсе мутной — наверно, сливали остатки белой глины, — но чуть выше по течению она опять расширялась, и еще издали видны стали краснокирпичные громады корпусов Обуховского... Въехали в село Александровское.

Слесаря первой руки Шелгунова наняли без разговору, и жалованье положили пристойное, рубль сорок в день, на Балтийском получал гривенником меньше, а гривенник тоже деньги, три фунта ситного.

Поспрашивал осторожно у рабочих насчет своих знакомых, отыскался фрезеровщик Василий Яковлевич Яковлев, состояли когда-то в брусневской организации. Видом Яковлев — тезке своему под стать, сажень в плечах, волосы на голове не раздерешь гребешком. Позвал к себе квартировать — места хватит.

Дом № 23 по Ново-Александровской, недалеко от завода, деревянный, о два этажа, снаружи обшит досками, ничего, пригожий. Яковлев с недавних пор вдовствовал, с ним жили его матушка, Марфа Трофимовна, сестра Мария — обе ткачихи на мануфактуре Торптона — и одиннадцатилетняя дочка, названная в честь бабушки Марфушей, малолетка малолеткой, а уже три года — на Карточной...

Приняли не то что в дом, а в семью, как родного. Комнату отвели светлую и с обстановкой — кровать застенная, стол под белой скатеркой, тканый половик, два

стула, часы настенные, под потолком лампа-«молния» и еще одна — на столе. Шкапа одежного, правда, не оказалось, да какая там одежка? Повесил тужурку на гвоздик, пальто рядышком, бельишко в сундучке — живи не тужи. За чаем поговорили с женщинами, пошли перед сном прогуляться.

Во всем Петербурге и на его окраинах, в пригородах, не было, пожалуй, другого места, где по соседству вполне мирно, без всякой конкуренции уживалось бы столько предприятий: императорская Карточная фабрика, чугунолитейный завод Берда, Фарфоровый, шерстяная фабрика англичанина Торнтона, мануфактуры Паля и Макселя... Хозяева меж собой не грызлись, поскольку п р о ф и л ь у каждого заведения был свой, зато и на рабочих давили сообща, рассказывал Яковлев. «А у нас, на Обуховском, — продолжал он, — порядки оч-чень строгие, Морскому ведомству подвластны, почти все начальство в погонах, охрана — из балтийских матросов, и даже собственный полицейский участок имеется. Старики рассказывают: за три десятка лет, что завод существует, ни разу не бунтовались, да и не мудрено — только попробуй, мигом военной силой подавят».

Он говорил, а Василий думал: «Да, трудно здесь придется, по всему видно...»

## 2

К этим выпускам вскоре прилепилось прозвание ж е л т е н ь к и е т е т р а д к и. Первую Василию дал Старков, наказал отнестись бережно, пометок не делать и не затерять, прочитать сперва самому, а после — в кружке. Социал-демократический кружок за Невской сколотил Шелгунов в конце лета, кроме него там было шестеро, с Обуховского, с Карточной и от Берда, и все, как на смех, Василии. «Семь Василиев» — так их и прозвали. Покуда

обходились, как умели, своими силами, но, сказал Старков, к осени ближе закрепят постоянного лектора, и не исключено, что им будет автор этой брошюры. Имя автора называть не стал. «Конспирация не повредит,— объяснил Старков,— отпечатают последний, третий выпуск, и тогда уж обнародуем кто...»

То была тетрадка в четвертушку листа, обложка желтая, заглавие напечатано вроде бы типографически. Явно поставлен не к месту восклицательный знак и отсутствовали кавычки:

ЧТО ТАКОЕ ДРУЗЬЯ НАРОДА!  
И  
КАКЪ ОНИ ВОЮЮТЪ  
ПРОТИВЪ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТОВЪ.  
(ОТВѢТЪ НА СТАТЬИ РУССКАГО БОГАТСТВА  
ПРОТИВЪ МАРКСИСТОВЪ.)  
ІЮЛЬ 1894

Было в брошюре 82 страницы, отбиты на пишущей машинке, синим, а после оттиснуты на гектографе, на такие вещи у Василия наметан глаз. Листы нарезаны без сгиба и связаны тесемкой на прокол, работали вручную. Внешность не ахти. Но заглавие понравилось: сразу понятно, о чем речь. И приглянулось, что неведомый писатель в тексте обошелся без вводных слов, сразу же ухватил быка за рога:

«Русское Богатство» открыло поход против социал-демократов. Еще в № 10 за прошлый год один из глав-ре-ей этого журнала, г-н Н. Михайловский, объявил о пред-стоящей «полемике» против «наших так называемых марксистов или социал-демократов». Затем появились статьи...»

Удивило неожиданное непривычное сочетание слов — гла в а р ь журнала... Так про бандитов говорят, про зако-перщиков, про какого-нибудь Кудеяра, а Михайловский, это Василий знал,— профессор, и весьма знаменитый... Шелгунов прибавил в лампе фитиль, пасколько можно, чтобы не коптила. Глаза видели хуже и хуже, у станка и за чтением надевал очки, но и от них проку мало. В заводском околотке доктор велел обратиться к оку-листу, а сам, не церемонясь, объявил, что похоже на катаракту, помутнение хрусталика то есть, и, насколько смыслит он, потребуется операция, пока не поздно. Васи-лий отмахнулся — о своем здоровье сроду заботиться не умел, тем более что ничем не хворал никогда. Но стал надевать прописанные окулистом очки.

Он споткнулся в начале брошюры на длинной выписке из сочинения Михайловского про Маркса, не совсем разо-брался, для чего она приведена тут, а следом шло сти-хотворение — то ли по-немецки, то ли по-английски, от руки, без перевода... Но далее понятней:

«Социал-демократическое решение вопроса основыва-ется, как известно, на том взгляде, что русские экономи-ческие порядки представляются буржуазным обществом, из которого может быть только один выход, необходимо вытекающий из самой сущности буржуазного строя,— именно классовая борьба пролетариата против буржуа-зин».

Это было ясно, это в точку. Распутал Василий — не без труда — в числе прочего мысль о том, что народники вроде и боятся капитализма, проклинают его, а на самом

деле вся их, друзей народа, программа приведет к дальнейшему росту буржуазии. Еще автор говорил о том, что народники, по сути, из героев революционной борьбы превратились в ложных друзей народа, лишь понаслышке судят об истинном положении народных масс, а главное, и не желают вникнуть в действительность... Вспомнилось, как Сильвин рассказывал: примерно в том же упрекал Ульянов и Германа Красина... Может, это Владимир Ильич и написал книжку? Хорошо бы встретиться с ним, да как-то неловко, стеснительно, человек малознакомый... А многое в брошюре остается непонятным, и, видно, своей мозгой не дойти, надо помощи просить.

Как на грех, ни Сильвина, ни Ванеева, ни Старкова застать не мог, Красин вообще в последнее время держался в сторонке и, слышать, уехал из Питера. Шелгунов отправился в книжный магазин Александры Михайловны Калмыковой, по Литейному проспекту, знал, что к ней часто наведываются социал-демократы. И в самом деле, увидел Петра Бернгардовича Струве — приемный сын хозяйки, он и жил в ее квартире, здесь же. Шелгунов и прежде с ним встречался, обрадовался, как своему, сразу: «Петр Бернгардович, не согласились бы вы заниматься у нас? За Невской сколотили кружок». Струве — так после рассказывал Василий друзьям — скорчил физиономию какого-то божества, видно, и лестно было, и прикидывал в уме, не окажется ли с его стороны слишком большой щедростью. И ответил: «Видите ли, уважаемый Василий... э-э-э, да, простите, Андреевич, у меня сейчас более важные задачи, я решил посвятить себя более основательному труду...» Василий выслушал, поглядел на его лицо и тут же вспомнил Ульянова, как он читал одному ему книжку Шёнланка, три часа потратил, не пожалел времени... Хотелось ответить Струве чем-то резким, но Василий сдержался. «Но тогда, может, вы

мне по этой книжке поясните кое-что», — сказал он и протянул желтую тетрадку не без опаски.

«Знаю, знаю эту... работу, — процедил Струве, — не могу согласиться, по меньшей мере, с ее тоном, вот, извольте, приведу некоторые места, прилично ли в полемике прибегать к таким непарламентским, выразимся мягко, обозначениям... Вот, в адрес профессора Михайловского: «перевирает Маркса», «ломается над этими, им же самим сочиненными, претензиями», «имеет пахальство»... У Михайловского, видите ли, полно «пустых фраз», он «кувыркается», «тявкает», сочинения его — «болтовня», «сплошная ложь и выдумка», он, послушайте, Василий Андреевич, он «прохвост», он толкует о «невероятной ерунде»...»

Память у Струве обнаружилась отменная, он прямо-таки выхватывал из текста эти словечки. И говорил: «Но знаю в точности, кто автор, я подозреваю, что Ульянов, и если в самом деле он, то поведение его вдвойне непристойно: как-никак, а Николаю Константиновичу Михайловскому шестой десяток лет, он авторитетнейший писатель, а тут, простите, провинциальный помощник присяжного поверенного, юноша, по сути... — Струве словно забыл, что с Ульяновым одноклассник. — Нет, увольте, Василий Андреевич, я такой полемики не приемлю и толкованием этого труда заниматься не позволю себе, это за пределами представлений моих о научной дискуссии».

С тем и распрощались.

### 3

Дринькнул звонок, Василий огляделся в комнате: не исключено, что с обыском. Кажется, все в порядке. Брошюру о «друзьях народа» припрятал в печной выюшке, топить еще не принялись по случаю теплой осени. А больше ничего крамольного в доме не держал, помнил уроки



Степана Радченко... Звонок протрещал опять, Василий пошел открыть. Яковлевы на работе, а он собирался в ночную.

Несказанно удивился, увидев на крыльце... Ульянова. Но Владимир Ильич улыбался так, словно пришел к давнему и близкому товарищу, хотя виделись всего трижды: когда их знакомил Красин, потом в Казачьем переулке и еще — на Канареечной, в комнате Василия. Тогда, на Канареечной, было небольшое собрание, Владимир Ильич держался как бы в тени, выступать не пожелал, прислушивался, что говорят рабочие. Шелгунову показалось, будто Ульянов себя ведет неуверенно, и Василий подумал тогда: молод еще и, кажется, застенчив чрезмерно. Разница у них была в три года, но себя Шелгунов давно считал зрелым и много пожившим, хлебнул всякого вдовств, шутка сказать, с девяти лет работать довелось...

Теперь Ульянов предстал совершенно иным. За полгода он заметно возмужал, бородачка подросла, увеличилась лысина, движения стали уверенней. По лестнице он взбежал, а не взошел, скоренько скинул все то же пальтецо, старательно вытер ноги, бегом в комнате огляделся. Шелгунов испытывал некоторое смущение. Правда, комната и обставлена подходяще, и чисто, но из интеллигентов никто здесь не бывал, и Василий не знал, не осудит ли гость за что-нибудь в обстановке.

«Чем вас угощать, Владимир Ильич, ума не приложу,— сказал он.— Столуюсь у хозяйки, своей провизии не имею. Разве что самоварчик». — «Полноте, батенька,— живо прервал Ульянов,— полноте! От чаю, с вашего позволения, не откажусь, об остальном не извольте беспокоиться, обедал, и весьма плотно».

Самовар у Яковлевых отличался усердием, закипал моментом, на кухне сыскалась банка брусничного варенья. Гость похвалил и чай свежей заварки, и Марфино лакомство, но похвалил как бы мимоходом.

«Итак, Василий Андреевич,— приступил он,— насколько мне известно, вы здесь организовали марксистский кружок и, кажется, поставили его весьма педурственно, не так ли?» Он поглядел с уже привычной Шелгунову хитрецей, и Василий отвечал открыто, как было при первом знакомстве: «Как раз плохо кружок поставлен, Владимир Ильич, всего-то семеро нас. У Ивапа Бабушкина собираемся, он работает на Семянниковском, а живет в Смоленском, по Шлиссельбургскому тракту, компата удобная, с отдельным входом, и собираемся достаточно часто, но, признаться, варимся в собственном соку... Хорошо бы, чтобы на каждом заводе был хоть один паш товарищ, но, знаете ведь, за Невской фабрик и заводов — пальцев не хватит перечесть, разуваться надо...» — «Да, да,— подхватил Ульянов,— решительно и абсолютно вы правы, разумеется, именно так, на каждом предприятии, необходимо расширять сеть кружков». — «Трудно, Владимир Ильич,— пожаловался Василий,— далеко не во всем толк понимаем, запутываемся, разобраться не можем. Да вот, к примеру, минуточку...» Залез на стул, открыл выюшку, вынул завернутую в клеенку брошюру, положил перед Ульяновым. «Вот, Владимир Ильич, может, читали? Мне Старков дал». — «Довелось, довелось просматривать,— сказал Ульянов, улыбувшись.— Говорите, не все ясно? Весьма жаль, брошюрка, мне кажется, гм-гм, небеспользная. А прячете столь тщательно понапрасну, брошюра вполне открытая, мы заинтересованы в том, чтобы ознакомить с нею широкую публику, тут уж Старков хватил с конспирацией лишку. Рукопись посылали в разные редакции, да где там! Не желают. А вот нас атакуют решительно и круто, ведут мощное наступление, используют сильнейшее оружие — печать, возглавляют демарши против нас опытные генералы. А мы пока что оборонялись, защищали собственные позиции, при том мелкими, по сути, безоружными группами. И группы наши

раздираемы внутренними противоречиями, лишены единого руководства, еще не осознали до конца ни целей, ни средств борьбы, замкнулись в узком круге, пропаганду ведем абстрактно. Признаться по чести, Василий Андреевич, неважно обстоят дела. Генералы — против солдат, профессеры — против студентов, сплоченное, с давними традициями движение — против разрозненных и малочисленных групп. Солидный журнал «Русское Богатство», увесистый, с постоянными подписчиками, — против устных рефератов, против... Да, и против этого вот, — Ульянов притиснул рукой желтую тетрадку, улыбнулся теперь невесело, достал из кармана еще две книжки, облик сходящие с тою, что лежала перед ним. — Вот, Василий Андреевич, второй и третий выпуски. Как видите, тоже анонимные и отпечатаны гектографически. На третьем даже указали в целях конспирации: «Издание провинциальной группы социал-демократов». Но что поделать... Если официальные печатные органы отвергли, значит, надобно соблюдать конспиративность. И тираж — пятьдесят, сотня штук. Бедны мы, Василий Андреевич. Но это начало, это лишь начало. Старые народовольцы тоже рассказывают, что перед семьдесят девятым годом у них был полный упадок, никакой организации, а через два года — как размахнулись! Всю Россию заставили трепетать!»

Он положил на стол вытянутые руки, сжал кулаки, медленно расправил, посмотрел на узковатую ладонь. На его лице Василий увидел и некий отблеск восхищения, и грусть.

«Но их время прошло, — сказал Ульянов, — миновало время героев-одиночек, народникам не дано было всколыхнуть пролетарскую Россию. Это сделаем мы! Вот увидите, Василий Андреевич, мы вырастем в настоящую партию, и это будет скоро, весьма скоро, революция грянет, и мы возглавим ее, как партия коммунистическая».

Шелгунова осенило: вот в чем его, Ульянова, сила — он з н а е т! Знает не в том смысле, что начитан, образован, ему известны, должно быть, многие науки. Он з н а е т цель! Знает, за что надо бороться и как бороться! Вот в чем его сила.

«А насчет этой книжки, Владимир Ильич,— сказал Василий, показывая на брошюру,— хорошо бы нам...» — «Да, да,— нетерпеливо перебил Ульянов,— конечно, я все-неприменно и в ближайшее же время приду к вам, ради того и сегодня заявился, чтобы условиться. Когда ваш кружок заседает? По воскресеньям? Вот и преотлично».

Преотличного Василий не видел: с какой стати должен человек жертвовать своим отдыхом, они — другое дело, им учиться надобно... И, чтобы как-то оправдаться, объяснил: «Да тут недалеко, по тракту до Смоленского можно и пешочком». Сказал и сообразил: чушь это, ведь Ульянову с Гороховой на конке часа полтора трястись, а на извозчика, может, и депег нету, вон как одет, и худой. Как знать, и про обед свой плотный, вполне вероятно, слукавил. «Извините,— сказал Василий,— глупость я сморозил, далековато вам, не переменить ли время?» — «Не беда,— отвечал Ульянов,— о б щ е е дело делаем, я все-неприменно явлюсь. В котором часу вам удобно?»

Шелгунов понимал, что этакие слова — извините великодушно, вам удобно — не более чем привычка, свойственная людям его, Ульянова, круга, и в то же время чувствовал себя неловко от такого обращения. Заговори кто-то другой таким манером — Василий мог бы обидеться, подумав, что в насмешку. Но в Ульянове сочеталась интеллигентская, даже слегка подчеркнутая воспитанность с простотой, вовсе не похожей на ту, с какою иногда п о д л а ж и в а л и с ь к рабочим студенты, и Шелгунов прирожденным своим умом и деревенским тактом эту манеру Владимира Ильича ощутил, понял и оценил.

«Нет-нет, провожать ни в коем случае, — сказал Ульянов, — конспирация, конспирация и еще раз конспирация. — Сам засмеялся. — Уподобляюсь одному историческому персонажу, который любую речь завершал призывом разрушить город Карфаген... Нас, Василий Андреевич, на улице вместе видеть не должны, вы для нас человек ценный». И все теми же быстрыми движениями, как-то по-особому ловко накинул пальто, набросил на голову шляпу-котелок, и котелок приладился аккуратно. «Итак, до скорой встречи, Василий Андреевич, да, я запомнил: Шлиссельбургский тракт в селе Смоленском, дом двадцать девять... Но конспирация, конспирация!» Это у него было как заклинание.

«Я желал бы поступить в агенты тайной полиции. В этом я не вижу ничего худого; слово «шпион», которым обыкновенно клеймят людей, служащих в тайной полиции, ничего худого, по моему, не означает... (Разрядка в тексте документа. — Авт.) Я обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с всепокорнейшей просьбой не отказать принять меня на службу по тайной полиции, хотя бы с небольшим, но постоянным (круглый год) окладом жалованья... Вашего высокопревосходительства пижайший послушник и глубоко преданный и благоговеющий перед Вами». — Евгений Белков, студент. Прошение министру внутренних дел.

«В веду поднятая цен на жизненные продукты и квартир с дровами, то мы как получающие пищей оклад жалованья... осмелились побеспокоить своего хозяина не найдет ли он нужным прибавить нам жалованья в веду поднятая цен на продукт первой необходимости... Позволил себе квам обратика как к нашему начальнеку и все покорнеши прошу не оставте моей прозбы так что прослу-

жа выдавали только от 3 ру до 9 ру. В се покорнище прашу...» — Докладная филера. Стиль, орфография и пунктуация подлинника.

4

Было, вспоминал Шелгунов, начало октября, то ли второе, то ли девятое число, воскресенье. Ваня Бабушкин для такого случая побывал у цирюльника, подкоротил волосы, подравнял усики. В белой сорочке, он что-то напевал, накрывая стол: для конспирации поставили водку, огурцы, вилоч расластованной квашеной капусты. Бабушкин весьма радовался, что его квартира стала резиденцией, как он выражался, кружка: Ваня любил поговорить, послушать, потолкаться среди людей. Высокий, подвижный, он сновал в кухню и обратно, сожалел, что хозяйева отдали самовар в полудку, придется обойтись чайником. Остальные сидели возле стенок, переговаривались, ждали. Василий заранее сказал: звать лектора Николаем Петровичем. Стучали часы с кукушкой, время близилось к назначенному.

Николай Петрович прибыл за несколько минут до начала; завернули холода, он все в том же, отметил Василий, пальтишке, только вместо котелка на голове треух. Очень похож на мастерового. Поеживался, потирал с морозцу руки. Знакомился с каждым, смеялся: «А говорили, что у вас одни Василии». — «То было прежде», — пояснил Шелгунов. «Не угодно ли рюмочку с холоду-то?» — предложил на хозяйских правах Бабушкин. «Нет, не употребляю», — сказал Ульянов, — разве что легкого пива, но ведь не ради того собрались, приступим, товарищи?»

Уселись вокруг стола, шестеро, Ульянов — седьмой. Василий удивился: у Владимира Ильича, то бишь Николая Петровича, — не забыть бы так называть — в руках никакой тетрадки, решил, видно, излагать словесно.

Пыхтел на подставке чайник, жестяной, кочегарский, с него и начал Ульянов толковать о прибавочной стоимости.

«Вот,— говорил он,— возьмем, к примеру, какую-нибудь кустарную мастерскую. Скажем, где чайники делают. В мастерской народу, допустим, человек сто. Прикинем следующее. Хозяин покупает лист жести, платит, возьмем для ровного счета, рубль. Из листа получается, положим, четыре чайника. Значит, хозяину чайник обошелся в четвертак. Верно? Порассуждаем дальше. За работу каждому жестянику хозяин платит, условимся, гривенник. Прибавим еще отопление, освещение, ремонт, расходы по мастерской; если раскинуть на каждый чайник, еще пятак. Значит, обошлось хозяину изделие в сорок копеек. Приблизительно, конечно. А продает за полтинник, получает прибыль. Откуда она взялась? Давайте посоображаем. Ага, верно: богатеет за счет рабочего, платит меньше, чем положено за то, что тот вырабатывает. Вот это и называется у нашего учителя, Карла Маркса, прибавочная стоимость...»

Потолковал он так полчаса, потом взялся выспрашивать. Это он тоже умел, отмечал Шелгунов, прямо-таки с нажимом выспрашивал — старался дойти до малой малости — об условиях труда, о настроении рабочих, о ссорах с администрацией, о штрафах и тому подобном. Все разговорились, от смущения и следа не осталось. И Василий высказывал свое, наболевшее: «Владим... Николай Петрович (огляделся — нет, никто вроде не заметил обмолвки), вот бывает, подойдешь к товарищу, начнешь говорить, что надо царя скинуть,— сразу пугаются, мол, батюшку-государя не тронь! Если по правде, так мне однажды по шее за такое съездили.— Переждал смех.— А ежели заведешь речь о том, что нет хорошей воды в мастерской для питья, что из щелей дует, а хозяева денег жалеют,— вот этим рабочего скорее проймешь. И, между

прочим, у большинства наших товарищей такой взгляд, что богачи-капиталисты приносят пользу, потому как дают заработок, средства к существованию».

Слушал Ульянов внимательно, а после сказал: «Так-то оно и так, Василий Андреевич, понятно, что большинство рабочих не созрели до мысли о свержении царя, однако не довольно ли толковать лишь про кипяток да пятачок, размениваться на мелочи? Слышал, что в последнее время начали активно действовать религиозные сектанты, последователи отставного полковника Пашкова, п а ш к о в ц ы, они проповедуют соблюдение морали в личной жизни, трудолюбие, трезвость, и на их собрания сотни людей приходят. Получается, умеют привлечь к себе, а нам не под силу? Нет, товарищи, пора переходить в наступление, пора! Надо от постановки конкретных задач — к разъяснению общей цели революционного движения! Вот почему и нужны такие кружки, вроде вашего, вот когда у нас будет целый отряд специально подготовленных, образованных рабочих-революционеров, как, например, Василий Андреевич, тогда никакая полиция с нами не совладеет».

Было, разумеется, Шелгунову приятно услышать принародную похвалу, а с другой стороны показалось и неловко, как бы не посчитали зазнайкой, выскочкой, слишком уж выделил Владимир Ильич.

Стараясь замять неловкость, общую, как он заметил, сказал: «Владимир Ильич, вы обещали насчет книжки о друзьях народа поговорить...» И опять ударило в краску: Владимиром Ильичем назвал, полностью, отчетливо имя выговорил! Ульянов нахмурился и, еще не остыв, сказал резко: «Товарищи, видимо, конспирация у нас, извините, липовая. Раз так вышло — да, меня зовут не Николаем Петровичем. Но желательно о том не распространяться, за пределами кружка хотя бы. Хорошо, поговорим о наших друзьях...»



В дверь постучали условным стуком. Ваня Бабушкин поглядел на Шелгунова, тот на Владимира Ильича. На взгляд Ульянов ответил тоже вопросительным взглядом — условного стука, понятно, знать не мог. Шелгунов ответственность взял на себя, кивнул Бабушкину. Дверь отперли. Вошел Николай Николаевич Михайлов, поклонился вежливо, попросил разрешения присутствовать...

1894-й, конец года. В. И. Ульянов ведет занятия рабочих кружков в квартирах: П. Е. Меркулова, за Невской заставой, Александровский сталелитейный завод; П. Д. Дмитриева, на Выборгской стороне; братьев Ф. И. и А. И. Бодровых, фабрика Максвеля и Семянниковского завода, село Смоленское; И. В. Бабушкина, там же; В. А. Князева, где занимаются пролетарии Петербургской стороны, Васильевского острова, Выборгской стороны, посада Колпино; И. И. Яковлева в Гавапи, — таким образом работает практически во всех пролетарских районах. Неоднократно встречается с Шелгуновым — в его квартире и в народной библиотеке. Часто выступает перед членами марксистского кружка «технологов», в том числе с рефератом, на основании которого пишет книгу «Экопомическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве...». Возглавляет Центральную группу для руководства рабочим движением, куда вошли и рабочие, проводит совещание группы о переходе от кружковой пропаганды к массовой политической агитации.

### *Глава шестая*

Здесь, в предварилке, он завел нечто вроде Tagebuch'a, никаких личных записей, только число, день недели, краткая пометка о сделанном за

сутки — дисциплинировал себя, педантично прикидывал количество прочитанных и начерно написанных страниц, отмечал свидания с Анютой. Блокнот как бы взнуздывал, помогал держать себя в форме, не давал расслабиться, отпустить вожжи. Вот и сегодня, 29 января, он, едва открыв глаза, первым делом вычеркнул минувшее число, принялся за гимнастику, поглядывая на раскрытый календарик. «Что день грядущий мне готовит?» А готовит он вам, господин Ульянов, высылку. Да-с, извольте понемногу собирать пожитки. Не сегодня завтра, сказала в последнюю встречу Анюта, объявят высочайшее повеление... Высочайшее...

Мысли его сами по себе завертелись вокруг высочайших... И вырезка из какой-то газеты подвернулась, случайно заложенная в книгу, он пробежал по строчкам.

«Государь стал быстро угасать, окруженный молитвами о. Иоанна Кронштадтского, искусством русских и иностранных врачей, заботами ближайших родных, много молился, трижды приобщался Св. Таин, пока не почил в Бозе 20 октября сего, 1894 года, на пятидесятом году Своей жизни...»

Рассказывали, будто заграничная какая-то газета напечатала тогда весьма забавную телеграмму: «Впервые русский император умер естественной смертью — от алкоголизма». Ну, это, господа, возможно, преувеличение, хотя выпить покойный был не дурак...

Рассказывали, что когда гроб с телом Александра Третьего несли в Петропавловский собор, то на Невском проспекте молодой и ретивый офицерик скомандовал эскадрону, с которым поравнялась процессия: «Смирно! Голову направо! Смотри веселей!» Между прочим, ротмистр этот — сын печально знаменитого Федора Федоровича Трепова, того самого, в которого стреляла Вера Засулич. «Смотри веселей!» Почти как общественное воззвание...

А сколько было надежд и упований, сколько разговоров среди либеральной интеллигенции, чего только не понаписали о царе, ныне покойном... Он-де и воздержанный человек правильной жизни, истинный христианин, верный сын православной церкви, простой, твердый, честный, он и спокойный миролюбец, образцовый семьянин, получивший блистательное образование, он и надежная опора мирового порядка и тишины, он и даже приверженец чистоты русского языка... Что ж, любой видит то, что ему хочется видеть. Другие аттестовали по-иному: похож на деда своего, железного царя Николая I, прирощенный деспот, враг прогресса и европеизма, жестокий, равнодушный, наделенный самомнением, себялюбием, скудостью воображения. Говорят, страдал почти мапней преследования. Похоже... Откладывал коронацию, отсиживался в балтийских шхерах на яхте, затем уединился в Гатчине. Говорят, перестал доверять даже личному повару, заставлял его пробовать каждое приготовленное блюдо, а незадолго перед смертью кушанья варила и жарила, по его велению, сама императрица Мария Федоровна. Но если войти в его положение... Было чего бояться! Было! Конечно, восьмидесятые годы не шестидесятые, однако и тогда — в России после реформ Александра II — мгла, растерянность, шальной дух предпринимательства, деловой инициативы, и тогда вопреки упадку воли большинства интеллигенции все-таки были всплески, да еще какие! И вторые первомайовцы (Саша, Саша!), и Морозовская стачка... Парадокс? На первый взгляд именно так, парадокс.

Тяжелая могильная плита давила на страну, на общественность. Давила гнетущая пята самодержца, столь же неограниченного в своей власти, сколь он был, как ни славословь, ограниченным интеллектуально. Богатырь наружностью — гнул пятаки, ломал подковы, даже, слышно, завязывал в узел кочергу, — он был трусом,

Александр. Трусливые жестоки. Жестокость властителей — не утаить. Известно, что с 1883 по 1895 год по его высочайшим казнены двенадцать политических... И Саша, Саша в их числе... Многое известно. И то, как на протоколе допросов народовольца Исаева начертал: «Надеюсь, эту скотину заставят говорить». И как повелел выпороть розгами народоволку Надежду Сигиду. И то, как с его благословения судили полумертвого Ордиха: в зале фельдшер то и дело прикладывал кислородную подушку, чтобы обвиняемый не потерял сознания... Неправильно! — подумал Ульянов и понял, что сказал это вслух. Не годится, нужно владеть собой. Он поднялся, сделал несколько гимнастических упражнений, отхлебнул остывшего чая. Говорят, иным помогает курение табака. Не пробовал, не знаю... Занялся тусклый день, стены камеры немного посветлели. Неотступная мысль: а что, если именно здесь, в номере 193, сидел Саша? Видел именно эти стены, этот стол, сидел на этом откидном стуле... Невыносимо...

Тайное всегда становится явным. Неведомо, какими путями — дворец не самый надежный хранитель придворных секретов! — стало известно, что на предсмертном письме Саши венценосный христоролюб, человек блестяще образованный, наложил резолюцию: «Это записка не сумасшедшего даже, а идеота...» Архикапалья, мерзость, подонки рода человеческого! Так — про Сашу! Ненавижу!

Совершенно справедливо сформулировал Георгий Валентинович Плеханов, он говорил это и в Женеве летом девяносто пятого, когда познакомились: Александр Третий сеял ветер. Да, совершенно верно. А его сынку придется пожирать бурю. И буря эта — движение самих масс. Только так.

Почти всегда при смерти властителей вспыхивают надежды, чаяния, ожидания перемен к лучшему. Не ус-

пели отслужить панихиду, как начались толки о перемени курса, реформах, неведомо каких, даже о даровании конституции. Господа либералы, кажется, то ли готовились, то ли делают вид, будто готовятся обратиться к новому государю с покорнейшей и всеподданнейшей петицией о даровании свобод. Департамент полиции в предвидении такого демарша действовал истинно по-русски: привел в полную боевую готовность городских и пожарных в обеих столицах. В стране поднялась кутерма, причудливая и опять-таки очень уж российская...

Анюта передала ему письмо из Москвы, доставленное с оказией. Чудны дела твои, господи! Что в первопрестольной творилось уже на следующий день после смерти императора! Анюта рассказывала тогда подробно. По Большой Семеновской, на заборе дома некоего Богрова, появилась начертанная карандашом лаконическая прокламация: «Да здравствует Республика! Скопчался варвар-император». С 22 октября разбрасывали печатные листовки, в них говорилось — надо, чтобы народ издавал законы, Николай II уступит, если народ заявит свои права, нужна республика, долой полицию! Происхождение листовок, писала Анюта, осталось невыясненным. Уж во всяком случае писали не социал-демократы, наши себя конституционными иллюзиями не тешат. Московский обер-полицмейстер Власовский, отличавшийся безумной стремительностью и натиском, как про него выражались, — ну, чем не Суворов! — не придумал ничего умней, как посадить городских на извозчиков и циркулировать по столице для задержания распространителей подметных писем. Напрасно усердствовал рьяный служака: обыватель о конституции слухом не слыхивал, он сам, в рвении, тащил пасквили в полицейский участок. И даже департамент полиции срочно приказал Власовскому натиск прекратить, городских с извозчи-

ков снимать, арестами не увлекаться, ограничиваясь увещанием.

В дни траура начальство Московского университета надумало укрепить патриотические чувства и пустило по рукам подписную ведомость для сбора средств на венок. Ведомость обнаружили в клозете порванной мелко, а в картузе доброхота-сборщика оказалось несколько медных монет и двадцать три пуговицы от студенческих мундиров, конечно, это не похоже на казанскую нашу сходку, и тем не менее... Известный доселе не только либеральными взглядами, но и едкой критикой самодержавия — впрочем, без покуительства на основы монархии, — профессор Василий Осипович Ключевский с университетской кафедры негаданно произнес хвалёную речь в память усопшего. Любимого профессора освистали весьма непочтительно. И студиязусы не сплеховали дальше. Когда власти спешным порядком выпустили речь особой брошюрой, студенты ее мигом раскупили, выдрали печатные листы, вставили в обложку с именем Ключевского гектографированные оттиски старинной басни «Лисица-казнодей» — само название вызывающее! — и распространили.

Как водится, поползли всяческие слухи. Самый сенсационный и нелепый о том, что государя отравил пользовавший его знаменитый диагност Григорий Антонович Захарьин. Толпа осатанелых дворников, люмпенов, будочников в цивильном окружила дом Захарьина по Мещанской улице, но почтенного вида — так рассказывала Аюта — дворецкий с иконою в руках заверил клятвенно, что хозяин отбыл за границу (это соответствовало истине, ибо, узнав о готовящемся погроме, Захарьин дожидаться беды не стал).

Ах, но какой же скандал разразился в ту пору, два года назад, семнадцатого января! Имел быть высочайший прием верноподданных депутаций от дворянства,

земств, городов и казачьих войск. Речь для молодого, двадцатитрехлетнего императора сочинял обер-прокурор Святейшего Синода, досточтимый Победоносцев, Константин Петрович, фразочку, в числе иных, завернул такую: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся беспочвенными мечтаниями об участии земства в делах внутреннего управления». Крепко сказано!

То ли не разглядел Николай, то ли обмолвился, то ли решил внести в сочинение свой творческий вклад, но так или иначе, а вместо сравнительно безобидного словца беспочвенные произнес отчетливо и внятно: бессмысленные мечтания. Так и пошло в газеты, ибо слово государево непререкаемо... Почти незамедлительно родилось некое сочинение, интеллигентский фольклор:

Принахмузив очи строгие,  
Чтобы в корне зло пресечь,  
Кововодам «демагогии»  
Царь сказал такую речь:  
— За благие пожелания  
Вас я всех благодарю,  
Но бессмысленны мечтания  
Власть урезать мне — царю!  
Эй, калики перехожие!  
Либералы! Дикари!  
Провинциалы толстокожие,  
Санкюлоты из Твери!..  
Или вы воображаете,  
В самом деле (как умно!),  
Что собою представляете  
Вы парламента зерно?  
Далеко зерну до колоса,  
Не пришла его пора.  
Дам пока вам право голоса  
Лишь для возгласов «ура!».

Недурственно... И даже наш марксист из легальных, господин Струве, не стерпел — через день, девят-

надцатого, направил в печать «Открытое письмо к Николаю II», оно распространялось в списках. Помнится, там сказано было о том, что речь императора вызвала чувство обиды и удрученности, от которого, однако, общественные силы быстро оправятся и перейдут к мирной, но упорной и сознательной борьбе за необходимый для них простор, а у других обострится решительность бороться с несправедливыми силами всеми средствами. И даже заявлял прямо: «Вы первый начали борьбу — и борьба не заставит себя ждать». Bravo, Петр Бернгардович, bravo, и решительно сказано, и смело, и определенно, всегда бы так...

Да, наступила очередь мысли и разума. Именно в эпоху Александра Третьего старое русское пародничество перестало быть одним мечтательным взглядом в будущее, обогатило общественную мысль исследованиями экономической действительности России. Не одни лишь Струве, но и либералы зашевелились, в тот же день, девятнадцатого, также выступили с «Открытым письмом Николаю II земских представителей от 19 января 1895 г.» — кажется, сохранилась выписка, вот она: «Если самодержавие возможно только при совершенной безгласности общества или постоянном действии якобы временного положения об усиленной охране — дело его проиграно; оно само роет себе могилу, раньше или позже, но во всяком случае в недалеком будущем, падет под напором живых общественных сил». Bravo и вам, господа земские, вы попали в точку! Но вы не заметили, что русская революционная мысль теперь создала нечто принципиально новое — основы социал-демократического мирозерцания. Было бы неверным отрицать революционную роль реакционных периодов! Форма общественного движения меняется... И даже когда в стране царит внешнее спокойствие, когда забитые и подавленные каторжной работой и нуждой массы погружены в сон,



это лишь кажется, будто они спят и молчат. Ибо способы производства революционизируются, а следом за ними революционизируется и мысль передовых представителей человеческого разума, она, эта мысль, подводит итоги прошлому, строит новые системы, новые методы исследования, возвещает начало нового периода непосредственного политического творчества масс... Так? Безусловно, так!

Он уже забыл, что сегодня намеревался устроить выходной себе, разобраться в бумагах, порвать лишние черновые записи,— отсидка близится к концу, могут в любой день вызвать с вещами,— он забыл, увлеченный течением собственной мысли. Итак, думал он, заложены основы социал-демократического мирозерцания. Однако пока лишь в интеллигентской среде. У рабочих социал-демократического сознания нет и не может быть. Оно привносится извне! Исключительно своими силами рабочий класс в состоянии выработать лишь убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу против хозяев, добиваться издания правительством тех или иных нужных рабочим законов. Но этого мало! Учение же социализма вырастает из тех философских, исторических, экономических теорий, которые вырабатывались и вырабатываются образованными представителями имущих классов, интеллигенцией... У нас в России теперь налицо и стихийное пробуждение рабочих масс — пробуждение к сознательной жизни, сознательной борьбе,— налицо и наличие молодежи, вооруженной передовой социал-демократической, революционной теорией, молодежи, которая рвется к рабочим. Нас зовут стариками в нашем кругу, но это лишь полушутливая конспиративная кличка, ибо мы все молоды, черт возьми, мы полны сил и поднимем рабочие массы, мы вооружим их теорией, сделаем их движение сознательным, подлинно революционным. Мы, а не вы, господин

Михайловский, и не вы, господин Струве, и уж, разумеется, не вы, господа либеральные земцы, с вашими беспочвенными, бессмысленными ли мечтаниями!

1

Конечно, Николай Александрович Варгупин, гласный сапкт-петербургской думы, человек образованный и прогрессивный, когда основывал в Шлиссельбургском участке профессиональные и воскресные школы, и думать не думал, что многие из них, поставленных под неослабный контроль не только министерства просвещения, но и полиции, станут революционными рабочими университетами, рассадниками к р а м о л ы.

И особо выделялись в этом качестве Смоленские воскресные классы, по-другому называемые Корниловскою школой,— на Шлиссельбургском проспекте села Смоленского, за Невской заставой.

Школа была одной из самых старых и крупных, шестьсот учеников, не считая тех, кто в технических классах. Хорошее помещение, с толком подобранная библиотека. Люди сюда шли не принужденно и не выгоды какой-то ради, а чтобы получить знания. Для этого поступил в Корниловскую и Василий. Уговорил его Иван Бабушкин, твердил без конца, что классы эти как бы решето, которое отделяет зерно от примесей, и тот механизм, что соединяет одного человека с другим. И в самом деле, здесь заводились прочные знакомства, здесь можно было, понял Шелгунов, устанавливать революционные связи. Вскоре Василий знал многих передовых рабочих Невской заставы.

И была еще одна особенность воскресных классов. Учителями в них, а точнее, учительницами, поскольку женщины преобладали (жалованья педагогам не платили), были почти как на подбор люди прекрасные, яркие, самоотверженные. Поступали эти просветительницы

сюда, как и ученики, по доброй воле, из чистых побуждений, по сердечному велению.

Здесь, в Семеновском, самая старшая — Лидия Михайловна Книпович, лет под сорок, бывшая народоволка, на вид строгая, ее побаивались и слушались беспрекословно. Аполлинария Александровна Якубова, ее Шелгунов знал еще раньше как невесту Кости Тахтарева. Болела, кажется, чахоткой, все куталась в пуховый платок, но занятий не пропускала никогда, превосходно умела объяснять, особенно химию. Вошла в рабочий кружок, была арестована, сослана, даже хворь ее не помешала властям расправиться. Куделли Прасковья Францевна — падчерица полковника, революционерка, схвачена в 1896-м, как и Лидия Книпович, по делу так называемой «Лахтинской типографии» народовольцев. Сестры Невзоровы, старшая — Софья, младшая — Зинаида, недавно приехавшая из Нижнего. Красавицы обе, умницы, в их квартире часто собирались социал-демократы, там всегда и всем было весело, свободно, кормили вкусным вареньем, за разговорами засиживались подолгу.

И наконец, Надежда Константиновна Крупская — тяжелые волосы заплетены в косу, слегка скуластое лицо, то грустные, то очень живые глаза, по-девчески пухлые губы, темное платье с буфами или же белая блузка, — Василий с ней встречался на собраниях и там в последнее время замечал, что Надежка, так ее многие звали, смотрит на Ульянова доверчивыми ясными очами.

Она привлекала к себе мужское внимание, и Шелгунов тоже видел в ней не только товарища по кружку и учительницу и, как водится среди мужчин, испытывал некое подобие ревности, видя, что Надежде Константиновне нравится отнюдь не он...

Вместе с Бабушкиным, с другими товарищами Василий восхищался учительницами — их смелое слово порождало страсть к знаниям, между рабочими и ба ры ш-

нями возникала прямо-таки родственная близость, Шелгунов удивлялся: эти, в большинстве молодые, интеллигентки понимают их заботы, их жизнь.

Случалось, рабочие рассказывали Крупской или Невзоровым: на заводе происходит то-то и то-то,— знали, что передадут, кому следует. Бывало, кто-нибудь сунет учительнице записку: вон того, чернявого, за третьей партией, поостерегайтесь, кажись, на Гороховую вхож...

Запретных слов — вроде марксизм, стачка — не поминали, но как бы исподволь разъясняли своим ученикам идеи марксизма. Надежда Константиновна часто вместо чтения проводила уроки географии, а под видом чистой географии рассказывала о политическом устройстве разных стран, о том, как пролетарии борются за свои права. А еще Шелгунову запомнился ее урок о Некрасове, — речь шла об эксплуатации крестьян. Однажды позвала всех посмотреть картину художника Ге под названием «Христос и разбойник», говорили, что это полотно сильно бранил царь. Незаметно завелся разговор о классовой борьбе, о героизме, о жертвенности, о смысле подвига...

Воистину эта школа была революционным университетом, и Шелгунов не удивился, увидев здесь однажды Ульянова, он шел с Крупской по коридору. После стало известно, что Владимир Ильич считал школу базой для разворота и расширения революционной работы, средством проникнуть в широкие народные массы. Василий гордился этим: они вместе с Иваном Бабушкиным уже вовлекли в кружки Арсения и Филиппа Бодровых, Бориса Жукова, еще нескольких учащихся школы.

Значение воскресных классов оценили полицейские власти: когда начались массовые аресты социал-демократов, то задержанных рабочих в первую очередь спрашивали, не занимался ли в вечерней школе...

Михаил Сильвин прислал записку с приглашением «на семейное торжество по случаю новоселья», и правда, они с Ваневым перебрались на Троицкий проспект. Василий долго добирался на конке, слегка припоздал. Комната большая, окнами на улицу, вход прямо из подъезда. Стоял тихий гул, накурено до синевы. Накрыт небогатый стол. Ульянов ходил взад-вперед, заложив руки за спину, ступая бесшумно, быстро, на цыпочки,— многие знали, что такая ходьба помогает ему сосредоточиваться. Выглядел Владимир Ильич печально: бледный, осунувшийся, глаза проваливались, горели темными угольками.

Собрались здесь Крупская с Якубовой, Петр Запорожец, Герман Красин, Василий Старков, Степан Радченко, хозяева комнаты, из рабочих — Иван Бабушкин, Меркулов Никита, еще несколько незнакомых Шелгунову. С одним оказались рядом, протянул руку. Борис Зиповьев, с Путиловского. Высокий, стройный, поглядывает пасмешливо, роняет отдельные слова как-то сухо. По виду скорее интеллигент. Но по воскресеньям, в выходных костюмах, праздниками ли, передовые рабочие на вид мало чем отличались от интеллигентов.

Ульянов потерял бороду, взял со стола какую-то брошюру, свернул в трубочку, развернул опять, полистал. Он что-то медлил, не как обычно. Заговорил резко, нервно, почему-то по-немецки: «*Studieren, Propagandieren, Organisieren*». Тут же перевел: «Изучать, пропагандировать, организовать,— это слова ветерана германской социал-демократии Вильгельма Либкнехта, если товарищи помнят, я приводил эти слова в брошюре о «друзьях народа». И повторяю теперь, ибо они прямо относятся к тому, что намерены обсуждать сегодня, а обсуждать мы будем, полагаю, то, что является вопросом вопросов нашего движения».

Бледное лицо его сделалось скуластым больше обыкновенного, и, помолчав, он продолжал речь уже с привычной собранностью и четкостью. «Итак, виленский социал-демократический кружок выпустил брошюру «Об агитации», автор Арон Кремер, а редактировал товарищ Мартов, он же Юлий Цедербаум. Брошюра эта весьма полезна в некоторой части. Здесь говорится, между прочим, и следующее, позвольте прочесть: «Заданием социал-демократов является постоянная агитация среди фабричных рабочих на почве существующих мелких нужд и требований. Вызванная такой агитацией борьба приучит рабочего к отстаиванию своих интересов, поднимет его мужество, даст ему уверенность в своих силах, сознание необходимости единения и, в конце концов, поставит перед ним более важные вопросы, требующие разрешения. Подготовленный таким образом к более серьезной борьбе, рабочий класс приступит к решению этих насущных вопросов». Как по-вашему, Василий Андреевич, правильно?» — неожиданно завершил Ульянов, и Шелгунов растерялся: кажется, правильно, однако Владимир Ильич начал говорить о брошюре с легкой насмешливостью. Помолчал, не зная ответа. Ульянов сердито дернул себя за бородку. «Постановка вопроса о необходимости постоянной экономической агитации вполне правильна, — сказал он. — Коренная же ошибка Кремера и Мартова в другом, прошу вдуматься: в их теории стадий, по-иному — ф а з и с о в. Они полагают, будто российский пролетариат еще не подготовлен к политической борьбе, что борьба будет и должна пока носить чисто экономический характер. Вот это глубоко и принципиально ошибочно! Мы обязаны выдвигать широкие политические задачи русской социал-демократии вообще и задачу ниспровержения царизма в частности, а вернее, даже не в частности, а в о с о б е н н о с т и. Экономические же вопросы необходимо разрешать так, чтобы рабочему было ясно:

без коренных перемен в политической жизни страны экономическое положение трудящихся масс не улучшится.— Он снова помолчал, подумал.— Я подчеркиваю, что, во-первых, мы должны переходить от узких пропагандистских кружков к широкой экономической агитации в массах, а затем — от экономической агитации к политической, в крупных масштабах. Процесс этот един и неразрывен. И никаких там фазисов! Едино и нераздельно! Узкая пропаганда — широкая экономическая агитация — столь же широкая агитация политическая. Таков тезис, таков лозунг, такова злоба дня!»

Шелгунову показалось: все ясно, и обсуждать нечего, но поднялся Герман Красин, и Василий вспомнил, правда, с чужих слов, какое поражение потерпел Герман от Ульянова при обсуждении своего реферата, сейчас, по всей вероятности, Красин постарается «отыграться». Герман самолюбив, потеря лидерства, наверное, далась ему нелегко.

«Мы спрашиваем,— заговорил медленно Красин,— у наших товарищей-рабочих, почему, отчего в их среде происходят волнения, такие редкие, к слову, и получаем ответ: перестали давать кипяток, расценки снизили на пятак. Выслушав такие сообщения, мы их поддерживаем. Размениваемся на мелочи, сводим дело революционной борьбы к драчке за кружку вареной воды, а тем проваливаем главное — пропаганду идей социализма. Переход к агитации широкого плана, как предлагает уважаемый Владимир Ильич, по сути, ничего не меняет. Узкая ли, широкая ли агитация остается только агитацией и означает сворачивание социалистической пропаганды. Увольте, не согласен и согласиться не могу». — «Подмена тезиса,— немедленно и живо откликнулся Ульянов. — Развертывание широкой агитации не означает ликвидации пропаганды, напротив, я говорил о сочетании обеих форм, но и о переходе от кружковой пропаганды к работе

в массах, вот в чем гвоздь, Герман Борисович,— методы, масштабы, не подменяйте мой тезис иным».

Герман вспыхнул: «Вы хотите сказать, что я передергиваю, товарищ Ульянов? Извините, но прибегать к недостойным приемам полемики — свойство, никак не присущее мне, скорее уж...» — «Договаривайте, договаривайте,— отозвался, бледнея, Ульянов.— Нет-с, батенька, вы вправе попрекнуть меня резкостью, однако не применением недозволенных приемов». — «Я не хотел вас лично задеть,— сказал Красин.— Позвольте, однако, иметь и мне суждение собственное, тем более решается вопрос не текущий, а программного, так сказать, характера».

«Безусловно, так! — Степан Радченко вскочил, казалось, вот-вот грохнет кулаком, горяч не в меру, подумал Василий.— Герман сказал не все! При такой постановке дела, какую предлагаете вы, Владимир Ильич, переход к агитации в массах неизбежно повлечет за собой преждевременное изъятие, возможно, гибель рабочих-передовиков. Во имя чего мы должны жертвовать, допустим, Шелгуновым, Меркуловым, Бабушкиным?».

Это лишку хватил, подумал Василий, попросил у Ванеева слово. Ульянов глянул нетерпеливо и, показалось Шелгунову, недоверчиво: пока ведь спорили одни интеллигенты, а рабочие помалкивали...

«Мне странно, Степан,— сказал Василий,— получается некрасиво даже, опять деление: мы, они... Я не раз тебе и другим говорил: выглядит как противопоставление рабочих интеллигентам. И в словах твоих снисходительность какая-то: дескать, почему же мы, интеллигенты, станем, какое имеем право... Да мы-то что, малые дети? Как-нибудь сами за себя решим — рисковать, не рисковать. Ты у нас не спрашиваешь, идти тебе в кружок или нет. Приходишь — мы берем ответственность за безопасность, за конспирацию. В остальных случаях ты сам за



себя отвечаешь... А по сути... Конечно, ты, Степан, пограмотней, однако хочу тебе напомнить слова Плеханова о том, что пропаганда дает много идей небольшому кругу лиц, агитация дает одну идею, зато — массам. Правильно я запомнил?» — «Правильно, правильно, — поддержал, опередив Радченко, заулыбавшийся Ульянов, — и вообще вы абсолютно правы, Василий Андреевич».

«Это еще как сказать, — взвился вдруг Бабушкин. — Я тоже частично против широкой агитационной деятельности. Потопим кружки, а какие плоды агитация даст — еще бабушка надвое сказала». — «Не бабушка, а Иван Бабушкин», — вставил Шелгунов, друг его поглядел непонимающе, остальные, радуясь разрядке, посмеялись нехитрому каламбуру.

«Именно так, поддерживаю Бабушкина, — сказал Радченко, — я тоже опасаясь ликвидации кружков. Меня Сильвио окрестил хранителем наших тайп, громко сказано, конечно, однако позвольте такой оценкой гордиться. Мне кажется, в конспирации толк понимаю и за свою шкуру не трясусь».

В чем не откажешь Степану, в том не откажешь, думал Шелгунов. Но ведь никто не уполномочил его решать — быть, не быть кружкам.

Заговорил Зиновьев, так медленно, что казалось, будто заикается, хотелось его подтолкнуть: «Думаю, что Степан Иванович ставит проблему с ног на голову. Кружки потому так и называются, что охватывают узкий круг лиц, они сейчас не выражают интересов рабочего движения в целом и потому, что узкие, их полиции как раз легко и обнаружить. Вот если мы направим силы на агитацию всей массы рабочих, то нас и выловить будет среди массы трудней». — «Предлагаете, милостивый государь, в массах раствориться», — иронически вставил Красин. «Ирония ваша ни к чему, — сдержанно отвечал Борис, — я не милостивый государь, а товарищ, с вашего позволе-

ния». — «Обидеть не желал, — поправился Герман, — однако именно к моему выводу и можно прийти на основании ваших рассуждений».

«Да бросьте вы, — резко прервал Ульянов, — просто мучительно, до боли стыдно, что в исторический момент мы оказываемся кустарями-одиночками, горько слушать тех, кто «позорит революционера сан», может, Герман Борисович снова попрекнет за недозволенность выражения? Наша задача — не принижать революционера до кустаря, но поднимать кустарей до революционеров! Думаю, достаточно прений, позиции выяснены. Предлагаю проект резолюции, достаточно краткий: не отказываясь от пропаганды марксизма в кружках, приступить немедленно к широкой агитации среди рабочих на основе их насущных экономических и, подчеркиваю, также политических требований».

«Я не согласен, — сказал Красин. — Не могу согласиться!» — «Я тоже», — сказал Радченко.

Расходились, как полагается, поодиночке. Однако на углу, недалеко от конки, Шелгунов догнал невзначай Крупскую и Ульянова. Хотел пройти мимо, помня про конспирацию, но Владимир Ильич окликнул по имени-отчеству, в переулке было пустынно.

«Знаете, Василий Андреевич, — сказал Ульянов тихо, — мы сегодня приняли решение огромного размаха. Архиважное. Я нимало не сомневаюсь, оно будет способствовать развитию и организации рабочего движения в государстве, преобразованию этого движения. От разрозненных, лишенных идеи бунтов — в организованную борьбу рабочего класса. Не одиночек, а всего класса». — «Владимир Ильич, — сказал Василий, — у нас товарищ есть, Фишер...» — «А, да, знаю, знаю, — подхватил Ульянов. — Развитый и весьма умный человек, европейского, я бы выразился, склада, жаль, арестован». — «Я вот к чему вспомнил, — сказал Шелгунов. — Он хоро-

шие слова придумал: агитатор — это спичка, что может взорвать пороховой погреб, а пропагандист — рука, которая спичку изготавливает». — «Правильно, — согласился Ульянов. — Каково, Наденька?»

Впервые он так ее назвал при Шелгунове... «А по-моему, агитация — это разновидность пропаганды, в которой теория особенно тесно увязывается с практикой», — откликнулась Крупская, и Ульянов посмотрел одобрительно и ласково.

### 3

Городов этих было два.

Был Санкт-Петербург, украшенный архитектурными ансамблями, дворцами, монументами, набережными, мостами, — все это, взнесенное «из тьмы лесов, из топи блат», порожденное и гением художников, и трудом неизвестных российских мастеровых, поставленное на костях десятков и сотен тысяч мужиков, радовало глаз и веселило сердце, вызывало гордость соотечественников, восхищение и зависть иностранцев, запечатлевалось в бесчисленных полотнах и гравюрах, воспевалось прозой и стихами, воспроизводилось в театральных декорациях, медалях, украшало переплеты и страницы книг...

Оставался незапечатленным и певоспетым другой, попросту Питер, он существовал в тех же пределах, но как бы сам по себе, несхожий с величавой столицей, рабочий Питер, приземистый, закопченный, ревущий заводскими гудками, содрогающийся от грохота паровых машин, пахнущий гарью и постными щами, по воскресеньям хмельной, в будни озлобленный, измотанный, усталый, чумазый Питер. Не Санкт-Петербург Невского и Летнего сада, Марсова поля и Медного всадника, Аничкова моста и Гостиных рядов, а Питер Галерной гавани и Чекушей, Большой и Малой Охты, острова Голодай и Ямской сло-

боды, Невской и Московской застав, Шлиссельбургского тракта, верфей, лесоторговых складов, гигантских заводов, рабочих казарм, трущоб, кабаков, смрадных речушек, наподобие Таракановки, вонючих скотобоев и свалок.

И если тот, парадный и блистательный, как бы застыл в своем почти непостижимом величии, если проспекты его, площади, дворцы и особняки, то плотно притертые друг к другу, то вольно раскинутые среди зелени, почти не менялись в неподвижности, то второй, неприглядный, краснокирпичный и деревянный, в девяностые годы начал расти с поразительной быстротой.

Экономический кризис восьмидесятых миновал. Наступило время небывало стремительного взлета столицы. В центральных кварталах, расталкивая плечами барские особняки, на глазах изумленных горожан возникали деловые здания промышленных фирм, банков, контор, возводились первые доходные дома только что зародившегося стиля модерн.

С 1866 по 1894 год число заводов и фабрик увеличилось в два с половиной раза, теперь здесь было 23 крупнейших предприятия, на каждом из них трудилось свыше тысячи человек. Складывался промышленный пролетариат. Формировались постоянные рабочие кадры, они отличались высокой квалификацией, повышалась производительность труда.

«Среди рабочих...— писал В. И. Ленин,— выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на оупляющую каторжную работу на фабрике,— находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию»... За численно небольшим слоем передовиков идет широкий слой средних рабочих».

Вместе с численным ростом пролетариата, ростом его сознательности множилось, углублялось и недовольство. Варыв мог произойти в любом рабочем районе столицы, по всякому поводу...

#### 4

Спускался тяжелый, мрачный питерский вечер. Был сочельник, канун рождества. В поселках на Шлиссельбургском пахло вкусной едой. На прибереженные полтинники, рубли, червонцы закупали провизию. Всенепременно полагалось к рождественскому столу подать гуся, начиненного либо кашей, либо яблоками, полагалось наварить холодца, напечь пирогов с капустой, с луком и яйцами, с грибами, с мясом, а кое-кто исхитрялся даже с вязигою, совсем как у господ. Полагалось, конечно, выставить водки столько, что ею можно бы свалить и слона. Праздник! Рождество Христово! Невская застава готовилась гулять.

Готовились, понятно, и те, кто работал на предприятии с длинным пазванием «Невский литейный и механический завод Семянникова и Полетики», а проще — Семянниковском. Завод этот строил военные корабли и паровозы, выпускал снаряды и чугунное литье, работало здесь до трех тысяч человек, и за пятнадцать последних лет семянниковцы не раз огорчали власти своим непокорным поведением, забастовки тут были отнюдь не редкостью. Тут Виктор Обнорский и Степан Халтурин зачинали «Северный союз русских рабочих», тут существовала затем ячейка «Народной воли». Тут стоял у станка Тимофей Михайлов, впоследствии повешенный вместе с Желябовым и Перовской... Сейчас на заводе работал Иван Бабушкин...

...Иван прибежал к Шелгунову без шапки, параспах. «Давай поскорей, по дороге расскажу...» Сбивчиво рас-

сказывал: «Выдали вчера книжки расчетные, отпустили по домам, велели за деньгами являться с утра... Сегодня ждали час, другой, третий, а кассу не открывают. Разговоры знаешь какие — кому провизию купить не на что, кто в деревню собирался погостить... Словом, кто про что, всяк про свое. А тут вдруг слух, что денег вовсе не дадут ни сегодня, ни завтра, дескать, после праздника только... Ну, и... В общем, давай пошибче, Вася, никак быть шуму...»

Заводской двор — яблоку негде упасть. Втиснулись кое-как. Бабушкина узнавали, уступали путь. Прислушались: ясное дело, ругают уже не конторщиков, а хозяев, словечки одно другого забористей. Кое-кто из кучи угля выбирал покрупнее куски. Шелгунов с Бабушкиным поторопились туда, стали уговаривать, их покуда что слушались, но куски прятали по карманам, за пазуху. «Листовочку бы», — шепнул Бабушкин. «Впору бы, да где взять», — отвечал Василий. Толпа медленно колыхалась, перемещалась, на дворе темнело, и слышалось, как за воротами собираются еще и еще люди. А толпа передвинулась явно в определенном направлении, к одноэтажному длинному дому, где жил ненавистный всем управляющий... «Ох, начнется, Вася», — шепнул Бабушкин, — не удержать».

Началось не здесь, а за воротами. Послышался звон стекла, деревянный треск — громили пропускную будку. В заводские ворота полетели камни, палки — метили по фонарям, в распластанного поверху гербового орла. Фонари гасли один за другим, ворота выломали, толпа загустела и теперь уже не медленно, а столь стремительно, сколь было возможно, кинулась к дому управляющего... «Керосину! Керосину давай!», «А где взять?», «И так схватится!», «А вон фонари еще целехонькие, в них керосину полно!», «Лезь на столбы!», «Постойте, ребята, этак не гожо!», «Все гожо, над нами издеваться — гожо?»

У крыльца сыпали стружки, поливали керосином. «Стой, ребята!» — просил Шелгунов. «Уйди, борода!» — отвечали ему. Василий встал у кучи стружек, вонявших керосином, кричал: «Не позволю!» Рядом громили заводскую лавку, Шелгунов знал, как она всем опостылела, везде одинаково: вместо мяса дают кости, не хочешь брать — ага, супротивничаешь, известим контору, получай расчет... Дверь лавки вышибли, кидали оттуда банки варенья, они хлопались на голый, вытоптаный булыжник, разлетались, обагривая грязный снег...

«Р-р-раз-зойдись! Марш по местам! Смирно стоять!»

Теперь толпа застыла молча, и напротив — ряд, плотный, как стена, ретивые кони ноздря в ноздю, казаки с обнаженными шашками, впереди офицер, кажется, подполковник, или, вспомнил Шелгунов, у казаков называется войсковой старшина. Шашку он держал «подвысь», вот-вот опустит, дав тем самым знак, и вся эта орда ринется топтать копытами, сечь пагайками, рубить шашками...

Но придумали другое.

В разверстые ворота влетели — дым из ноздрей, искры из-под копыт, звери зверьми, рыжие, осатанелые, — жеребцы, парами запряженные в пожарные трубы, много соскочили, сверкая касками, пожарные солдаты, начали разматывать поливные рукава, устанавливать помпы. Выставился вперед полицейский генерал, приставил рупором ладони, загудел: «Пра-ашу миром разойтись, пра-ашу, не то станем водой обливать». А мороз — градусов двадцать. И толпа молчала, не веря в такое зверство, и боясь его, и испытывая облегчение: вода не шашка, — но тут ударил всеми струями, сколько их было, вода сшибала с ног, моментально замерзала, одежда превращалась в ледяную, кинулись кто куда, падающих топтали... С Рождеством Христовым вас, трудящиеся-семянниковцы!

«...Пожалуй, Ивапу Васильевичу лучше, он обстановку на заводе знает в подробностях». — «Что ж, Василий Андреевич, в словах ваших есть резон, однако сперва давайте сообща восстаповим общую картину забастовки, а точнее сказать, волнения.. Не понимаю, кстати, почему, когда события назревали, никто не известил Центральную группу, ведь с утра было ясно, что обстановка накаляется, и можно было попытаться эти волнения превратить в стачку, притом политическую». — «Да, Владимир Ильич, — согласился Шелгунов, — тут мы дали маху». — «Хорошо, упущенного не вернешь, итак, давайте сперва обрисуем общую картину. А листовку мы напишем совместно с Иваном Васильевичем, попросим Гуцула (он привычно обозначил этим прозвищем Петра Запорожца), — может, удастся оттиснуть на гектографе... Вы не против сейчас же поехать к нему, Василий Андреевич?»

Ехать Шелгунову не хотелось, жаждал тоже вместе с Ульяновым составлять листовку, но что поделаешь, надо, — значит, надо... Готового гектографа у Запорожца не оказалось, но, пока Василий ездил, на всякий случай Ульянов и Бабушкин успели переписать в четырех экземплярах. Наутро Шелгунов и Бабушкин рассовали листовки по заводу, в ретирадах, две сразу же подобрала стража, но две, сами видели, пошли по рукам. Первая листовка!

## 5

Август, а затем начало сентября 1895 года запомнились Шелгунову изрядными событиями, которые прямо коснулись его.

В Лондоне, совсем немного не дожив до семидесяти пяти лет, умер Фридрих Энгельс. Питерские рабочие решили собраться на траурную массовку. В кружке постановили: речь будет держать Василий Андреевич.

«Манифест Коммунистической партии» он читал и прежде и хранил у себя, вынул из тайника, выписал на



листок несколько выдержек. Составил, как учил Владимир Ильич, план речи. Волновался крепко: впервые доводилось выступать главным оратором.

Сошлись на том берегу Невы, напротив Ямской слободы, в лесу позади монастыря Кеновей. Место захолустное, полиции неподглядное. Открывая массовку, Бабушкин вдруг представил Шелгунова так: голова рабочего движения. Вообще-то Василий на похвалу был падок, но тут показалось уж чересчур. После, наедине, Ивана отругал, тот посмеивался, говорил: «А что ж ты на сходке промолчал, надо бы сразу меня поправить, вижу, вижу, что радехонек». Едва не поссорились. Но Иван почуял грозу, похвалил без подначки: «Правда, Вася, я там не шутил. И речь ты сказал хорошую, жалко, народу маловато. Но это начало ведь...»

Вскоре Шелгунову досталось от центрального кружка еще одно ответственное поручение: наладить новую конспиративную квартиру для занятий. Ждали Ульянова, он весной уехал за границу. Надеялись, что после его возвращения оживится вся работа, в ней как бы наступили временные, летние вакации. Подходящая, как всем показалось, квартира нашлась в Прогонном переулке, 16, занимал ее семянниковец Семен Афанасьев. Недалеко от железнодорожной станции Обуховской, удобно добираться с Николаевского вокзала, и улица небойкая, и народ кругом свой, рабочий. Комнату сняли на имя Никиты Меркулова, он туда и переселился. Образовался как бы рабочий клуб или штаб, как для важности окрестил Шелгунов, он приходил сюда не реже двух раз в неделю. Почти всякий вечер забегал Бабушкин. Собирали сведения о положении дел на заводах и фабриках, готовились к осенним занятиям. Наведывались Глеб Кржижановский, Василий Старков, Константин Тахтарев, иногда читали короткие лекции, но это — вроде репетиций. Дожидались Ульянова — чего-то привезет из-за границы? Может,

успел и Энгельса повидать? Тот, слышали, болел недолго, почти до последних дней находился в добром здравии.

Пока суд да дело, неугомонный Кржижановский предложил, чтобы временно руководителем кружка стал студент-медик Николай Георгиевич Малишевский, привел познакомиться. Бабушкину и Шелгунову не понравился: человек, видно, деликатный, учтивый, но сразу поняли, что далек от рабочей жизни, от самих рабочих. То сынал иностранными словами, то вдруг впадал в нарочитую простоватость, как бы азбуку втолковывал. «Мы,— сказал Шелгунов Глебу напрямую,— уже сами ходим с Марксом под мышкой...» Кржижановский спорить не стал, новый лектор больше в кружке не появлялся.

Зато активного товарища приобрели в лице хозяина квартиры, Семена Афанасьева. Правда, суматошен малость — Шелгунов не любил в мужиках суетливости,— но зато проворен, быстр на ногу, всегда готов на подъем — собрать, разузнать, раздобыть, чего надо. И любознателен — все на лету схватывает. И молчалив при этом. И не пьет вовсе.

1895 год. Организованы социал-демократические кружки в Борисоглебске и Козлове (Тамбовская губерния), Костроме, Красноярске, Ростове-на-Дону, Уфе, Шуге (Владимирская губерния), Ярославле, в Юрьевском университете (город Юрьев, он же Дерпт, Лифляндской губернии).

Полицией захвачены подпольные типографии, арестованы социал-демократы в Москве и Варшаве.

В столичный цензурный комитет доставлена отпечатанная без предварительного разрешения в типографии П. П. Сойкина книга «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Основу ее составила работа «Экономическое содержание народничества и кри-

тика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе)», подписанная — К. Тулин. Это была первая легально изданная печатная работа Владимира Ильича. В докладе цензора говорилось, что статья К. Тулина представляет наиболее откровенную и полную программу марксистов. Книга была уничтожена. Однако сотню (из двух тысяч) экземпляров удалось похитить из типографии, нелегально доставить в Варшаву, Казань, Томск, Архангельск и другие города.

Бастовали — с эконо<sup>м</sup>ическими требованиями — рабочие Никольской и Резвоостровской мануфактур в Петербурге.

«Результатом... деятельности социал-демократов были... волнения на петербургских фабриках и заводах и рас-пропагандирование многих рабочих, среди которых социал-демократы нашли себе деятельных сотрудников. В этом отношении, по данным наблюдения, в особенности выделялись рабочие: Василий Шелгунов, Иван Яковлев (из-за Невской заставы), Василий Аптушевский, Борис Зиновьев и Петр Карамышев (из-за Нарвской заставы) и Петр Кейзер (из Колпино)... 3 сентября была устроена общая сходка под видом прогулки вверх по Неве на пароходе «Тулон», в которой деятельное участие принимал... чиновник... Пантелеймон Лепешинский. Устроитель... кружка Шелгунов... выступал в роли руководителя рабочих при против<sup>о</sup>правительственной пропаганде и участвовал на сходке на пароходе «Тулон». — Из «Доклада по делу о возникших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 годах преступных кружках лиц, именующих себя социал-демократами».

### *Глава седьмая*

У полиции на примете он был с казанских еще времен, чуть не за каждым шагом следили, потому ~~разрешения~~ на выезд в Европу могли не дать,

но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тяжело захворал — воспаление легких, — и оказался официальный повод совершить путешествие за границу: отдохнуть и поправить адоренье. Со скрипом заработала полицейская машина, писали бумаги снизу вверх и сверху вниз, но паспорт выдали. Владимир Ильич был счастлив: давно мечтал познакомиться с Плехановым, считая его самым выдающимся российским марксистом, мечтал завязать деловые отношения с группой «Освобождение труда», полагал, что именно там, за рубежом, наладится печатание марксистской литературы... Перед отъездом на совещании у Сильвина решено было сделать н а с л е д н и ц е й Надежду Крупскую, как наиболее ч и с т у ю перед полицией. Собирались у Михаила Александровича под видом празднования пасхи, говорили паки и паки о конспирации, о разграничении функций между членами группы, о связях, о явках, об отдельных даже вроде и мелочах: как писать молоком между строк, допустим.

Отправился в путь он 25 апреля, его провожали донесения петербургского градоначальника и циркуляры департамента полиции, провожали до границы и за ее пределы, но все обошлось благополучно. Первого мая рубеж России он миновал, на два часа задержался в австрийском городе Зальцбурге. Впервые он оказался на чужой земле, оглядывал ее жадно, вдыхал воздух, казавшийся непохожим на свой, родной, привычный, вслушивался в речь, попятную и при том чуждую, непривычную, с другими, не теми, выученными интонациями. Прибыл в Лозанну, далее побывал в Женеве, Цюрихе, Париже, Берлине... Познакомился с Георгием Валентиновичем Плехановым, тот вскоре сообщал в частном письме: «Приехал сюда молодой товарищ, очень умный, образованный и даром слова одаренный. Какое счастье, что в нашем революционном движении имеются такие молодые люди!..»

Себя Плеханов ощущал, видимо, старым: ему шел сороковой год... Встречался с членом группы «Освобождение труда» Павлом Борисовичем Аксельродом, с зятем Маркса Полем Лафаргом, с Вильгельмом Либкнехтом... Беседовал с русскими социал-демократами А. М. Воденем и А. Н. Потресовым, договорился о постоянных контактах с плехановской группой, загрузил нелегальной литературой чемодан с двойным дном... На обратном пути завернул в Вильно, затем Москву и Орехово-Зуево. О возвращении его на родину отрапортовало Вержболовское пограничное отделение полиции: «По самому тщательному досмотру его багажа ничего предосудительного не обнаружено». Господа полицейские обмшурились: в чемодане предосудительное было.

# 1

Под вечер тридцатого сентября — только Шелгунов пришел с завода, еле успел помыться и поесть, собирался к Меркулову — объявился Анатолий Ванеев, с одышкой, лицо в нехороших пятнах (не знали еще, что у него начинается чахотка). Сбросил студенческую шинель на табурет, принялся выкладывать новости.

Вчера приехал Ульянов и чуть не прямо с вокзала — к Ванееву, там сидел уже технолог Яков Пономарев. Владимир Ильич долго расспрашивал, что было тут за пять месяцев, прежде всего интересовался рабочими кружками. Сказал, что на квартиру в Казачий ехать не решился, в поезде обыскивали, там обошлось, но рисковать не стоит, надо менять обитель. Пономарев предложил комнату своих знакомых, угол Садовой и Таирова переулка, тут же наняли извозчика, перевезли вещички. А сегодня с утра Ульянов с Пономаревым ходили по рабочим жилищам, были в доме 139 по Невскому, и Владимир Ильич просил передать, что со дня на день должен быть

у вас, доложит о поездке, так что надо готовиться, предупредить товарищей...

...Глядя на Владимира Ильича, пока тот здоровался с остальными, обменивался первыми фразами, Шелгунов примечал, как изменился за эти месяцы Ульянов. В нем окончательно, кажется, окрепла твердая, глубокая уверенность в себе. Если прежде Василий примечал, будто в олжанин держится среди рабочих с некоторой приглядкой, как бы нащупывая линию поведения, примериваясь, иногда помалкивая больше, чем говоря, — теперь было совершенно ясно: этот человек полностью оформился, ему чужды колебания и сомнения, силой и волей веяло от каждого слова, жеста, от всей фигуры.

Был Владимир Ильич в превосходном настроении, речь начал шутливо. Рассказал, что при встрече с Полем Лафаргом объяснил ему, как после популярных лекций наши рабочие принимаются штудировать Маркса. Собеседник очень удивился: «Русские рабочие — Маркса? И понимают?» — «Представьте себе, да». — «Ну, знаете, — отвечал ехидный француз, — вот в этом, коллега, вы ошибаетесь, ничего не понимают они, у нас после двух десятилетий социалистического движения Маркса никто не понимает».

«А я, — продолжал Ульянов, — ему привел ваши, Василий Андреевич, слова, в том смысле, что вы ходите с Марксом под мышкой».

Посмеялись. «Кстати, — сказал Владимир Ильич, — поскольку, Василий Андреевич, вы у нас за Невской заставой вроде чрезвычайного и полномочного посла, вот и прошу известить нас о положении дел».

К сообщению о положении дел Василий приготовился после беседы с Ваневым, знал и не только о своей заставе, загодя переговорил с товарищами, имел сведения по всем районам, картина получалась внушительная: опорные пункты агитации созданы на семидесяти фабри-

ках и заводах города. Ульянов попросил предприятия перечислить, что-то быстро прикидывал на бумажке, и, едва Шелгунов закончил, Владимир Ильич, извинившись, его остановил. «Вот,— сказал он,— что получается, товарищи. Под нашим воздействием из перечисленных Василием Андреевичем сейчас двадцать три предприятия-гиганта с числом рабочих в тысячу и более. А вся главная сила нашего движения — в организованности рабочих именно крупных заводов, и дело тут не в одной лишь численности, а в том еще, что именно там занята самая преобладающая по влиянию, по развитию, по способности к борьбе часть рабочего класса. Это весьма и весьма от-  
радно, товарищи!»

А потом Владимир Ильич подробно рассказывал о поездке, о встречах с марксистами, говорил о том, что поездка за границу дала ему очень многое... Повстречался со значительными людьми. По мере сил уча здесь своих товарищей-рабочих, он и сам учился у них и, кажется, это знание с р е д ы в какой-то мере передал и Плеханову, оторванному от Родины, и в разговорах с Георгием Валентиновичем имел возможность проверить свои мысли, оценить их как бы со стороны, и это еще и еще укрепило его в убеждении: мы идем правильной дорогой!

Слушали внимательно, как и всегда, нет, с б ó л ь ш и м, разумеется, интересом — впервые видели русского человека, побывавшего за границей, в Европе! И даже зубной врач Михайлов, в общении говорливый, а на собраниях молчун, и тот вдруг взял слово и горячо поддержал Владимира Ильича. Редко выступал Михайлов, и Василий порадовался, что даже его Ульянов р а с ш е в е л и л.

## 2

Вскоре у Степана Радченко, на Выборгской стороне, по Симбирской улице, состоялся другой п о в о р о т н ы й разговор. Миша Сильвин это собрание назвал однажды

конституционным, он любил давать всякие определения.

Идя на Симбирскую улицу — Радченко туда переехал недавно, после женитьбы, — Василий знал, о чем предстоит беседа: объединение с одной из социал-демократических групп, а именно с группой Мартова. Как и остальные, Шелгунов, естественно, помнил критику Владимира Ильича виленской брошюры «Об агитации», но понимал и то, почему сейчас Ульянов настаивает на сближении с Мартовым (тот после ссылки вернулся в Петербург). Прежде всего, литературы не хватало! Доходило до того, что вместо пужных, пропагандистских, книг раздавали рабочим рассказы детской писательницы Елизаветы Водовозовой, поскольку там хоть что-то говорилось о горемычном житье-бытье, а то и книгу историка Петрушевского, прямого отношения к вопросам социализма вообще не имеющую. Силы для того, чтоб написать собственные брошюры, конечно, имелись, но все упиралось в технику. А Мартов располагал прочными связями с границей, оттуда получал и книги, и журналы, и газеты. Далее, Владимир Ильич считал необходимым объединять все социал-демократические группы столицы. И наконец, рассказывали Сильвин и Надежда Константиновна, при личном знакомстве Мартов понравился Владимиру Ильичу, и приглядчивый, осторожный Ульянов, говорили, теперь испытывал к недавнему оппоненту прямо-таки нежную симпатию, а Мартов, до крайности впечатлительный, моментально подхватывал мысли нового товарища, умел развивать их, притом талантливо.

Как водится у новоселов, Степан Иванович и Любовь Николаевна каждому приходящему показывали жилье — две светлые высокие комнаты, просторная кухня. И, как водится, на узорчатой скатерти накрыто к чаю. Квартиру хвалили, хозяйка цвела маковым цветом, радовалась, что выбор одобрили.



Тут Шелгунов познакомился с Мартовым. Очень подвижный, непоседливый. Удлиненное лицо, несколько необычная прическа — на лоб кинута челочка, в тонких золоченых очках, с аккуратной, квадратиком, бородкой, он и в самом деле производил благоприятное впечатление. Шелгунов подсел поближе. Мартов говорил: «За мною и Ляховским — большая группа интеллигентных сил, они вполне могли бы составить свою организацию, но при этом мы, так же как Ульянов, противники кружковой раздробленности, предпочли бы слиться с более старой и зрелой группой». Шелгунова резануло выражение: «За мной и Ляховским». Как-то не принято было у них подчеркивать собственное Я. Но, подумал Василий, у каждого свои особенности, надо мириться с ними, тем более что Мартов, похоже, всем по душе пришелся и ратует за объединение.

Разговаривали, покуривали, тут Шелгунов обратил внимание: вот какая странность — собрались только интеллигенты! Радченко, Запорожец, Старков, Ванеев, Сильвин, Якубова, Зинаида Невзорова, Пономарев, Александр Малченко, Кржижановский... Из новых — Мартов и Ляховский, еще двое, фамилий не знал, спросил у Михаила, тот шепнул: Гофман и Тренюхин, фамилии ничего не говорили... Ждали еще Ульянова, он против обыкновения запаздывал... Итак, пятнадцать интеллигентов налицо, придет еще один. А из рабочих — Шелгунов, и точка! Как понимать прикажете?

Первое побуждение было встать, хлопнуть дверьми. Василий знал за собой особенность — человек он мягкий, но, случается, во гневе как бы теряет рассудок на секунды, ничего не соображает, не помнит себя. Однажды мастер-немец стал придирааться, мол, деталь вытачиваешь неправильно, Шелгунов знал, что работает по чертежу, но смолчал, мастера это подчеркнутое пренебрежительное безмолвие взбеленило пуще любого возражения, пропел: «Russisches Schwein». Уж эти слова всякий рабочий знал:

«Русская свинья!» А дальше Василий помнит вот что: белая стена, к ней прилепился мастер, лицо бледнее стенки, а в толстом слое штукатурки, словно молотком вбитая, застряла та самая деталь, которую вытачивал, еще бы вершок правее — и торчала бы она в голове мастера, и греметь бы Васе кандалами...

Но иной раз приближение таких припадков гнева Шелгунов чувствовал, одергивал себя. Преодолеет и теперь. Пошел в прихожую, по дороге попросил хозяина квартиры выйти на два слова.

Спросил Степана в упор: «Что происходит? Почему такой состав совещания? Почему одни вы?» — «Кто это — вы?» — переспросил Радченко. «Не придурайся, господин инженер, — сказал Василий, — отлично понимаешь, отвечай напрямую, без уверток». Тут и Степан закусил удила: «Изволь, отвечу напрямую. Я и прежде не скрывал свою позицию. Считаю, что, если ввести рабочих в руководящий центр, это может привести к провалу. Интеллигентов мы знаем лучше, сумеем надлежаще оценить и вовремя разгадать. И прошу запомнить: порядочность я считаю первейшим качеством истинного интеллигента. Порядочность и отсутствие национальных предрассудков».

Вот как заговорил. И в самом деле, напрямик, подумал Шелгунов, огрызнулся: «Выходит, провокаторы только из рабочих? По-твоему, порядочность лишь интеллигентам присуща? Лихо закручиваешь, не зря тебя господином сейчас назвал. Барство это, Степан, и чистоплюйство. Если так, я поворачиваю оглобли».

Радченко покашлял, сбавил тон: «Послушай, Василий, ссориться ни к чему. На занятия рабочего кружка вы же не зовете всех нас, а только единственного лектора. Так и здесь». — «Здесь не занятие, — возразил Шелгунов, — насколько понимаю, будет решаться вопрос принципиального характера, и представительство надо бы иметь

равное. Иначе получается: вы наверху, а мы — в повиновении, опять нам второстепенная роль».

Звякнул звонок. Ульянов, возбужденный, принялся, раздеваясь, рассказывать: «Увязался, знаете ли, за мною хвост. Да так увязался, каналья, ни на шаг не отступает. Я петлял-петлял в переулках, вроде бы оторвался наконец и тут же увидел спутника в глубокой подворотне, он там затаился. Я тотчас — в подъезд того же дома. Вижу — выскочил мой хвостик наружу, мечется бедняга: упустил. А я сел в кресло швейцара и за ним, за гороховым пальто, наблюдаю. Спускается по лестнице человек и, вполне вероятно, принял меня за рехнувшегося: помилуй бог, сидит некий господин в кресле швейцара и хохотезаливается. Чем не приключение, а?»

Шелгунов улыбнулся, Радченко же строго выговорил: «Владимир Ильич, сколько можно вам напоминать об осторожности...» — «В данном случае, батенька, я был, напротив, архисторожен, — виновато возразил Ульянов, — настолько, что, прошу покорно извинить, опоздал непозволительно...» Отшутился и стал моментально и собранным и серьезным. Удивительный человек, в который раз подумал Василий.

И за столом Ульянов был предельно деловит. «С кустарщиной, с кружковщиной требуется покончить решительно и бесповоротно, — говорил он. — Архиважная задача — централизация всей работы, создание руководящего центра, четкое распределение обязанностей между его членами, организационное оформление нового наисущественнейшего звена — районных рабочих групп, ибо Центральный рабочий кружок, созданный Брусневым, давно потерял прежнее значение, он лишь рудиментарный остаток... Нужны единое руководство, отчетность, дисциплина, конспирация!»

Вот сейчас — не то, что в разговоре с Радченко! — Василий не мог бы возразить ни словом, пускай Ульянов

не слишком-то уважительно их кружок назвал рудиментарным. А и в самом деле, думал Шелгунов, оно так, ведь кружок остался лишь в памяти, давно большинство его членов занимается работой по своим районам, притом каждый сам по себе, нанодобие лебедя, рака и щуки.

Разгорались дебаты.

То и дело запуская пятерню в могучую шевелюру, кипяťясь, по обыкновению начал Радченко: «При такой организации, как предлагает Владимир Ильич, районы — а иными словами, наши рабочие — будут простыми исполнителями, а не равноправными участниками движения, они окажутся разобщены, вся реальная власть очутится в руках предлагаемой Владимиром Ильичем руководящей тройки, это похоже на диктатуру вождей, а не истинную демократию, каковой мы добиваемся в государстве и которая прежде всего должна появиться в паших собственных рядах».

От изумления Шелгунов едва рот не разинул: ведь полчаса назад Степан выражал недоверие к рабочим, а теперь противоречит себе же. Ишь, разошелся, голубые глаза стали аж зелеными от злости.

Ульянов слушал спокойно, только изредка выдавал свое гм-гм, Василий знал этот признак его волнения. И тут Шелгунова опять осенило, как в прошлый какой-то раз: вот в чем главная сила Владимира Ильича, преимущество перед остальными — твердо понимает, чего хочет, как достичь. Ясность цели. Понимание средств к достижению цели. Невероятная воля в борьбе. И — к борьбе. Вот он — Ульянов! Долго, слишком долго, думал Василий, мотались мы «без руля и без ветрил» ...У Лермонтова там «хоры стройные» в океане, а у нас какой там к черту хор, сплошная разногласица. Корабль без капитана был, да еще с неопытными матросами...

«Вы кончили, Степан Иванович? — спросил Ульянов

с учтивостью, слегка насмешливой, поднял сшибленную Радченкой со стола чайную ложку. — Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? В России, в наших условиях, Степан Иванович, ваш, извините, первобытный демократизм немислм и невозможен. Демократия, конечно, вещь хорошая и необходимая, однако в зависимости от места и времени. В обстановке преследований, в условиях кружковщины и раздробленности нам требуется организация! А организация, как таковая, еще отнюдь не обозначает недоверия к кому бы то ни было... Немыслимо движение без организации, немислма организация без руководства, невозможно руководство без дисциплины».

«К слову, а сам-то наш борец за демократию весьма привык к порядочному единоначалию», — шепнула Надежда Константиновна сидевшей рядом Зинаиде Невзоровой, услышали многие, Радченко поднял руки, сказал: «*Ich kapituliere*». — «А точнее, — все еще сердито поправил Ульянов, — подчиняетесь дисциплине, ибо капитуляция есть действие вынужденное, мы же требуем дисциплины сознательной. Ваше мнение, Василий Андреевич?»

Не колеблясь Шелгунов сказал: «Предложение правильное. Меня, правда, не уполномочили говорить от имени товарищей-рабочих, но, я думаю, сумеем убедить, если кто засомневается».

Без прений выбрали руководящую тройку: Кржижановский, Старков, Ульянов (вскоре в этот центр кооптировали Мартова и Ванеева). Утвердили районные группы: Невскую, Московско-Нарвскую, Заречную. Распределили другие поручения: финансовые дела, ответственность за технику подполья, за связи с типографией народовольцев. Решили, что районы каждую неделю отчитываются перед тройкой, а раз в месяц собираются все, обмениваются сообщениями.

«Подобьем бабки,— сказал довольный Ульянов.— Я думаю, что получается как раз то, что нужно: комитет, двадцать — тридцать рабочих кружков плюс еще сотня-полторы связей. Мне думается, товарищи, это и есть зачаток революционной партии! Да, партии, которая опирается на революционное движение, руководит пролетариатом на основе соединения социалистической и демократической борьбы!»

Стаканы и чашки с чаем подняли, как бокалы, чокнулись.

«Но,— добавил Владимир Ильич,— агитационные листки наши — делопреважное, как начальная форма, однако необходима газета, притом не узко местного и не экономического характера, а такая, что могла бы соединить стачечную борьбу с революционным движением».

Редактором будущей газеты выбрали его.

Прощаясь, Радченко сказал Шелгунову: «И все-таки, подчинившись общему суждению, я остаюсь в чем-то при своем. Приглашу рабочих, выскажу свою точку зрения. Нельзя, чтобы районы оставались только исполнителями». — «Не понимаю,— сказал Шелгунов,— сперва ты мне здесь, у двери, говорил одно, в совещании — другое, после — согласился с большинством, теперь возвращаешься на круги своя. Не замечал за тобой прежде такого, извини, круговерчения. Не прав ты, и нечего апеллировать к массам...» Сказал так и подумал: «Засмеется Радченко, скажет: «Ну, Васька, нахватался ты книжных словечек...» Но Степан промолчал.

### 3

Незнакомым переулком, наугад — с Невы дул резкий ветер — Шелгунов решил выйти к набережной, проветриться. От разговоров, от папиросного чада голова чугунела, на глаза словно кто-то давил, фонари, покачиваясь,

расплывались. Василию почудилось: вот-вот ослепнет, свадится, окоченеет или побредет на ощупь, незнамо куда, может, подберут люди... Страх обуял его, Василий пошел, придерживаясь за стену, вдаль увидел человека и направился было к нему, но взблеснули под фонарем погоны, он свернул в сторону.

И тут негаданно встретил Михайлова.

Слава богу, хоть зубной, а все-таки лекарь. Василий обрадовался. Михайлов, видно, догадавшись, что прохожему худо, поспешил навстречу, спросил, не удивляясь появлению здесь Шелгунова: «Что с вами, Василий Андреевич?» — «Да вот, с глазами, — начал было жаловаться Василий, но раздумал тотчас — с какой стати плакаться, не барышня — и, пресекая себя, сказал: — Отпустило уже, отпустило». Но Михайлов проводить вызвался до конки, придерживал под локоток, и участие приятно было Василию. Сошли у Невского. Николай Николаевич предлагал довезти до самого дому, но Шелгунов поблагодарил, отказался: знал, что Михайлов живет в другом конце города, зачем обременять человека. Да и в самом деле полегло.



Всякие случаются чудеса. Василия навестил родич Тимоха, фараон, собственной персоной, в гражданской одежке и — трезвый! Правда, мигом выставил на стол штоф, потребовал закуски, Василий ошетинился: не дам. Тогда Тимка посмотрел вовсе не зло, сказал: «Пожалеешь, Вася, если не выпьешь сегодня со мной, не выпьешь — не скажу, а сказать есть что». Василий понимал, что родич наведася неспроста. Взял у Яковлевых еды, вынул. Тимоха придвинулся поближе, спросил для верности, не услышат ли хозяева, и перво-наперво достал изрядно потрепанную бумагу, оказалось — инструкция участковым приставам, еще от апреля 1893 года. Ничего нового Васи-

лий там не углядел, разве только что впервые собственными глазами прочитал полицейское наставление. Однако Тимоха столь очевидно гордился и своею храбростью, — как же, секретный документ показывает! — и доверительностью к Васе, что ничего не оставалось, как поблагодарить за уважительность. Этого, как видно, родич и ждал, потому что принялся повествовать, как их собирали в городском управлении, дали дополнительный наказ: следить за сборищами рабочих вне мест их служения, доносить не только о противозаконных действиях, но и о слухах, которые циркулируют в рабочей среде... «Вот за слухи-то и в самом деле прежде не привлекали», — подумал Василий. Налил по второй. Тимофей опрокинул в рот, пожевал капустки и сказал: «Слушай, Вася, хоть пути наши разошлись, но по крови мы родные, зла тебе желать не могу, потому и пришел. Если не хочешь в Кресты угодить, а то и в крепость, уходи тогда с Обуховского подобра-поздорову и как можешь подальше. Не то сдапают. Слежка за тобой, верно говорю, вот побожусь...»

Что ж, спасибо, ничего не скажешь, выручил...

## 5

Забрался Шелгунов далековато, папаялся в чугупный и медный завод, бывший Берда, на Гутуевский остров. Следовало и квартиру сменить, но жалко было расставаться с Яковлевыми, да и времени для поисков жилья не оставалось.

Часто виделся с Ульяповым, тот вел занятия в нескольких кружках, готовил выпуск газеты, название уже придумали: «Рабочее дело». И, слышать, Владимир Ильич пишет новую брошюру, вроде бы о штрафах. При каждой встрече одолевал Василия расспросами, больше всего интересовался суковной фабрикой Торитона, где, судя по



всему, назревала забастовка. По его поручению туда ходили, нарядившись работницами, Крупская и Якубова, и Шелгунову довелось побывать там, сравнительно близко от своей квартиры, только на том берегу.

Ткачи в Питере бедствовали, пожалуй, больше остальных пролетариев: ткачи были в основном деревенские, малограмотные, за себя не умели постоять. Шелгунов ходил по цехам, по рабочим казармам, смотрел, расспрашивал... Еще три года назад средний заработок был девятнадцать рублей в месяц, а нынче — четырнадцать. Квартирную плату на полтинник подняли. А квартиры эти — насмешка одна: длинный коридор, от него выгорожены комнатки деревянными переборками, да и те не до потолка, шум-гвалт по всему этажу. В комнатенках — по две семьи, спят вповалку, стены от сырости зеленые, тут же сушится белье, и даже керосиновая лампа гаснет — не хватает кислороду. Кухня — в каждом этаже одна, горшки на плите не помещаются, у кого с краю, у тех щи недоваренные. Чайком пробавляются из «титана» да хлебушком с селедкой. Рабочий день — четырнадцать часов с хвостиком, а в цехах — чистая отравка, особенно в красильне... Это все видел, слышал Василий, рассказывал Владимиру Ильичу.

Первую листовку, в которой изложили требования ткачей, составил Глеб Кржижановский, отпечатали на mimeографе. Василий с новичком, Николаем Кроликовым, браковщиком у Торнтонна, разбросали прокламации. В них прямо призывали к забастовке.

По просьбе Ульянова в понедельник, 6 ноября, Василий остался ночевать в торнтоновской казарме. Наутро, в половине пятого, как всегда, заревел гудок. Большинство ткачей спало не раздеваясь: холодина! Поднимались, умывшись кое-как, пили кипяток. Все обычно, не заметно волнения. Шелгунов обеспокоился: неужто понапрасну старались, неужто сорвется? Но тут принесли весть:

ночью жандармы арестовали тридцать человек, указала администрация как на зачинщиков предполагаемой стачки. Сразу казармы загудели.

Ткачи высыпали на улицу. Моросил пополам со снегом дождик, однако в казарму не возвращались, к фабрике тоже не шли, грудились возле казарм, кричали: «Пускай хозяева явятся, расскажут, пошто издеваются, сил человеческих нету больше!»

Это — в пять, а к шести прибыли старший фабричный инспектор губернии Рыковский, здешний инспектор Шевелев, за ними — полицейский пристав, жандарм. Пришлись уговаривать, особенно Шевелев старался, он многих рабочих знал по имени-отчеству, взывал персонально, поминал про детишек... Шелгунов стоял молча: что проку, если выступит, — не успеет и несколько слов сказать, как схватят... Он испытывал унижительное чувство бессилия...

После обеда фабрика заработала.

Вечером Василий был у Владимира Ильича, в Танровом переулке, комнатка в четвертом этаже, маленькая, продутая. Ульянов встретил в накинутом на плечи пиджаке. «Итак, с чем пожаловали, Василий Андреевич, порадуете чем?» — «Не пораду, Владимир Ильич, сорвалось у Торнтонна, сами знаете, народ малограмотный, крестьянский, не сообразили, что в ловушку заманивают, побоялись за воротами оказаться». Ульянов привычно помечал на листке. «Я завершил брошюру, — сказал он, — под заглавием «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Между прочим, весьма пригодились и сведения, доставленные вами. Условились, что народники отпечатают в своей типографии, по, к сожалению, раньше конца декабря не обещают. А надо бы побыстрей, куй железо... — Он потеревил бородку, забавно, совсем по-мужицки почесал затылок. — Что ж, прибегнем к проверенному способу, листовка-листовочка, палочка-выручалочка... Это я сделаю к утру. А сейчас — не по-

ехать ли нам в те края, к Торнтону?» — «Опасно, Владимир Ильич, не следует вам появляться, шпики шныряют. И мне вдобавок на смену, я и так сутки прогулял, оштрафуют». — «Это уж наверняка», — сказал Ульянов, — я теперь специалист по штрафам. Как у вас, кстати, с деньгами?» — «Ничего, хватает, Владимир Ильич, много ли холостому нужно». — «Да-да, вы правы... Хорошо, езжайте себе, Василий Андреевич, а я подумаю, пораскину, попробую набросать листовку». — «Владимир Ильич, побожиться, что не поедете к Торнтону», — почти взмолился Шелгунов. «Вот святой истинный крест», — Ульянов засмеялся и в самом деле перекрестился.

Дней через пять Шелгунов зашел к Меркулову и застал там Владимира Ильича и Василия Старкова. Лежала пачка mimeографических листовок. Начиналось так: «Рабочие и работницы фабрики Торнтона! 6-е и 7-е ноября должны быть для всех нас памятными днями...» И дальше — с мельчайшими подробностями, со специальными всякими словечками, понятными, наверное, только ткачам, — ноллес, кноп, шмиц — рассказывалось о положении рабочих, о том, как их обманывают и грабят хозяева, о том, чего следует добиваться.

Пока он читал, Старков и Ульянов вышли, Иикита быстро сказал: «А ведь они оба у меня еще седьмого, вечером поздно, были, принесли сорок целковых, чтобы семьям арестованных передал. И после, считай, каждый день ко мне оба наведывались».

«Что ж это вы, — сказал Шелгунов, — что ж это вы, Владимир Ильич, а еще побожились, что не поедете к Торнтону, а сами...» — «А я, батенька, атеист, и к Торнтону я не ездил, — смеясь, объяснил Ульянов, — я к Никите Егоровичу... Скажите лучше, как листовка?» — «По моему, в самый раз, Владимир Ильич». — «Прекрасно, рад весьма, а вот разбросать надо бы завтра же, кому поручим?»

«Я пойду», — мигом откликнулся Меркулов. «Нет уж, Никита, — отозвался Шелгунов, опережая Ульянова, — за тобою наверняка слежка, поскольку здесь работаешь. Провалишься, и плакала наша конспиративная квартира. Считаю, пойти мне, я теперь вроде не здешний, бердовский...»

1895 год, 9—12 ноября. Стачка более 1000 работников табачной фабрики «Лаферм» (Васильевский остров), вызванная снижением заработной платы.

13—15 ноября. Стачка на обувной фабрике «Скороход» (Александров-Невская городская часть) из-за незаконных вычетов и поборов.

3 декабря. В нелегальной народовольческой типографии, так называемой Лахтинской, началось печатание брошюры «Объяснение закона о штрафах...», написанной В. И. Ульяновым.

5 декабря. Забастовка рабочих Путиловского завода, руководимая городской социал-демократической организацией.

## 6

Спокойно, спокойно, так можно довести себя до умопомрачения, спокойно, еще валерьяновых капель, но сколько можно их глотать, вся камера провоняла ими.

Итак, милостивые государыни и милостивые государи, продолжим наши игры. Вы желаете выслушать исповедь? Извольте. Прошу, усаживайтесь поудобнее. Конечно, железная откидная табуретка не кресло и не пуфик, однако за неимением иного...

Прошлый раз я был, кажется, в истерике. Что ж, случается. Но и тогда я говорил — себе, разумеется, — правду. Однако лишь одну ее сторону. Были у меня также и устремления некоторым образом романтические.

Говорят, средневековый еретик Мартин Лютер запустил чернильницей в искушавшего дьявола, и с той поры нечистая сила паче святого креста, огня, глада и мора боится чернил и пера. Теперешние российские люциферы тоже не любят, а пуще чернил — типографской краски. Обнаружить тайный печатный станок — заветная мечта любого полицейского и жандармского мундира.

Это мне втолковывал Меньщиков, Леонид Петрович, умная голова и циник. И в его правоте я имел возможность убедиться, когда разгромили типографию народо-вольцев. Сперва держали свою печатню на Крюковом канале, близ Гороховой, где охранное отделение, и те искали топор под лавкой, не обнаружили. А на Лахте, куда сдуру перебрались народо-вольцы, их мигом сцапали. Не без моего участия, между прочим.

Но главная моя заслуга не в том. Горжусь, как завалил городскую организацию социал-демократов. Они очень крепко надеялись на конспиративность, полагались на своего сторожевого пса, как сами называли, на Степана Радченко, дескать, чужая муха не залетит. Как бы не так! Попались на голый крючок. Снял Васька Шелгунов конспиративную квартиру, а ее владелец, Семен Афанасьев, и жилец его, Василий Волюнкин, — наши! Кроликова Николая распропагандировали — наш! Это за Невской. А в Нарвском районе — Акимов, Данилов, Шепелев, а в Московском — Василий Галл... И я еще наверняка знаю не всех. Но они, как и Кузюткин, Штрипан, провалившиеся в девяносто четвертом группу народо-вольцев и брусневцев, Фишера, Норинского, Кейзера, — все эти галлы, кроликовы — мелкая сошка, продажные шкуры, они ради тридцати сребреников или от подлого страха.

Меня сыскная работа привлекала другим, хотя и гонорарий, естественно, лишним не был. Человек должен испытать себя, познать через испытание. В отрочестве я не понимал, чего ради отправляются мореходы в океан,

другие пересекают льды и пустыни, третьи лезут на Эверест и Арарат — для чего им? Ради общего блага? Для удовлетворения любознательности? По неразумию, безрассудному и нелепому? Прикидывал так и этак, наконец понял: ради того, чтобы испытать, познать себя, измерить силы в единоборстве со стихией. Да, да. Пускай они хором — гласом живых и мертвых — примутся уверять, будто делали это во имя науки. Не поверю! Честолюбие, стремление подчинить если не толпы людей, то хотя бы неживую, но яростно противящуюся природу, желание осознать себя чуть ли не богоравным!

И тут подвернулись выпускники об американском сыщике Нике Картере. Вот оно! Храбрость, благородство, деловитость, активизм! Мне было пятнадцать или шестнадцать — возраст, в каковом все, известно, ищут смысла жизни, ищут бури, мечтают о самоутверждении... Увы, как говорилось в старинных романах, мечтам юности сбыться не довелось, я получил прозаическую профессию и, может, по сей день влачил бы жалкое существование на брешней планете, не осени меня благая мысль.

В «Отделении по охране общественной безопасности и порядка», проще — в охранке, приняли меня отнюдь не с распростертыми объятиями, сперва поручали разовые задания, но и даже в этих случаях я убедился: именно то, что падобно мне. Сыскная служба — занятие острое, интересное. Она требует ловкости, хитрости, изощренности, коварства, полного проникновения в психику противника — не зря у сотрудников охранки бытует определение: анатомировать организацию подпольщиков. Анатомировать!

Я мечтал властвовать над людьми, покорять их своей воле, видеть их игрушкой в своих руках, на вид таких слабых руках.

И я добился, чего хотел. Эти марксята, как их называют в охранке, не доверяли мне полностью, не давали

поручений, но все равно я бывал на их тайных собраниях, знал всех в лицо, знал, чем они заняты сегодня и что готовят на завтра, знал их натуры, образ мыслей, силу и слабость каждого, я мог их изъять из обращения — тоже термин охранки, — любого изъять поодиночке. Но я жаждал другого, я жаждал триумфа, мне требовалось совершить нечто еще невиданное, неслыханное, такое, что навек оставит мое имя в истории, пускай в истории охранки, пускай это будет слава Герострата, но и геростратова слава меня устраивала вполне.

И мой час пробил! Я сделал то, чего жаждал!

А они упрятали меня в предварилку... Сказали — для отвода глаз, ненадолго. И держат, держат, держат, не выпускают. Сволочи. Ненавижу, всех ненавижу, ненавижу, ненавижу!

«Следует возобновить наблюдение и последовательно извлекать пропагандистов из рабочей среды, арестовывая их». — Николай Иванович Петров, генерал-лейтенант, директор департамента полиции, — петербургскому градоначальнику генерал-лейтенанту Виктору Вильгельмовичу фон Валу, 1895 год, лето.

«Не позднее начала декабря 1895 года произвести обыски и аресты интеллигентных руководителей рабочего движения в г. Петербурге, а также привлечь к делу тех из рабочих, которые, увлекаясь пропагандой социалистических учений, вредно влияют на своих». — Николай Николаевич Сабуров, тайный советник, начальник департамента полиции, — В. В. фон Валу, 17 октября.

«Сего числа в департаменте полиции состоялось частное совещание при участии прокурора судебной палаты для установления... списка лиц, подлежащих обыску и аресту... Сделать распоряжение о производстве сегодня ночью у означенных в списке лиц, в порядке положения

об охране, обысков и подвергнуть содержанию под стражей тех из лиц, которые подлежат аресту». — Он же — помощнику петербургского градоначальника тайному советнику Ивану Николаевичу Турчанинову, 8 декабря.

«В ночь на 9-е число сего же месяца были произведены обыски у лиц, поименованных в списке, представленном Вашему Превосходительству начальником охранного отделения подполковником Секеринским». — И. Н. Турчанинов — Н. Н. Сабурову, 10 декабря.

### *Глава восьмая*

Они отплясывали — безудержно, лихо, молодо — на традиционном студенческом балу в прекрасном, торжественном трехсветном зале Дворянского собрания по Большой Итальянской. Оркестр военной музыки был превосходен, публика собралась всякая, но редко мелькали студенческие мундиры, большинство переоблачились во фраки, сюртуки, смокинги, в буфетах пенилось шампанское, и они выпили по бокалу, а кто и основательней, развеселились окончательно. Миша Сильвин, кружась в паре с Зиной Невзоровой, — пригласил ее нарочно, чтобы поддразнить Глеба Кржижановского, явно в Зиночку влюбленного, — Миша, озорник, когда поравнялся с Надеждою Константиновной и Владимиром Ильичем, быстренько пробормотал-пропел всем знакомое:

Ходит птичка веселó  
По тропинке бедствий,  
Не предвидя из сего  
Никаких последствий.

Резвился Михаил так, от молодости, хорошего настроения; как раз последствия они предвидели. Многие переменили квартиры: сам же Сильвин, супруги Радченко, сестры Невзоровы, Ванеев, Крупская... И Владимир



Ильич снял комнату — опять на Гороховой, «поближе к охране, чтобы не обеспокоить господ голубых лишними разъездами», шутил он. Перебрался 25 ноября. Нынче было шестое декабря.

Они радовались, придя сюда, пускай и поздно: устали за день, хотелось и развлекаться, и отметить знаменательное событие.

У Радченко собиралась Центральная группа. Ульянов огласил план первого выпуска «Рабочего дела». Его перу принадлежали передовица «К русским рабочим», где обрисованы исторические задачи российского пролетариата, и в первую очередь завоевание политической свободы; статья «О чем думают наши министры?» — по поводу секретного письма министра внутренних дел И. Н. Дурново к обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву о политической неблагонадежности воскресных школ; и наконец, некролог «Фридрих Энгельс»... Подготовлены также статьи Кржижановского, Ванеева, Запорожца, Сильвина, Мартова. Заметки о стачках у Торнтона и Лаферма, в Иваново-Вознесенске и Ярославле... План номера одобрили, большинство материалов тут же прочитали вслух. Петр Запорожец, осторожный и добрый, уговорил Ульянова не отправлять в типографию рукописи, перебеленные им самолично, — почерк у Владимира Ильича очень уж приметный, характерный — и взялся к следующему собранию своей рукой подготовить оригиналы для набора. Эта дружеская и очень уместная забота дорого впоследствии обошлась Петру Кузьмичу: па следствии жандармы сочли его, Запорожца, главарем Центральной группы, он получил самое тяжелое наказание, и еще в заключении психически заболел, а вскоре к тому прибавилась чахотка, от нее скончался в 1905 году, тридцати двух лет от роду...

А пока они дурачились, шутили, собрались было — уж кутить, так до самого утра! — засесть в буфете, по

часа в два пополудни Ульянов, подойдя к своей веселой братии (он только что с Наденькой танцевал в зале), сказал тихонько: «Посмотрите, у дверей — гороховые».

И в самом деле, торчали какие-то царя небесного олухи, слишком уж приметные. И потому, не искушая судьбу, члены Центрального кружка, балагурия и пошатываясь, оделись в гардеробной, кликнули сонных ванек, разъехались, довольнешенькие, что удалось отделаться легко и просто.

Отделаться удалось на двое суток всего.

Восьмого декабря в Гродненском переулке, угол Знаменской, собрались у Надежды Константиновны. Окончательно утвердили номер «Рабочего дела», отпечатанный на пишущей машинке «Космополит». Один экземпляр Крупская тут же аапрятала в полую ножку круглого стола, подаренного Владимиром Ильичем нарочно для такой цели, другой оттиск взял Ванеев, чтобы окончательно выправить опечатки, сдать в типографию пародовольцам. Анатолий забрал и черновики, те самые, что послужат уликою против Петра Запорожца.

На Гороховую, в новую квартиру, Владимир Ильич добрался пешком. За тонкой переборкой бренчал на балалайке развеселый сосед, временами он, слышно было, прикладывался к горлышку, но вскоре, по счастью, утихомирился. Пора на боковую. Потрудились в эти дни усердно и продуктивно. Устали. Зато — гааета! Не листовки, а регулярное издание, в которое, стапем надеяться, будут корреспондировать отовсюду. И, поставив печатный орган как надлежит, можно будет вплотную заняться подготовкой съезда. Конституционированием партии.

За стенкой прокуковала полночь кукушка. В доме тихо было, и было тихо по всей длинной Гороховой улице...

«...В числе арестованных: 1 помощник присяжного поверенного, 3 инженера-технолога, 1 кандидат университета, 1 врач, 4 студента технологического института, 1 студент университета, 2 слушательницы Высших женских курсов, 5 человек разного звания и 11 рабочих». — Из доклада министра внутренних дел Ивана Логгиновича Горемыкина, 11 декабря 1895 года.

Помощник присяжного — это, разумеется, Владимир Ильич. Всего арестовано 29 человек. Среди задержанных есть фигуры для социал-демократического движения второстепенные и даже случайные. Но в целом надо жандармам отдать должное: прицелились достаточно верно. Правда, и наводчик у них был весьма неплох: и дело знал, и старался.

## 1

Шелгунова схватили в гильзовой мастерской завода Берда. Пришел в ночную смену, едва успел переодеться, взять ящик с инструментом, занустить станок — а они вот, извольте радоваться, как из преисподней, офицер и двое унтеров: «Здравствуйте, господин Шелгунов, извольте пройти с нами...» Поддерживали под локотки, словно барышню. Опять переоблачился, сдал артельному робу, инструмент, кругом народ гудел: «Чего нашего Андреича забираете, фараоны?» Но те не обращали внимания, привыкли.

Длинные легкие саночки, офицер бок о бок, унтеры напротив, лицом к арестованному, прямым ходом в Ново-Александровскую, адрес не вызнавали, заранее известен. Мчали прямым путем, вдоль Обводного канала, на Шлис-сельбургский, через Ямскую... В доме спали, конечно. Велели отомкнуть дверь своим ключом, Василий послушался, неохота будить Яковлевых, полиция тоже не шумела пока.

В дороге Шелгунов собрался с мыслями. Вспомнил наставления Ульянова: при аресте и допросах никаких показаний не давать ни под каким видом, иначе можно запутаться, ненароком выдать товарищей, а то и сообщить нечто выгодное властям. Лучше всего во всем отпираться, а если уж признавать, то пустяки, такое, что вреда никому не причинит, или то, от чего невозможно отказаться, от вещественных доказательств например.

Вещественные доказательства обнаружили сразу, народ ушлый.

А пока искали, у Василия состоялся разговор с офицером. «Господин капитан», — сказал Шелгунов. «Коллежский ассессор», — поправил тот. «Извините, в чинах ваших не очень разбираюсь. Так вот, господин коллежский... Если не ошибаюсь, то, согласно уставу уголовного судопроизводства, не позволено производить обыск при дознании, а только при следствии. Кроме того, положено обыскивать лишь в дневное время». — «Недурно в юриспруденции осведомлены, господин Шелгунов, откуда такой повышенный к ней интерес, позвольте осведомиться?» — «Чему ж удивляться, господин ассессор, всякий подданный империи обязан знать законы отечества, дабы свято их блюсти». — «В таком случае пополюю ваше образование, напомним, что существует еще и положение об усиленной охране, а уж по этому положению, господин Шелгунов, сами понимаете...»

Возразить было нечего. Василий отправился — в сопровождении унтера — будить Яковлевых: установлено, чтобы квартирохозяин присутствовал при обыске. Будить, конечно, ему не пришлось: женщины давно проснулись, а Василий Яковлев — на смене. Марфа Тимофеевна и Марфушка плакали, Мария глядела спокойно, принялась собирать узелок с провизией.

Близилось утро. Перед рассветом Шелгунов оказался в камере № 257 Дома предварительного заключения.

«По обыску у Шелгунова оказались: 1) брошюра «Кто чем живет?» Дикштейна, 2) три экземпляра брошюры «Ткачи», 3) три экземпляра брошюры «Рабочий день», 4) два экземпляра брошюры «Царь-голод», 5) воспроизведенное на мимеографе воззвание, начинающееся словами: «Рабочие и работницы фабрики Торнтон...»; это воззвание было разбросано на названной фабрике Шелгуновым». — Из «Доклада по делу о возникших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 гг. преступных кружках лиц, именующих себя «социал-демократами», 1896 год, 17 декабря.

«Я, Отдельного Корпуса жандармов подполковник Клыков, на основании статьи 1035<sup>7</sup> Устава Уголовного судопроизводства (Судебных Уставов Императора Александра Второго, изд. 1883 г.), в присутствии Товарища Прокурора С.-Петербургской судебной палаты А. Е. Кичина допрашивал обвиняемого, который показал:

Зовут меня Василий Андреевич Шелгунов...»

## 2

Клыков — строен, высок, облачен в форму: темно-синий двубортный сюртук, красный кант по воротнику и обшлагам, серебряный погон с красным просветом, по три звезды на каждом погоне, диагональные брюки на штрипках, позванивают шпоры. Выражение лица полицейски любезное, а само лицо, как удачно кто-то выразился, общеармейское. Красавец, и видно по всему, это апаает. Хотя в протоколе и обозначено, что допрос вел он, на самом деле допрашивал товарищ прокурора Кичин, а подполковник время от времени лишь вставлял словечки.

На вид прокурору Кичину лет тридцать, Шелгунову примерно ровесник. В золотых очках, с бородкой, лицо длинное, узкое, желтоватое, уголки тонкого рта опущены, усики тонкие, подбритые. Лоб с глубокими залысинами

обтянут, кожа того и гляди лопнет. У Кичина страшная, навязчивая манера: то и дело разглаживает бумаги тыльной стороной ладони. Исключительно вежлив: представился по имени-отчеству — Александр Евгеньевич. Раскрыл кожаный портсигар, Шелгунов не отказался от длинной, дамской папироски. Сидели в мягких креслах за столом, покрытым зеленым сукном. Василий — напротив. Кичин то и дело вставал и прохаживался по ковру пестрыми, вкрадчивыми шагами. Перед всеми — душистый чай, серебряные подстаканники, ваза с печеным. Как в гости пришел. Только у дверей — двое жандармов, шашки наголо. Впрочем, после первых же вопросов, о биографических данных, велено было жандармам удалиться, должно быть, стали по ту сторону двери.

«Итак, Василий Андреевич, — спросил Кичин, — известно ли вам, в чем обвиняетесь?» — «Понятия не имею, ваше превосходительство». — «Ах, оставьте, ради бога, я лишь статский советник и, следовательно, высокородие, а не превосходительство, кроме того, Василий Андреевич, у нас не принято, знаете ли, титулование в частных беседах...» М-да, выходит — частная беседа. С жандармами за стенкой. «Что ж, извольте, Александр Евгеньевич, слушаю». — «Итак, Василий Андреевич, известна ли вам формула обвинения?» — «Уже сказал, понятия не имею». — «Вы обвиняетесь в принадлежности к сообществу для совершения государственных преступлений...» «Что относится к статье девятьсот двадцать второй Уложения о наказаниях», — вставил Клыкков. «Совершенно справедливо, — подтвердил Кичин, — а это, увы, сулит немалые неприятности. Лишь чистосердечное признание может... Итак, вы принадлежите к партии социал-демократов?» — «Такой партии, Александр Евгеньевич, насколько мне известно, в России нет». — «Допустим. Но существует «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», который есть не что иное, как политическая партия,

ставящая перед собою цели открыто антигосударственные, противоправительственные». — «Впервые слышу о таком Союзе...»

И в самом деле, о Союзе Шелгунов слышал впервые. Только на следующий день после допроса ему выстукали через стену камеры: после их ареста собрались, пятнадцатого декабря, оставшиеся на воле товарищи, выбрали новый руководящий центр — Сильвин, Радченко, Ляховский, Мартов, — дали организации название, которое первым сообщил Василию прокурор Кичин. И выпустили первую листовку — об аресте Ульянова, Запорожца, Шелгунова и других... Этого пока Василий не знал. А вот они, кажется, знали многое. Клыков, расстегнув ворот мундира, принялся читать, и Шелгунов только диву давался, откуда такие сведения: о кружках, о пропаганде в воскресных школах, о центральной группе, обо всех рабочих, в нее входивших. Со словами «извольте ознакомиться» Клыков протянул и совсем свеженькую листовку. Отпечатано мимеографически, значит, приложил руку Паша Лепешинский. Название «Императорского Дома Нашего приращение»... По случаю рождения государевой дочери Ольги, имевшего быть 3 ноября. Говорилось, что рождение великой княжны для народа — лишнее бремя, увеличатся недоимки, возрастет число голодных. Императора называли «августейшим животным», а в конце: «Так будь же проклято все это отродье паразитов, это величайшее зло и несчастье нашей Родины».

«Каково? — спросил Кичин. — К чему браниться, господа, брань еще никогда не служила методом доказательства». Шелгунов промолчал — насчет ругани это верно, перегнул Паша, забывает простую истину: в нашей агитации батюшку-царя трогать рановато, народ верит, что зло — не от него... А Клыков тем временем стал перечислять преступления Шелгунова: поездка на «Туло-не» (все участники названы!), чтение и храпение всле-

гальной литературы (приведены заглавия!), посещение конспиративных квартир (с адресами!), участие в политических собраниях социал-демократов (опять со знанием дела!).

Засим Кичин произнес целую речь, негромко, увещательно: «Василий Андреевич, я — око государево, но я желаю вам добра, вы человек интеллигентный и, видимо, введенный в заблуждение опытными демагогами. Давайте рассудим. Россия не доросла до конституции, до тех свобод, за которые вы боретесь. Российская культура нынешнего века — это культура европейская, народу она чужда и непонятна. Многие ли читали Пушкина или хотя бы знают о нем? А Тургенев, Толстой, Лермонтов, Чехов доступны ли народу, близки ли ему? Увы! Я уж не говорю о живописи, опере, балете, серьезной музыке, архитектуре, — что до всего этого нашим темным мужикам? Хлеба и зрелищ, возглашала римская, простите, чернь. Так ведь — римская, а российскому пролетарию или крестьянину и зрелищ не требуется, разве что медведя на цепи, который пьяного изображает, или глупого Петрушку подавай. И уж если говорить относительно общественных течений, то из марксистов те, кого вы именуете легальными, а также ваши противники, экономисты, куда как более предусмотрительны и основательны, они-то понимают, что главное для рабочего — устранение нужды, бытовых трудностей, а отнюдь не умозрительные свободы. И не приведите господа, если народу расейскому, при его-то, извините, невежестве, дать свободу, он такого попатворит — через века не разберешься, не вернешь разрушенного, не воскресишь загубленного...»

«Поживем — увидим, господин прокурор, — сказал Шелгунов. — Народ наш темен, тут спорить бессмысленно. Только причины и вам, полагаю, понятны. Не вечно так будет».



Позвенкивая шпорами, вошел поручик, молодой, затянутый в рюмочку. «Честь имею!» Подсел к столу, придвинул бумагу, чернильницу, перо. «Приступим,— сказал подполковник Клыков.— Прошу вас, господин Шелгунов, прежде всего сообщить, что вам известно о преступной деятельности Ульянова, Кржижановского, Запорожца, Ванеева, Старкова...»

«На допросах в качестве обвиняемого запасный ефрейтор Василий Андреевич Шелгунов, не признавая себя виновным, отрицал устройство у себя на квартире сходок и свое участие в кружке Меркулова. Никого из названных выше интеллигентов и рабочих, за исключением Меркулова и Семёна Афанасьева, он не знает... Найденные у него революционные издания он получил от какого-то «Григория Николаевича», которого не признал по предъявленным ему фотографическим карточкам лиц, привлеченных к дознанию». — Из «Доклада по делу...»

«Наступает новый год! Дай Бог, чтобы он прошел так же мирно, тихо и счастливо для нас и для матушки-России, как и предыдущий». — Николай II. Последняя запись в дневнике 1895 года.

1895 год. Произошло пятнадцать стачек рабочих (девять окончились победой и одна — компромиссом). В административном порядке правительство наказало 1030 участников революционного движения — больше, чем за любой соответствующий период, начиная с 1883-го, со времени наступления реакции.

### 3

Утро 29 января 1897 года для заключенного камеры № 257 Василия Андреевича Шелгунова началось как обычно. Проснулся, заправил койку, умылся тщательно.

Надзиратель сунул в форточку полотерную щетку и ком воску. По примеру Владимира Ильича все декабристы — так прозвали арестованных в ночь на 9 декабря 1895 года — занимались такой гимнастикой, натиркой полов, пренебрегая услугами уголовной кобылки. Превосходная гимнастика! Восемнадцать квадратных аршин — полчаса усиленной работы! Ульянов о том писал — точками — в книгах тюремной библиотеки, за ним эти книги брали поочередно все. Известно было каждому, что Владимир Ильич в предварилке напряженно занимался, собирал материалы для научного труда о развитии капитализма в России, книги ему в камеру таскали целыми корзинками, он спешил: дело кончится высылкой, а в местах отдаленных нужной литературы не окажется... Василий ему завидовал, сам он читал много, но без такой, понятно, конкретной цели, какую для себя поставил Ульянов.

После чаю позвали на прогулку. Двое надзирателей. Тот, что впереди, непрерывно свистит, предупреждает других, чтобы непароком не встретились выводимые политические. Ни разу ни с кем из своих не довелось даже на ходу столкнуться.

Вот и шпацирен-стойла. Тоже придумал Владимир Ильич; сперва, когда простучали в стенку название, Василий не мог понять, переспрашивал, наконец получил разъяснение — слово немецкое, шпацирен — значит гулять. Стойло для прогулок. Очень верно придумал Ульянов. Круглая клетка разгорожена от центра клиньями, будто пирог нарезан, посередке вышка для наблюдения, высоченный тесовый забор без единой щели, сколько ни старайся, не разглядишь соседа. Несколько раз Василий прогуливался рядом с Владимиром Ильичем, слышал его примечательное гм-гм, окликнуть, понятно, не решался: за нарушение режима — карцер, притом угодят наверняка оба... Шелгунов привился ходить по стойлу,

невзначай поднял голову, в окошке увидел еле различимое лицо Глеба Кржижановского. Он частенько выглядывает из-за решетки, для этого надо подтянуться на руках, повиснуть. Сегодня Глеб ухитрился держаться на одной руке, другою оживленно сигнализирует что-то, да ведь он по тюремной азбуке шпарит... Быстро-быстро. Сегодня доклад царю? Откуда известно? Василий, оглянувшись на часового, изобразил пальцами вопросительный знак, но Глеб уже исчез, наверно, устал держаться одной рукой... Значит, возможно, что и сегодня... Что ж, пора бы... Государевых милостей, правда, ждать не приходится. Пускай он все отрицал на допросах, но подполковник Филатьев, сменивший Клыкова, и Кичин, товарищ прокурора, отнюдь не дураки. Да и прямые улики палицо. А из перестукиваний, из пометок на книгах известно, что кое-кто из арестованных дал откровенку, завалил товарищей... Ладно, скорее бы кончалась эта проклятая неизвестность, она для заключенного хуже всего...

«Прогулка закончена», — объявил надзиратель.

#### 4

Тогда, на очередном допросе, Кичин ошарашил-таки Василия. Не говоря лишних слов, протянул протоколы. Шелгунов читал, себе не веря:

«17 декабря Волюшкин явился к допросу добровольно с повинной, причем из его показаний, а равно из показаний привлеченных к дознанию в качестве обвиняемых рабочих Порфирия Михайлова, Кузьмы Григорьева Царькова и Семена Афанасьева... выяснилась преступная деятельность...» А дальше Волюшкин и Порфирий Михайлов с головой выдавали Владимира Ильича, Ванеева, Кржижановского... Но Шелгунов даже не этому предательству поразился, понимал, что предатели были, есть и будут,

песпроста всех сграбастали в одну морозную ночь, почти весь Центральный кружок. Резануло почему-то вот какое обстоятельство. Известно, что все товарищи-интеллигенты отнюдь не из богачей, а все-таки отрывали от себя, выделяли средства на пропаганду, помогали пострадавшим во время забастовок. Так вот, оказывается, Порфирий Михайлов и Волюнкин много раз выпрашивали у Ванеева и Кржижановского денег якобы для помощи забастовщикам, а сами эти рубли проигрывали на бильярде, пропивали... Больше того, Михайлов однажды на эти средства так нализался, что на всю улицу орал: «Мы — социал-демократы, мы всех вас расшибем!»

«Любопытно, Василий Андреевич?» — спросил ехидный Кичин. «А чего ж любопытного, пьянь, мразь, подонки человечества...» — «Себе противоречите, Василий Андреевич, то говорите, что на передовых рабочих опирались, а как дошло до этих показаний, пьяницами обзываете, мразью. Так ваша партия — она чья же? Интеллигентов и сознательных пролетариев или пьяной мрази?» — «В таком тоне разговаривать отказываюсь, — заявил Шелгунов, — и никакой партии я не знаю».

«Хорошо, — сказал Кичин. — Потолкуем об этом. Вы есть жертва политической несознательности, обманутая интеллигентами жертва! Пропагандистами. В силу чего просите учесть чистосердечное раскаяние и ходатайствуете о государевой милости». — «Засим же, — продолжил Шелгунов, — следует написать, что готов дать, как у вас называется, откровенку и желаю впредь служить верой-правдой охранению общественного порядка, не так ли?» — «Ну, это уж, — сказал, засмеявшись, Кичин, — это не обязательно, хотя, впрочем, и достаточно желательно». — «С удовольствием, — сказал Василий. — С превеликим удовольствием...» — «Вот и славно, — перебил Кичин, — как славно договорились...» — «С удовольствием бы дал вам по физиономии», — сказал тихо Шелгунов.

«Дознанием установлено, что... Василий Шелгунов в 1894 г. участвовал в происходившей в его квартире... тайной сходке, на которой... возбуждался вопрос, какого направления следует держаться рабочим, народовольческого или социал-демократического; в 1895 г. находился в преступных сношениях с Кржижановским, который через него передавал деньги распропагандированным рабочим, посещал сходки кружка Меркулова, для которого нанял квартиру в доме № 16 по Прогонному переулку у Семёна Афанасьева, устроил у себя такой же тайный рабочий кружок в доме № 23 по Александровской улице за Невской заставой под руководством Ульянова... участвовал в сходке на пароходе «Тулон», хранил революционные издания... накопец, участвовал в тайных сходках... на которых обсуждались вопросы об усилении противоправительственной пропаганды среди рабочих...» — Из «Дс-клада по делу...»

5

Из самодельного календарика Шелгунов вычеркнул сегодняшнее число — 29 января, и вовремя вычеркнул: свет моргнул и погас. Василий зажег свечку. Проку мало — читать все равно не сможет, глаза стали вовсе плохи. А сон долго не придет. Из рукомойника медленно капала вода, перекрыть бы кран, однако лень. Облепился. Даже стал завидовать уголовникам — «кобылке»: им дозволено заниматься всякими работами, а политические и того лишены, единственное движение — это по камере, в шпандирен-стойле да натирание полов...

Прогулки еще тем хороши, что иногда у забора можно найти записочку с новостями. Кое-что известно из «переговоров», перестукивая, по канализационной трубе.

После их ареста «Союз борьбы» продолжал действовать: выпускал листовки, руководил стачками, поддерживал связи с заграницей. Аресты продолжались: в январе за м е л и Бабушкина, Ляховского, Мартова, в августе — Крупскую, Сильвина и других... Хватали социал-демократов Кнева, Москвы, Польши; возникали новые кружки — Екатеринбург, Томск, Одесса, Батум, Кишинев, Рига, Тамбов, Тверь; бастовали в обеих столицах, в Костроме, в Риге; проводились маевки в Киеве, Самаре, Нижнем... Известно стало, что Владимир Ильич в предварилке написал брошюру «О стачках», «Объяснение программы» партии, листовку «Царскому правительству»... Начали выходить новые социал-демократические газеты, издан третий том «Капитала», в Лондоне состоялся четвертый конгресс II Интернационала... Жизнь продолжалась...

А здесь, в шести этажах ДПЗ, она тянулась медленно, темно и однообразно. Семьсот человек, проболтался пьяненький надзиратель, заперты здесь, в шестидесяти трех общих камерах для уголовных и в трехстах семнадцати одиночках, где сидят политические. Семьсот — здесь, а сколько по всей империи, кто сочтет... И кто-то спит беспокойным, тяжким сном, кто-то читает при свечке, другие меряют постылую камеру. Одинаковые дни, одинаковые ночи...

Две отрады: перестукивание и чтение. Тюремную азбуку, тукование, еще на воле заставил выучить Владимир Ильич, штука нехитрая. Трудность в том, что приходится выбирать слова покороче, и еще плохо — живого человека не видишь, живого голоса не слышишь.

Зато здесь, в камере, Василий по-настоящему испытал и жажду познания и вкус познания. До чего коротка человеческая жизнь, думал он, давняя истина, и все-таки ее надо почувствовать на собственном опыте. Смерти он и сейчас не боялся, он боялся уйти из жизни, это разные понятия. Еще на воле осознал, как интересно жить,

но здесь, в предварилке, в камере меньше двадцати квадратных аршин, оторванный от всего мира, почувствовал, что жить ему стало не только интереснее, жить стало — шире!

В ДПЗ стараниями самих заключенных оказалась неплохая библиотека: каждый, выходя на свободу или отправляясь в тюрьму, в крепость, в ссылку, непременно оставлял свои книги. Набралось, говорили, несколько тысяч томов, причем казенных и религиозных — не более десятой доли. Даже имелись прогрессивные журналы «Современник», «Отечественные записки», получались свежие газеты... Василий накинудся на книги. Каким далеким казалось теперь время, когда чуть не вершиной человеческой мысли представлялись простенькие брошюры вроде «Царь-голод»... Читал он до той поры, покуда не стали отказывать глаза. Сперва не болели, но происходило что-то неладное: то и дело возникала туманная пелена, предметы расплывались... А после начались приступы — такая боль, и затылок болел, и виски, и зубы, и уши, аж до тошноты.

Тюремный врач оказался незлобивым, приветливым даже, покрутил так и этак, сажал лицом к свету, приладил к своему лбу круглое зеркало, велел глядеть в определенную точку, а после объявил: «Сударь, у вас, похоже, глаукома... Тогда полагается воздержание от кофею, спиртных напитков, это вам осуществить легко... А вот необходимы еще длительные прогулки, молочно-растительная диета, следует избегать нервного напряжения... Рекомендации, сударь, в вашем положении отчасти затруднительные. Сочувствую, однако помочь не в силах». Он развел руками, даже поклонился этак слегка, толстенький, добродушный тюремный доктор, и Шелгунов подумал, что люди есть везде. «А то, что у вас боли сильные, — прибавил доктор, — этого, простите, вы доказать никому не сможете, поскольку внешних признаков

заболевания нет и к специалисту вас вряд ли направят. Вот у вашего товарища, у господина Ульянова, зуб разболелся так, что щеку раздуло, и то едва через прокурора добился разрешения вызвать сюда, в Дом, дантиста».

В библиотеке отыскалось пособие для врачей, Василий пролистал внимательно и вроде определил: глаукома — штука грозная, ведет к полной слепоте.

Шелгунов не мог представить Владимира Ильича страдающим зубной, какой-либо другой болью, и вовсе не потому, что полагал его за некое божество, избавленное от человеческих слабостей, просто был Ульянов постоянно бодр, собран, жизнерадостен, всегда сосредоточен, спокоен, даже когда понятно было, что волнуется... Где-то Василий вычитал выражение: размагниченный интеллигент. «Вот-вот,— подумал он тогда,— Герман Красин, к примеру. А Ульянов не только заряжен энергией, он умеет — как бы даже без усилий — п а м а г н и ч и в а т ь других. И ему трудно противиться...»

Услышав о нездоровье Ульянова, он тогда его пожалел. Однако от мыслей о собственном недуге ничто не отвлекало.

Однажды в камеру пожаловал сам начальник Дома его превосходительство генерал-майор Ерофеев в сопровождении старшего надзирателя, украшенного свеженькой медалью «За усердие». Генерал не побрезговал — красовался демократичностью! — присесть на койку, спросил обычное: «Довольны ли, голубчик, нет ли жалоб на пищу, на обращение?» Он всех называл голубчиками, голоса никогда не повышал. В ДПЗ, к слову, отличались вежливостью все, от конвойного до начальника: и двадцать лет спустя помнили, чем завершилась выходка генерала Трепова, помнили про выстрел Веры Засулич. «Всем доволен,— сказал Шелгунов,— только вот читать, думаю, недолго мне осталось, глаза никудышные». Ему



хотелось пожаловаться, поделиться бедой хоть с кем-нибудь. «Это, голубчик, понятно,— отечески отвечал Ерофеев,— наш Дом — не санатория, вот, дай бог, выйдете на волю, там поправитесь...»

На том разговор и закончился. Шелгунов еще не понимал до конца, какая ему грозит опасность, что придется ему преодолевать через несколько лет.

Тускло горела, оплывая, стеариновая кособокая свечка в камере № 257 Дома предварительного заключения. Сочился коридорный свет через дверной глазок. Громыхали время от времени солдатские сапоги по железным настилам шести этажей. Слышно было, как вдали застонал кто-то. Позвякивали ключи.

Заканчивался день 29 января 1897 года. Четыреста восемнадцатый день, проведенный здесь Шелгуновым и его товарищами.

## 6

Должно быть, если порыться как следует в различных архивах, где-нибудь и отыщешь упоминание о больших или малых событиях, случившихся в каком-либо государстве 29 января (10 февраля по европейскому стилю) 1897 года. Но, просмотрев несколько сотен всевозможных исследований, справочников, хронологических таблиц, ничего существенного для России в них не обнаруживаешь. Был день как день. С утра в Зимнем дворце Николай II принимал всеподданнейшие доклады.

По многим портретам, кинохронике, словесным описаниям нетрудно представить, как выглядел последний в стране государь.

Ростом не велик и не мал, в самую пору. Крепок, подвижен, любил пилить и колоть дрова, ездить на велосипеде. Не худощав, не толст. Сложен пристойно, только ноги слегка кривоваты, по это можно и отнести на счет

верховой езды. Лоб. невысок, а подбородок утяжелен, однако лицо, в общем, красиво, глаза серо-зеленые, часто кажутся голубыми, и светлая рыжина волос на голове, в бороде и усах его не дурнит, а даже красит. Мундир Преображенского полка тоже Николаю Александровичу к лицу. Приятный грудной баритон. Мягкие интонации. Выработанный гвардейский, с растяжкой, говорок: «прэ-эданный», «крэ-эпко»... Слегка смущенная улыбка. Манеры мягкие, учтивые, речь внятная, чистая, без ипостранных слов, с каким-то ускользающим акцентом... Производил впечатление благоприятное. Но — и это следует подчеркнуть — именно впечатление внешнее.

Всякими странностями — возможно, в результате дурной наследственности, общего вырождения фамилии, неполноценности воспитания и образования — наполнена его жизнь, особенно до начала царствования. Его поступки, поведение, даже то, что случалось с ним независимо от его воли и желания, тоже достаточно выразительны.

Ни по своему воспитанию, ни по образованию, ни по природным данным, отмечают современники и исследователи, Николай II не был предназначен и подготовлен к государственной деятельности. Видные сановники того времени отзывались об императоре: «Он имеет природный ум, проницательность, схватывает то, что слышит, но схватывает значение факта лишь изолированного, без отношения к остальному» (К. П. Победоносцев); «неглубокий человек, но безвольный» (С. Ю. Витте); «хитрый, двуличный, трусливый» (Ф. А. Головин); «неправдив и коварен» (Д. С. Сипягин).

Он, кажется, искренне уверовал в свое божественное происхождение, он полагал принципы самодержавия неизблемыми, это и составляло суть его реакционной политики. «Хозяин земли русской» — так собственноручно занес он в анкетный лист первой Всероссийской

переписи населения в 1897 году, отвечая на вопрос о роде занятий. Самоуверенный, стремящийся к самовластию, он с демонстративной недоброжелательностью пренебрегал общественным мнением. «Государь совершенно справедливо считал, что общественное мнение есть мнение «интеллигентов», а что касается его мнения об интеллигентах, то... раз за столом кто-то произнес слово «интеллигент», на что государь заметил: «Как мне противно это слово»... Между прочим, это пишет не кто иной, как граф Сергей Юльевич Витте, человек сам весьма интеллигентный, и пишет, как видно, без осуждения.

Один из авторов, суммируя высказывания современников и очевидцев, достаточно полно и выразительно рисует психологический его портрет: «Внешняя скромность, даже застенчивость — и припадки самодурства и своеволия; наружная уравновешенность — и затаившийся в глазах невротический страх; чадолюбие в своей семье — и равнодушие к чужой жизни; домоседство — и позывы к кутежам; любезность, обходительность, «шарм» в глаза — и заглазно крайняя резкость отзывов и суждений; подозрительность ко всему окружающему — и готовность довериться проходимцу или шарлатану; поклонение православию, щепетильность в исполнении церковных обрядов — и колдовское столоверчение, языческий фетишизм».

Но дело, разумеется, не только и не столько в фактах личной биографии, в чертах натуры Николая. Главное же в том, что он, как и всякий смертный, был продуктом своей эпохи, продуктом им утверждаемого и охраняемого строя. Он был уродлив и противоестествен — монархический строй России.

Зловещим символом царствования Николая II и Александры Федоровны была Ходынка.

После коронации, совершаемой, по давнему обычаю, в первопрестольной Москве, через три дня, в субботу,

18 мая 1896 года, назначено было народное гулянье на воинском плацу Ходынского поля (пыне там Центральный аэровокзал). Еще с вечера, привлеченные обещанными царскими подарками и дармовым угощением, сюда стеклись толпы — по разным сведениям, от полумиллиона до полутора миллионов человек. Поле — всего в одну квадратную версту — было изрезано траншеями, окопами, их кое-как прикрыли досками. Как водится, без наживы не обошлось, доски оказались гнилыми. За благополучное проведение этого народного праздника никто не отвечая: в официальной программе коронационных торжеств (а их «расписания» начали составлять еще за четырнадцать месяцев до события, они заключали в себе несколько десятков страниц и были загодя распечатаны в газетах) не нашлось места хотя бы для упоминания о том, кто обеспечивает пункт о гулянье на Ходынке... С рассветом истомленная, взбудораженная толпа ринулась за гостинцами, каждому полагалась от щедрот государевых завернутая в платочек жестяная кружка с царским вензелем, сайка, ломоть колбасы, печатный пряник и пяток орехов с десятком леденцов для малых. Гнилые доски над рвами и траншеями проломились, узкие ямы заполнились смятыми людьми, а толпа не могла остановиться, она уже несла сама себя; двигались, зажатые телами, потерявшие сознание и... мертвецы. Растерянные артельщики принялись швырять кульки подарков прямо в толпу, но это лишь усилило сумятицу. Вопль, слитный, единый, слышали и у Смоленского вокзала, и в Бутырской слободе, и возле Ваганьковского кладбища. По официальному докладу министра юстиции Н. В. Муравьева, число погибших составило 1389 человек. Печать того времени называет другие цифры — от 4000 до 4800, песколько десятков тысяч ушибленных и увечных, 3000 тяжело раненных...

Трупы и искалеченных спешно убрали. А торжества

продолжались. На Ходыньское поле, согласно регламенту торжеств, прибыли, уже зная о катастрофе, императорская чета и придворные. Николай не убоился народного гнева. И правильно, что не убоился. «Народ встретил таким восторгом, который описать невозможно... Бросались на колени, почти у всех на глазах были слезы умиления и радости», — извещал «Правительственный вестник» 21 мая. Именно так: умиления и радости. Никаких выпадов. Еще сильна вера в доброго царя. Еще без малого десять лет до Кровавого воскресенья 1905 года. Еще газеты расписывают: императору «благоугодно было повелеть выдать на каждую осиротевшую семью по 1000 рублей и покрыть расходы на погребение». Умалчивают, правда, что ассигновано всего 90 тысяч рублей и пособие срезано до 50—100 целковых, а некоторым и вовсе не выдано. Умалчивают, что торжества обошлись в сто миллионов, вдвое больше, нежели израсходовано в том же году для народного просвещения. И это — в стране, только что перенесшей эпидемию холеры, в стране, где недавно прокатилась страшная засуха. Зато восторгаются: вдовствующая императрица Мария Федоровна послала в больницы по бутылке вина каждому потерпевшему. Зато в Петровском дворце (рядом с Ходынькой!) Николай щедро угощал народных представителей, волостных старшин, приводится меню: борщ, кулебяка, холодное из сига, телятина со свежей зеленью, цыплята, дичь, шампанское... А там, на Ходынке, давились насмерть за жестяную кружку, сайку, леденцы...

Сергей Юльевич Витте вспоминал, что многие советовали Николаю отменить назначенный на вечер бал у французского посла Монтебелло. Но, сообщает Витте, «государь с этим мнением совершенно не согласен: по его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коро-

нации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать».

И семь тысяч гостей отплясывали в залах, где благоухали сто тысяч свежих роз, доставленных из Парижа. Отплясывали кадрили и молодые государь с государыней. В ста шагах от кладбищ, где в эти же часы и минуты хоронили жертв Ходынки, высокопоставленные гости развлекались в тире стрельбой по голубям... И в обеих столицах взлетал праздничный фейерверк...

Душевная черствость и душевная ограниченность Николая поразительны. С обычным пристрастием к педантичности, с обычной своею банальностью выражений, он трафаретно, как и после 1895 года, записывает в дневнике, в тетради, завершающей ходынский год: «Дай Бог, чтобы следующий, 1897 год прошел бы так же благополучно, как этот».

Что ж, Ходынка еще не самое страшное... Впереди война с Японией — в ней Россия потеряла 400 тысяч человек. Впереди массовые репрессии в годы реакции после первой русской революции. Многие еще впереди...

31 марта 1904 года возле Порт-Артура подорвался на японских минах броненосец «Петропавловск». Погибли все члены команды, несколько сотен человек. Утонул адмирал Степан Осипович Макаров, гордость России, не только флотоводец, но и кораблестроитель, ученый. Утонул выдающийся живописец Василий Васильевич Верещагин... В день получения этого страшного известия свитский генерал Рыдзевский должен был отправиться с докладом к царю. Генерал нервничал, он боялся, что явится не ко времени, что государь в расстройстве чувств после только что отслуженной в дворцовой церкви панихиды по убиенным... Каково же было смятение Рыдзевского, когда Николай встретил его обычной приветливо-ласковой улыбкой и сказал весело: «Какая прекрасная погода! Хорошо бы поохотиться, давненько мы с вами

не охотились, генерал!» И через полчаса потрясенный царедворец увидел: государь катит по саду на велосипеде и предается излюбленной забаве — на ходу стреляет ворон...

«Царствование Николая II... отмечено в истории такими кровавыми страницами, как и царствование Иоанна Грозного». — Из книги «Последний царь». Петроград, 1918 год.

...А сегодня — 29 января 1897-го, утро. Вступая на престол, Николай признавался в дневнике: «Для меня худшее случилось, именно то, чего я так боялся всю жизнь!» Однако заняв государев трон, в делах, преодолевая отвращение и скуку, был отменно старателен: словно мелкий чиновник, исправно являлся в кабинет, как на службу, каждое утро, в девять часов тридцать минут, читал бумаги тщательно, ими тяготясь, начертывал резолюции, весьма банальные и лаконичные, хотя порой и не без претензий на афористичность. В повседневной одежде — суконная гимнастерка солдатского кроя с полковничьими погонами, кожаный широкий ремень, прямые шаровары, заправленные в невысокие шагреновые сапоги с голенищами гармошкой, — выслушивал, многому курия, всеподданнейшие доклады...

Сегодня — доклад министра юстиции. Они все одинаковы, его министры, — всех снедает тщеславие, корыстолюбие, авантюризм, взаимная ненависть. Все — под угрозой внезапного, как выстрел в спину, смещения. Все, как на подбор, мелки. «Правительство все мельчало и мельчало. Прежде министров ненавидели, а теперь презирают. Прежде правительство не любили, но с ним считались, а теперь над ним смеются... злобно, стараясь его придушить» (Граф С. Ю. Витте). Они знают это, господа министры...

Прижимая локтем тисненую кожаную папку, государю кланяется Николай Валерианович Муравьев, респек-

табельный сорокасемилетний министр, высокообразованный юрист...

Вот еще образчик вывертов российской истории, российской действительности!

В роду Муравьевых, ведущем начало от XV века, были писатели, балерина, государственные деятели, военные высоких чинов, инженер, археолог — всех не перечесть.

Был среди них Михаил Николаевич Муравьев, университет, боевой офицер, раненный на Бородинском поле. Примыкал к декабристам, от движения отошел в 1821 году, сделал карьеру: губернатор, член Государственного совета. Вошел в историю под нелестным прозвищем Муравьев-вешатель, назначен был вести дело о покушении Каракозова и товарищей на Александра II, посулил «пытать и расстрелять», однако не успел, скоропостижно умер (что не спасло Каракозова). «Задохнулся отвалившийся от груди России вампир», — извещал Герцен.

Николай Валерианович Муравьев — внучатый племянник вешателя. Родился в 1850 году. В детстве дружил с Сонечкой Перовской, она спасла его от гибели, вытащив из пруда. Став крупным юристом, выступал государственным обвинителем по делу первомайцев и добился им смертного приговора, в том числе и Софье Перовской. Затем снова прокурорствовал в процессе народовольцев (Александр Михайлов, Клеточников, Колодкевич, Фроленко и другие) — опять приговор: смертная казнь и бессрочная каторга... В 1891—1892 годах — обер-прокурор уголовного кассационного департамента; в этом качестве вполне мог встречаться в коридорах Окружного суда с экстерном столичного университета Владимиром Ульяповым... С 1 января 1894 года — министр юстиции.

Идет всеподданнейший доклад. Секретные, сугубо



секретные дела, не подлежащие оглашению. Шелестят листы превосходной бумаги. Ко всякому документу — краткое резюме. Государь милостиво кивает: быть по сему... Кто знает, задержалось ли хоть на секунду его внимание на фамилии, которую не помнить Николай II не мог: Ульянов...

«Секретно. Господину министру внутренних дел.

Государь император, по всеподданнейшему докладу моему обстоятельств дела... обвиняемых в государственном преступлении, в 29 день января 1897 года Высочайше повелеть соизволил разрешить настоящее дознание административным порядком, с тем чтобы:

1) Выслать под гласный надзор полиции: а) в Восточную Сибирь Петра Запорожца на пять лет, а Анатолия Ванеева, Глеба Кржижановского, Василия Старкова, Якова Ляховского, Владимира Ульянова, Юлия Цедербаума, Пантелеймона Лепешинского на три года каждого и б) в Архангельскую губернию Павла Романенко, Александра Малченко, Елизавету Агринскую, Веру Сибилеву, Евгения Богатырева, Николая Иванова, Никиту Меркулова, Василия Шелгунова, Николая Рядова и Василия Антушевского на три года каждого...

Министр юстиции статс-секретарь *Муравьев*.

«Если... самодержавие возможно только при совершенной безгласности общества или постоянном воздействии якобы временного положения об усиленной охране — дело его проиграно: оно само роет себе могилу, раньше или позже, но во всяком случае в недалеком будущем падет под напором живых общественных сил». — «Открытое письмо Николаю II земских представителей от 19 января 1895 г.» — ответ на речь императора от 17 января, где говорилось о бессмысленных мечтаниях.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ.**

**29 сентября 1906 года. Суббота**

Знаменитый офтальмолог, доктор, профессор Военно-медицинской академии, член Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова, действительный статский советник «и прочая, и прочая, и прочая» был невысоким, упругим толстяком, от него пахло пряным соусом, вином и духами, он бегал по кабинету, как резвое, хотя и громоздкое дитя, и говорил, говорил, говорил, словно перед большой аудиторией, перед коллегами, точно и не было у его превосходительства прочих забот, не жели пользоваться вполне заурядного пациента и выговариваться перед ним.

Эту аудиенцию у профессора устроила Александра Михайловна Калмыкова. Светило оказалось и добродушным, и демократичным. Осмотр завершился быстро, пациент сидел на диване, а доктор бегал, волоча за собой клуб сигарного дыма, натывался круглым брюшком на стулья, чертыхался и говорил, говорил, делая паузы лишь для очередной затяжки сигарой, говорил, будто вырвался из одиночки он, а не Шелгунов. То, что профессор толст, невысок, и то, как натывается брюшком на мебель, Василий видеть не мог, он только слышал и чуял запахи.

Действительный статский походил обругал правительство: в России один врач — на шесть тысяч душ, да и то в городах преимущественно. А на окраинах империи впо-

родцы — те медицинской помощи, по сути, вообще лишены. Больниц мало и держатся лишь благодаря земствам. Эпидемии, хронические заболевания уносят в могилу или невозвратно калечат миллионы... «Взять хотя бы, милостивый государь мой, офтальмологию. Еще в минувшем веке подсчитано, что половину тех, кому грозила слепота, можно было излечить. А на деле? Из сотни тысяч жителей в Голландии слепых — сорок четыре, в Пруссии — восемьдесят, в американских Штатах — около сотни, а у нас — двести! Из каждой тысячи — двое незрячих, помыслить страшно!»

«Подумать страшно, да, — размышлял Василий, — а быть слепым каково?» Доктор произнес что-то успокоительное, а после заявил: «Будемте мужчинами... Если бы вовремя обратились к хорошему врачу, избавились бы от вашей глаукомы, а теперь дело непоправимое, милостивый государь мой...»

...Говорят, примерно девяносто процентов сведений об окружающем человек получает посредством зрения. Глухой может читать, пользоваться слуховым аппаратом, общаться перепиской. Немой слышит и видит, для разговоров у него — специальная азбука. Глаза же не заменить ничем. Попробуйте закрыть их повязкой, прожить единственный день хотя бы... Попробуйте спросить безрукого или безногого — согласился бы он, свершись чудо, вернуть себе конечности ценою лишения глаз? Наверняка отказался бы...

Слепой настолько недооценен, что в разное время его права ограничивались почти повсюду. Он признавался недееспособным. В средние века имущество незрячего при его жизни переходило к наследникам, безглазому запрещалось занимать любые должности.

Они — беспомощны и практически бездеятельны. Правда, плетут корзины и рыбацкие сети, обучаются, даже не имея слуха, игре на музыкальных инструментах, из жало-

сти зовут играть в публичных домах, на деревенских свадьбах; из жалости, даже когда не просят, суют милостыню... Правда,—чего только не сыщешь в истории! — известны примеры, когда незрячие великим упорством добивались немалого. Англичанин Николь Саундерсон, потерявший зрение в годовалом возрасте, изобрел впоследствии счетную машину, решал сложнейшие задачи, стал профессором. Некий Иоганн Кни предпринял кругосветное путешествие — один, без провожатых! — и выпустил книгу дорожных дневников. Австриячка Парадиз на стыке XVIII и XIX веков придумала в помощь таким же обездоленным, как сама, аппараты для чтения, письма и набора нот. Лишенный света учитель Брайль создал азбуку с выпуклыми знаками, ею, видимо, еще долго будет пользоваться незрячая часть человечества.

Но эти примеры единичны. Большинство же становилось обузой для общества и для самих себя. Беспомощными. Погруженными в собственные переживания и беду. Кто их осудит: беда и в самом деле страшная... Далеко не всякому дано ее преодолеть...

...Постукивая железной палочкой, иду по Невскому и слышу, ощущаю, как передо мною расступаются, освобождая дорогу.

Жить во тьме трудно, ох как трудно. И все-таки можно.

Торричелли говорил, что природа боится пустоты... Поэтому она восполняет одно другим, добавлю я к словам ученого. Того, что потеряно, не вернешь. Но чем дольше живешь без зрения, тем острее делаются прочие твои чувства.

Вот, например, о с л а з а н и е. Дверь отворили — понимаешь по движению воздуха. Оно же заставляет проснуться, если кто-то к тебе подошел. Поливаешь цветы —

на ощупь знаешь, какие завяли. Чистишь картошку — пальцами понимаешь, тонка ли снятая кожура. Вдеваешь нитку в иголку — не так это хитро, как представляется зрячим: надо прижать ушко иголки к языку, и нитку тоже, и, едва они соприкоснутся — почувешь языком и вденешь... Книги... Можно по тиснению переплета прочитать заглавие, определить пометки ногтем на полях. Человеческое лицо легко узнать на ощупь.

Где понижается почва под ногами, где тротуар, где мостовая — замечаешь моментально. Даже просыпанную соль или крупу чувствуют подошвы, пускай и обутые. Волосы не причесаны — проведи рукой, все попятно. Любой непорядок в платье — тоже.

Удивительно, а так и есть: в темноте беспомощны как раз не мы, а зрячие — слепой ведет их, привычный ко мгле.

А насколько тонким сделалось обоняние! Ведь не зря говорят, что безглазый видит носом. Сразу ощущается разница меж улицей и бульваром: другой воздух. Чувствуется близость реки. Различается всякий цветок. Недавно покрашенная скамья предупреждает войною охры. По запаху определяется, еще издали, аптека, провизионная лавка, сапожная, книжный развал. Войдешь в комнату — и сразу догадываешься, что мыли пол: приятная влажность. И определишь, что недавно протопили печь — по еле уловимому дымку. Сушится мокрое белье — оно выдает себя запахом. Нетрудно и отыскать на тумбочке любую микстуру и даже пилюли...

Слепые храпят в памяти запахи многих людей, не только самых близких. Отличают мужчину от женщины по этим признакам, определяют, кто слегка выпил, кто что ел, угадывают знакомых по аромату папирос, знают, кто недавно вошел с улицы, — еще веет прохладой. И в передней, раздеваясь, заранее знаешь, кто в доме: пальто, шапки, шляпы хранят незримые приметы владельцев.

Приноравливаешься, вырабатываешь разные способы ориентироваться. Не протягивая вперед палочку, знаешь, что близко стена: по добавочному теплу летом, по дополнительному холоду зимой. По счету ступенек известно, где лестничная площадка. В своей комнате числом шагов определяешь место шкафа, стола, кровати — вот почему слепые не любят перестановок мебели у себя. Бултыхнешь бутылку — и определишь, наполовину пуста или только на четверть.

И даже научаешься воспринимать заново красоту природы: дуновение ветерка, свежесть воды, аромат цветов, простор аллеи.

Постепенно пропадает унижительное и тягостное состояние, исчезает скованность поведения, крепнет вера в свои силы. Главное — с начала не впасть в уныние, не похоронить себя заживо, не унизиться до беспомощности. Главное — преодолеть.

Иду, постукивая палочкой, уверенной походкой по знакомому тротуару Невского...

### *Глава первая*

В начале августа 1906 года Ленин — за ним прочно укрепилась эта фамилия — вместе с Надеждой Константиновной приехал из Питера в Выборг, тут было безопасней, а до столицы, в случае надобности, рукой подать. Здесь он бывал и прежде, городок им обоим пришелся по душе — милый, чистенький, старинный, напоенный запахом моря, с просторным парком, блестящей брусчаткой мостовых, горбатыми улочками, древними редутами. Здешние финны были сдержанны, предупредительны, чистоплотны, гостиница «Бельведер» уютна, — словом, здесь Ильичам, как их прозвали в эмиграции, показалось куда как славно.

День начинался просмотром газет. Россия переживала трудные времена. После разгрома Декабрьского вос-

стания в Москве правительство перешло в наступление, разнузданное и беспощадное.

Началось чуть раньше. По указке царских властей черносотенные организации начали погромы, избиения и убийства революционеров. В октябре 1905-го погромы произошли в семидесяти городах. Полиция платила по-денно каждому погромщику по 30 копеек. Передавали слова Николая II. Узнав, что в Ростове при погроме убито сорок человек, протянул разочарованно: «Только-то...» На донесениях о подвигах войск, сражавшихся с безоружными, появлялись высочайшие резолюции: «Прочитал с удовольствием», «Искренне всех благодарю», «Надеюсь, все повешены...»

На сцене снова появились эсеры. Только в феврале — марте 1906 года они совершили более 120 террористических актов. Министр внутренних дел Петр Дурново приказал: казнить без суда и следствия не только за покушения, но и за хранение, приготовление и приобретение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В соответствии с этим распоряжением возле Байкала расстрелян захваченный при перевозке оружия Иван Бабушкин, гордость партии, по выражению В. И. Ленина. С начала наступления реакции к апрелю 1906 года число казненных и убитых составило 14 тысяч. В тюрьмах томилось 75 тысяч человек. Свирепствовали карательные экспедиции в Прибалтике, Польше, Закавказье, на Московско-Казанской железной дороге. В только что избранной, формально законодательной, а на самом деле говорительной Государственной думе даже военный прокурор Владимир Кузьмин-Караваев 27 апреля почти кричал: «За последние четыре месяца повешено, расстреляно и иными способами казнено без суда более шестисот человек. Эта цифра ужасна!» Тогда же Дума внесла законопроект об отмене смертной казни. При его обсуждении депутаты не давали говорить генерал-прокурору

Павлову, бросали в лицо: «Вон, палач, убийца!» 26 июня Дума приняла законопроект единогласно. Царь его не утвердил. Казни продолжались.

Многие из этих фактов уже были известны Ленину. Знал он, естественно, и о том, что забастовочное движение, схлынувшее было под воздействием репрессий, снова начало нарастать, намечался новый подъем революции, всколыхнулись и крестьянские массы. Большевики пытались преодолеть раскол партии, но на проведенном в апреле 1906 года Стокгольмском, Четвертом съезде, так и названном «Объединительным», само объединение произошло формальное, а идейные и политические разногласия между ленинцами и меньшевиками выявились с наибольшей остротой. Общепартийный печатный орган «Социал-демократ» сделался меньшевистским. Встала задача создания своей, сугубо и всецело большевистской, газеты. С тем Владимир Ильич и приехал в Выборг. 21 августа первый номер «Пролетария» отпечатали здесь пелегально в типографии газеты «Восточная Финляндия», рядом с гостиницей, где жили Крупская и Ленин.

Царский террор приобретал средневековый характер. В екатеринославской тюрьме политического заключенного Гутмахаера топтали сапогами до той поры, пока не повели вешать. Видимо, зная, что и такое случается, арестант Синьков, приговоренный к смерти, покорнейше просил в последнем слове, чтобы его не били перед казнию, а в благодарность клятвенно обещал, что войдет на эшафот, не выкрикнув никакого лозунга. В севастопольской тюрьме 70(!) человек были повешены под окнами арестантской больницы в назидание тем, кто лежал на койках. В тюрьме лодзинской аажимали головы в тиски, вырывали аубы, насиловали женщин. В Маргелане, что возле Ферганы, революционеру облили спину керосином и подожгли. В Риге у подследственного (!) Карла Легсина вырвали ногти. Там же одну из полити-



ческих заключенных били в грудь, пока изо рта не хлынула кровь. В Киеве — после запрета царским манифестом телесных наказаний! — двадцатилетнюю девушку отхлестали кнутом — 500(!) ударов...

Однако этот метод устрашения казался властям не слишком-то действенным: ведь наказания производили тайно.

Требовался публичный процесс. Публичное устрашение.

Выбор пал на Петербургский Совет рабочих депутатов. В числе 562 его депутатов были и большевики, и меньшевики, и эсеры, причем партии мелкобуржуазные играли главенствующую роль, тянули Совет к местному самоуправлению, а не к вооруженному восстанию. Однако при всех своих слабостях Совет был зародышем временного революционного правительства и достаточно опасен. После ареста многих депутатов решили судить их публично. Открытые процессы, известно, создают иллюзию гласности, мнимость законности.

И действуют устрашающе.

Процесс начался 19 сентября 1906 года.

## 1

Путь известен, с Невского повернул на Литейный. Шурша, падали жестяные листья, пахло конским навозом и аптекой, а тут вот — книгами, значит, миновал магазин и склад Калмыковой... Бассейная, Кирочная, Сергиевская остались позади, вот и Шпалерная, вот она, родненькая, ее бы не знать — четырнадцать месяцев оставлены в предварилке... И рядом — Окружной суд.

О том, что происходит в процессе, Шелгунов знал из газеты «Право», а больше — от Николая Полетаева, старого друга, одного из подсудимых, оставленного на свободе с подпиской о невыезде.

Открытый процесс был одновременно и закрытым. Наряды полиции, пешие и конные, теснились в переулках, ближних дворах, вокруг здания суда. В коридорах — воинский караул, притом не здешний, специально вызвали из надежного Семеновского полка из Москвы, полк отличился в подавлении Декабрьского восстания, командир его, полковник Мин, удостоился генеральских эполетов; правда, носить их довелось недолго: нынешним августом его убила эсерка Зинаида Конопляшニコва... Зал, охраняемый семеновцами, можно сказать, давно вошел в историю: здесь, в процессе по делу ста девяноста трех, произнес знаменитую речь Ипполит Мышкин, здесь говорили Андрей Желябов, Софья Перовская... Их еще помнил, рассказывали, судебный пристав, тоже своего рода знаменитость, Николай Николаевич Ермолаев, человек, «поседевший в царубийствах», как его прозвали... Это и теперь он возглашал: «Прошу встать, суд идет!»

А публику, специально отобранную, допускали только по специальным письменным разрешениям. И публики, рассказывал Полетаев, едва ли не меньше, чем действующих лиц: пятьдесят два подсудимых (их арестовали еще в декабре), члены суда, прокурор, присяжные поверенные, охрана, служители... Но, как ни отфильтровывали публику, а просачивались нежелательные — из тех, кто сочувствовал подсудимым: в первое заседание все обвиняемые вошли с поднесенными этой публикой розами и красными гвоздиками. «Да ведь это не суд, а пикник!» — воскликнула стенографистка... И дальше продолжались всевозможные казусы. Доставленного из Смоленской губернии свидетеля, мелкого торговца Гуревича, допрашивали насчет сотрудничества в «Петербургском листке». Оказалось, что свидетель и в столице не бывал никогда, и вообще в жизни своей не писал ничего... А случались оплошности отнюдь не смешные. О причине, по какой не явился в суд обвиняемый Тер-Мкртчян,

председательствующий Крашенинников был вынужден сказать, что подсудимый расстрелян еще в июле за участие в Кройштадтском восстании... Выходит, намеревались устроить судилище над мертвым...

Рабочие депутаты сразу сделали заявление, что решили давать показания в этом исключительном процессе только для того, чтобы использовать его в политических целях, для публичного выяснения истины о деятельности и значении Совета. К Шелгунову приходили, по старой памяти, обуховцы, сообща составили обращение к суду:

«Убедившись в том, что правительство хочет произвести суд, полный произвола, над Советом рабочих депутатов, глубоко возмущены стремлением правительства изобразить Совет в виде кучки заговорщиков, преследующих чуждые рабочему классу цели. Мы заявляем, что Совет состоит не из кучки заговорщиков, а из истинных представителей всего петербургского пролетариата... Поэтому надо судить не одних членов Совета, а весь петербургский пролетариат».

«Насчет кучки заговорщиков,— думал Шелгунов,— я в суде, разумеется, выскажусь. Нас было пятьсот шестьдесят два депутата почти от полутора сотен фабрик и заводов, тридцати с лишним мастерских, от шестнадцати профессиональных союзов. Кучка заговорщиков, господа? Конечно, среди нас не было единства, в Совете не преобладали большевики, но, при всех ошибках и недостатках, Совет выступал за созыв Учредительного собрания, установление демократической республики, амнистию политическим заключенным, восьмичасовой рабочий день. Правильные требования! Совет не только призывал, но и действовал: руководил октябрьской стачкой, которая сделалась всеобщей, не одни рабочие бастовали, а и чиновники, служилая интеллигенция почты, банков, контор, даже судебных учреждений. Быть может, вам, господа судьи, тоже известно, что был даже факт забастовки —

в полицейском участке. И, уж вовсе курьез, объявляли стачку в «веселых домах», — последнее, конечно, только забавно. Однако забастовка и в самом деле стала всеобщей, и заслуги Совета не отнять, какая уж там кучка заговорщиков... И не забудем, господа, что Совет захватил типографию, в ней легально печатал «Известия Петербургского Совета». Не забудем, что именно Совет придерживал замаху черносотенцев. Помните ли, господа судьи, речь перед вами бывшего члена Государственной думы Брамсона? Он рассказывал, что в департаменте полиции организовали специальный отдел по руководству погромами, у всех дворников собрали сведения о проживающих евреях и, словно в преддверии Варфоломеевской ночи, на дверях ставили мелом букву «Ж», намек более чем прозрачный — жид! — и детишки говорили своим ровесникам-евреям: «Скоро вас перережут!» И не кто другой, как Совет, взял еврейские семьи под охрану, спас их... И в октябре прошлого года мы стояли на пороге вооруженного восстания, обуховцев даже пришлось удерживать от преждевременного выступления. А когда восстание назрело, мы бы подняли его, если бы не сопротивление меньшевиков. Не знаю, довелось ли вам, господа судьи, читать письмо Ленина, оно ходило в списках: «В политическом отношении Совет рабочих депутатов следует рассматривать как зародыш *временного революционного правительства*». Если не читали, если сделаете вид, будто не читали — я приведу эти слова в свидетельских показаниях. Вы не позволите говорить долго, но я продумал свои показания, и будьте уверены — показания не в вашу пользу, господа!»

Время до явки в суд еще оставалось. Шелгунов присел на скамью у тихой невской набережной... Было ему о чем вспомнить здесь — десять почти лет минуло с той поры, как покинул предварилку, рядом с Окружным судом...

Из ДПЗ, объявив под расписку высочайшее повеление, выпустили 14 февраля. Полагалось три дня для сборов, но Шелгунов выхлопотал еще несколько суток, чтобы показаться врачу. У доктора побывал, толку оказалось мало, он махнул рукой. Переночевал у своих, наведаясь к Яковлевым — Марфушка-младшая как выросла, четырнадцать лет, а уже невестой смотрит! — и после долгих осторожных расспросов узнал, что Ульянова можно повидать на Большой Сампсониевской, 16, где в отсутствие Степана Радченко сняла квартиру его жена.

Угодил Шелгунов туда вовремя: ссыльные собирались, чтобы попрощаться. Уже был здесь Анатолий Ванеев — косточки просвечивают, непрерывно кашлял, зажимал рот платком, и никто еще не знал, что вскоре чахотка сведет Анатолия в могилу, похоронят в селе Ермаковском Минусинского округа. Был — в жесточайшем приступе хандры — Петр Запорожец: у него еще в камере обнаружили признаки психического заболевания. Василий Старков, изящный, как всегда, но слишком уж нервный. Глеб Кржижановский — тот пытался балагурить, но получалось плохо. Жизнерадостный остроумец Юлий Мартов сыпал анекдотами. И был, конечно, Владимир Ильич, в новом костюме, недавно подстриженный, оживленный, только бледность лица выдавала недавнюю отсидку... Шумел неприменный самовар, Любовь Николаевна, как и четырнадцать месяцев назад, угощала печеньем и вареньем, и, как водится, немедленно разгорелся, будто и не прерывался, спор.

Спорили с группой — они тоже были здесь, их, в противовес группе Ульянова, прозванной стариками, называли молодыми. Они, кажется, решили, что после отправки стариков по местам отдаленным предстоит им занять главенствующую роль в движении, выстави-

ли программу: опираться на кассы взаимопомощи, они должны стать основой создания рабочей партии. «Опять эти кассы,— заговорил Шелгунов, раздражаясь.— Вы не просто на месте топчетесь, а тянете назад, ничему, похоже, не обучились...» Кто-то из «молодых» бросил: «Думаешь, только за решеткой проходят университеты революции? А может, это вы там поотстали? Может, и в самом деле вы старики?» — «Что ж, извольте,— пока еще весело включился Ульянов,— если угодно полагать нас устарелыми — не будем опровергать. Но мы по стариковской консервативности позиций своих не уступим, мы — на своем: довольно иллюзий тред-юнионистских, довольно эконо м и зма! Кассы взаимопомощи суть лишь вспомогательный аппарат. А главное — укреплять «Союз борьбы», превратить его в подлинную организацию революционеров, коей соподчинены будут и рабочие кассы и кружки. Вы принижаете роль социал-демократической организации, вы, как совершенно правильно сказал Василий Андреевич, тянете назад, пускай наши расхождения сейчас единичны и случайны, однако они могут привести к далеко идущим последствиям».

Сопротивлялись «молодые», пожалуй, вяло, но Василий подумал: просто решили не ввязываться в полемику, а вот разъедемся мы все, и Владимир Ильич тоже, и кто знает, как тут обернется...

В прихожей Василий никак не мог найти пальто, и Ульянов, заметив его беспомощность, спросил участливо: «Что с вами, Василий Андреевич?» Очень хотелось поделиться бедою, но себя одернул, сказал кратко, что с глазами неважно, страшного ничего нет, однако. Ульянов не поверил, повел обратно в комнату, поставил возле яркой лампы, вгляделся, хотел, кажется, сказать что-то, но — Шелгунов знал его нелюбовь к пустым словам — только положил руку на плечо и сжал пальцы. Сильная у него была рука, хотя и небольшая, тонкопалая. И про-

водил Василия в переднюю, подал пальто, как ни отказывался Шелгунов.

... Василий не знал, что видит Ульянова в последний раз.

### 3

Все отбыли в ссылку 17 февраля, а у Шелгунова оставались еще два-три дня. Успел побывать на Обуховском, Путиловском, Балтийском, у Торнтона, пришлось тратиться на извозчика, времени оставалось мало. На заводах вел разговор о последних событиях, предостерегал от слепого доверия Константину Тахтареву и его друзьям, они явно скатывались к оппортунизму.

Кто-то давно сказал: «Ссылку мог бы повторить, этап — никогда». Большинство из декабристов добились разрешения ехать за свой счет, среди них и Василий. Неимущим деньги дала, не впервые товарищей выручая, Александра Михайловна Калмыкова.

В управлении градоначальства, на Гороховой, выправили документы: проходное свидетельство, предписание о следовании безостановочно, прямым путем. На деле прямой путь оказывался кружным: железная дорога на Архангельск только строилась, предстояло ехать до Вологды, а оттуда подводу — к месту назначения. И до Вологды тоже не напрямик, а через Москву. Набегало тысяча двести верст, и дорога заняла туда четверо суток, все бока пролежал на жесткой полке.

На вологодском дебаркадере — Василий предупредил депешю — встречал тезка — Антушевский. Особой радости от встречи с ним Шелгунов не испытывал, помнил размолвку на пароходе «Тулон»: тогда Антушевский слишком откровенничал, бахвалился тем, как изготавливал мимеограф, совал набросок речи, которую собирался где-то произносить, — словом, показывал себя, приш-

лось его оборвать. Однако сейчас ни к чему было ссориться, тем более что за месяцы отсидки в ДПЗ Антушевский мог перемениться. Нанять подводу оказалось трудно, пришлось раскошелиться, купить лошаденку и сани, чтобы после, в Архангельске, их продать.

В пути, чтобы ненароком не разворошить прошлый конфликт,— бывалые товарищи предупреждали, что в ссылке самое страшное — это склоки, дразги, свара,— пели, рассказывали байки, без особых приключений добрались до Шенкурска.

Едва пересекли скованную льдом речку Вагу, едва показались на просторной по-северному улице, как из высокой, с подклетом, избы распояской — без тулупа и шапки — выбежал кто-то, восторженно вопя. Деревня есть деревня, приезжих опережала молва.

Узнали не вдруг: Андрей Фишер! Еще в девяносто четвертом угодил сюда... Выглядел недурно: крупно вьющиеся волосы аккуратно уложены, борода опрятная, одет прилично... Наобнимались, поставили под навес лошаденку, Андрей ввел в дом, обширный, с громадной печью, сбросили тулупы, валенки, переобулись в поданные хозяйкой опорки. Хозяюшка, словно только и ждала, принялась выставлять угощенье. Но, прежде чем сесть к столу, навестили жандарма, тот позволил задержаться на двое суток, но — чтоб никаких сходов, никакой политики.

Конечно, ссыльные о прибытии новеньких проводили моментально, приходили знакомиться, но Андрей проявил настойчивость: завтра, завтра, дайте людям отдохнуть и вообще поосторожней, ротмистр боится, что революцию поднимем с приходом гостей.

За обедом Андрей рассказывал, что Шенкурск — городишко древний, в летописях, говорят, упомянут еще в 1315 году, ничем не примечателен, населения полторы тысячи душ... Зато пашим братом, политическим, богат,



человек пятнадцать набирается: недавно прибыли, рассказывал он, ваши однодельцы — Елизавета Агринская с мужем Павлом Романенко, супруги-ростовчане Машицкие, киевлянин Федорченко, поляк Мациевский, народоволец из Питера Флеров, перевели Малышева из Самары. Живут колонией. Книжки, газеты с воли — тоже в общий котел. Дошла сюда брошюра о «друзьях народа» и сборник со статьей Тулина, это, слышать, Ульянов? Семинарии проводим по трудам Маркса... В общем, живем, хотя с народниками ссоримся...

Наутро пошли к Машицким — соблюдали данное ротмистру слово, чтоб у Фишера не собираться. Докладывал Шелгунов: он, в отличие от Антушевского, знал обстановку, побывал на двух последних собраниях, у Радченко и у Цедербаума. Говорил часа два. Напомнил о конституировании «Союза борьбы», рассказал о стачке в мае 1896 года питерских текстильщиков, о том, как наладили прочные связи с Москвой, Киевом, Нижним, Екатеринославом, Иваново-Вознесенском... А главное, о свежих событиях, о том, как Тахтарев создал свой «Рабочий комитет», не социал-демократический, а скорей, профессиональный, потребовал, чтобы «Союз борьбы» не принимал решений без согласия этого комитета, повел явную линию на свертывание революционной работы, словом, гнул к тред-юнионизму... В Питере остались м о л о д ы е, тахтаревцы, вот почему так важно единство действий наших организаций. Судя по тому, что рассказывал вчера Фишер, архангельская ссылка может сыграть свою роль, стать явлением не местным, а всероссийским... Дело ведь клонится к созданию п а р т и и...

Задавали вопросы, поспорили, затем повеселились от души.

И 22 марта, «в 4½ часа пополудни», как старательно доносил ротмистр, оба Василия на лошаденке тронулись в Архангельск.

Фишер дал адрес — архангельский — Владимира Фомина, единственного, кого знал из тамошних ссыльных Шелгунов, знал еще по брусневскому кружку, и работали вместе на Балтийском. Володя любил приодеться, много читал, пробовал, кажется, писать стихи, таким его помнил Василий. А Фишер сказал, что Володю не узнать и вряд ли от него добьешься толку: после двух лет одиночки — арестовали в девяносто втором — заболел чахоткой, затем цингой, зубы и волосы вываливаются, надорвался, перепуган, от колонии ссыльно-поселенцев отошел, но повидать его, конечно, следует, чтобы выйти на остальных.

Володя оказался в больнице, к нему не пустили, пришлось действовать наугад — не у жандармов же спрашивать адреса. Деньги на исходе, заодно искали работу.

Вдвоем с Антушевым ходили по Архангельску, диковинно вытянутому вдоль Двины на много верст узкою лентою, удивлялись деревянным тротуарам и мостовым, булыжник оказался только на главных, Тооицком и Петербургском, проспектах. Повсюду слышали иноземную речь — здесь, рассказали, полным-полно торговцев и промышленников из немцев, англичан, норвежцев, шведов, поляков. Чуден им показался базар — торговали холмогорской костяной резьбой из рыбьего зуба, печатными досками для яриков, рыбой всяческой и в любых видах, лесной дичью, рухлядью, то есть мехами лисьими, волчьими, песцовыми, даже медвежьими шкурами, торговали щепеным товаром — ковшами, братинами, дугами, прялками, вальками-рубелями, ложками, торговали ячменем, главным здешним хлебушком... Любовались красою кафедрального собора — не уступит питерским — и памятником славному помору Михайле Ломоносову, он был почему-то в древнеримской тоге и с лирою, да и

полуголый как бы, вовсе не по здешнему климату. Остров Соломбала планировкой смахивал на Васильевский, такие же ровные, четкие кварталы.

Жили у дьячка, питались больше в харчевнях, отдавали и оленины, и медвежатины, приготовленной по-особому: запечена цельным куском, присыпана перцем пополам с порохом и толченым оленьим рогом... Провизия отличалась дешевизною, однако и платили ссыльным «из непривилегированных сословий» одиннадцать копеек в день. Поистратились, а работа никак не отыскивалась: по зимнему времени лесопильные мельницы стояли, порт замер. Обратились было в контору завершаемой строительством Вологодско-Архангельской железной дороги, оттуда сделали запрос в полицейское управление, ответ не задержался: просьба ссыльно-поселенцев Шелгунова и Антушевского является не подлежащей удовлетворению... Прирабатывали по мелочам: латали крыши, разгребали на пильных мельницах мерзлые опилки, грузили в подводы — на свалку...

Своих долго не могли встретить. Наконец волею случая натолкнулись на братьев Масленниковых, москвичей, они печатали в свое время выпуски брошюры Ульянова «Что такое «друзья народа»...» Через Масленниковых отыскивали своих однодельцев Евгения Богатырева и Александра Малченко. Стало повеселей. Но москвичи заговорили дружно, что, хоть архангельская ссылка и богата историей и традициями, ведет начало еще с шестнадцатого века — тут и опальные вельможи побывали, и декабристы, и народники, и деятели «Южнороссийского союза рабочих», и «Северного союза», и руководитель морозовской стачки Петр Моисеенко, и начали вот прибывать социал-демократы, — но сейчас, пожалуй, важнее не сосредоточиваться в одном городе, а создавать колонии поселенцев по уездам, как вот созданы в Шенкурске, в Онеге... В пределах губернии место отбытия наказания опре-

деляют здешние власти. Почему бы в Мезень обоим Василиям не поехать, пока не приросли тут? И, уговаривая, братья-москвичи дали для прочтения клеенчатую тетрадку с записями сведений о северных городах и городишках. Шелгунов тетрадь не взял, сославшись на зрение, тогда ему втолковали словесно.

Мезень, а по-другому — Мёзень основана в шестнадцатом веке на месте двух старинных слобод, расположена вдоль правого берега реки с таким же названием, в сорока верстах от Белого моря, почти в трехстах — от Архангельска. Домов — двести, дюжина лавок, два училища и церковноприходская школа да еще пять церквей, с учителями да попами не соскучитесь... И работа сыщется — есть слесарно-кузнечные мастерские, лесопильня, кирпичный завод. Жители морским промыслом занимаются, частью — земледельством, скот держат, с голоду никак не помрете...

Антушевский отказался: горожанин, глуши боязно. А Шелгунов призадумался: может, и впрямь есть резон? В старых колониях, где давно люди срок отбывают, слышно, много всякой суеты, а там, в одиночестве, на мелочи не станет размениваться, будет литературу выписывать, читать. Может, удастся и местных жителей пропагандировать...

И... пошла писать губерния! От Шелгунова — в Мезень, владельцу лесопильного завода Ружникову. Оттуда — приглашение на место машиниста. Прощение губернатору — поехать на испытание. Резолюция с дозволением. Поездка на лошадях. Донесение мезенского исправника о прибытии поднадзорного. Денеша с просьбой задержаться в Мезени до первого парохода: дорога рухнула. Согласие губернатора. Возвращение в Архангельск. Снова прощание — на переезд к месту жительства.

Архангельский губернатор слыл за либерала и рассуждал так: пускай живут ссыльные, где хотят, лишь бы в политику здесь не лезли.

Пароход «Котлас» — товарно-пассажирский, собственность Товарищества Архангельско-Мурманского пароходства, водоизмещением и габаритами невелик, однако даже с комфортом, имелись каюты для чистой публики — прогудел, принял швартовы и, пустив для пущей важности клубы дыма, зателепался по двинскому рейду, курс держа на узкое горло Маймаксы, главного судоходного русла из многих рукавов раздробленной тут реки. Шелгунов стоял на верхней палубе, облокотившись о фальшборт.

Остался позади плоский, намытый морем из песка остров Мудьюг, потянулся — до самой Мезени — Зимний берег, низменный, то песчаный, то глинистый, то заболоченный, изредка возникают отрезки обрывистые, в редколесье, а после, в Мезенской губе, пойдет и тундра... Соскучившись глядеть на однообразие, Василий принял в буфете чарку — Ружниковы дали аванс — и отправился в каюту. Не шик, но пристойно: диван, умывальник, зеркало, графин. По соседству ехали двое купцов, лесопромышленник, хмельной морской офицер в чине капитана первого ранга, приравненном полковнику, о чем разъяснил многословно невеждам-штафиркам.

Спать не хотелось, читать трудно, глаза болели. Останешься, Васька, слепым — кому ты надобен тогда, тридцатигодовалый бобыль, хотя видом ты ничего, росту выше среднего, как сказано в жандармских приметах, волосы имеешь русые, лицо чистое... Бороду ты в цирюльне подправил, на голове прическу подровнял, рубаха на тебе сатиновая, но в сундучке хранится и крахмальная, и сапоги на тебе яловичные, и статью удался, и голос басовитый, и петь при случае горазд, и на гармошке можешь... И не сказать, чтоб в жизни ты не согрешил, а вот заботою о законном браке так себя и не обеспокоил.

Думал сперва: молод, ни к чему влезать в хомут, потом пошла нелегальность. Понагляделся: либо, как женится кто — из движения прочь, либо, угодив за решетку, оставляет маяться неповинную семью. А после с глазами пошло хуже и хуже, о женитьбе не позволяла думать совесть, кому нужен слепой... Ну, завел панихиду. Кончай сопливиться, иди спи, а то выйди на воздух, чистый, северный, не травленный дымом и копотью, вдохни полной грудью, погляди на море, на просторные берега, порадуйся: ты жив, на воле, не дряхл и не стар, и не в каторгу тебя загнали, а в светлые эти края, и бедствовать не предстоит, братья Ружниковы ухватились как за божий дар. Да и то сказать, в кои-то веки занесет к ним питерского мастерового, на все руки горазд. Определили машинистом, но сказали: «Механиком будете, Василий Андреич, и три червонца в месяц лишь на первых порах, прибавим, потому как закупаем новые пыльные рамы и отладить их, кроме вас, некому, так что не обидим, Андреич, и пешочком ходить не станете, выезд будет». Тары-бары, то да се, вились братья-заводчики ужами, а на то, что политик, им плевать с колоколенки, тут революцию не учинишь, среди самоедов-то.

По левому борту — с утра — остался тундровый, безлюдный остров Моржовец, за ним опасные мели, по-здешнему кошки, пароход юлил меж ними, обошел благополучно, и на правом берегу реки Мезени обрисовался городок.

Ну Ружниковы, ай да Ружниковы, и впрямь улещивают. Дешеши не отбивал им, но к прибытию парохода — не этим, так другим заявится новоиспеченный машинист господин Шелгунов — подали посуленный выезд, упряжка парю и тарантас на рессорах. Здоровенный парнище, пезнакомый, кланялся чуть не в пояс, приговаривал, будто горох рассыпал, ядрено, кругло этак: «Пожаловать добро, батюшко Василий Ондreich!» И — а ну, пуцу пыль

в глаза, не лыком шиты! — милости прошу, господин капитан первого ранга, место имеется в экипаже, не стоит благодарности, пожалуйста... А вот и еще встречающий, жандармский унтер, а как же, доносить надо по начальству о прибытии поднадзорного. Сделай жандарму ручкой, Вася, ишь пялится на морские полковничьи погоны, честь отдает, а морда кислая: вроде ведь и ссыльного приветствует, который с его высокоблагородием рядышком. Козыряй, козыряй, голубой мундир, мы вас и в Питере не шибко боялись, а здесь и подавно... Трогай, милые, трогай, залетные, качайте на пружинных рессорах государственного преступника Ваську Шелгунова, господина машиниста при заводе Ружниковых, мезецких промышленников-купцов, тароватых людей!

Исправник доносил: политический ссыльный Василий Шелгунов прибыл 1 июля 1897 года в Мезень, где и учрежден за ним гласный надзор, поступил в услужение на завод Ружниковых 21 сего июля на жалованье по тридцать рублей в месяц; следуют кормовые и квартирные за двадцать дней.

## 6

В услужение Василий не торопился — покуда не потрачен аванс, можно дать себе передышку: с тех пор как выпустили из предварки, были дорожная тряска, архангельские мыканья, разъезды сюда и обратно. А кроме того, 13 июля истекал срок ссылки у единственного в Мезени политика, давнего брусневца Петра Николаевича Евграфова, он пробыл здесь безотлучно свыше двух с половиной лет. Петра обнаружил Шелгунов еще в первый приезд. Теперь, временно у Евграфова квартируя, Василий радовался, увидев товарища не опустившимся, не замшелым. Петр и рукодельными стихами баловался, и состоял в переписке не только с местными

колониями, но и с Петербургом, даже с заграничными политэмигрантами... Конечно, слава богу, что Евграфов на волю выходит, но вот оставаться в одиночестве, без своих, Василий вдруг огорчился. Правда, сказал Петр, есть тут административно высланный парнишечка по фамилии Курков, зеленый вовсе, а важничает, именует себя Алексеем Поликарповичем, за что угодил — толком не понять, политические взгляды неопределенные. Прочие же не здешние жители — уголовная шпана, кобылка, пьяницы, лиходеи, картежники, держись от них стороной.

Ходили по городку. Жителей — полторы тысячи, единственная улица и два проулка, площадь в бурьяне, крест с распятием, Христос ликом смахивает на здешнего мужика. По четырем граням крестового столба выжжено: ББББ. «Бич божий бьет бесы», — объяснил Петр. И поговорку про Мезень сказал: «Позади — горе, спереди — море; справа и слева — мох да ох, одна надежда — бог». В бурьяне выли полуодичалые собаки. Василия начала одолевать тоска.

Тем же пароходом «Котлас» он проводил Петра, начал оглядываться насчет жилья. Нанимать квартиру в самой Мезени смысла не имело, поскольку завод стоял в семи верстах, при слиянии речки Каменки с Мезенью. Новый знакомец, ружниковский слесарь Алупкин, Михаил Федорович, позвал к себе на постой, при заводе, комната свободная, и столоваться у него будет, хозяйшка, жена то есть, Марья Алексеевна, со всем удовольствием...

Улещивать Шелгунова заводчики улещивали, но и делом загрузили по горлышко, успевая поворачиваться. Но Василий по труду истосковался, руки просили работы, голова, все тело работы просило, впрягся от души. Жизнь и в самом деле, как пророчили Масленниковы, оказалась небедная. Марья Алексеевна в первый вечер поведала: ведро молока — пятиалтынный, десяток яиц — пятачок,



фунт мяса — в ту же цену, или крупная утка; мелочь же, чирки — по двугривенному десяток, за двугривенный можно и полупудового глухаря... В общем, питайтесь, Андреич, на здоровье, поправляйтесь, за комнату целковый с вас, и еще дрова по восемь гривенных сажень, невелики расходы при вашем-то жалованье...

Марья Алексеевна так уж расписывала, будто не комнату с питанием предлагала, а девку замуж сговаривала. Видать, скучно ей было с хмурым, заросшим бородищей Михаилом Алупкиным, по три слова за час выдавлиывает, бирюк бирюком... Северяне — люди необщительные, жили в своих громадных избах каждый сам по себе, а Марья Алексеевна тосковала, вот и принялась обихаживать постояльца изо всех сил, она это умела, хозяйкою слыла отменной.

Слово свое Ружниковы исполнили в точности: сделали — после краткого испытания — из машинистов механиком, жалованье сто рубликов. И в городе такая сумма оказалась бы немалой, средний заработок в Европейской России, читал Шелгунов, был целковых пятнадцать, у сталелитейщиков, самый тяжкий труд, — сорок пять, и это при двенадцатичасовом дне. Так что Василий, если прибавить здешнюю дешевизну, неплохо устроился. А к благополучию любой привыкает быстро, а от благополучия к довольству невелики, порою даже незаметны шаги. В сытости, уюте и домашнем тепле Шелгунов размяк.

Правда, и трудился на совесть. Ружниковы затеяли не только поставить новые пильные рамы, но и переделать весь завод. Мелкий был заводик, всего сотня рабочих, за сезон распиливали сто двадцать тысяч бревен. Василий прикинул, посчитал — соображал он в технике нехудо — и объявил хозяевам, что за короткое время берется увеличить производство в два с половиной раза, до трехсот тысяч бревен, причем с прежним числом рабочих. Ружниковы глядели недоверчиво, но с карандашом

в руках убедил. Промышленники оба впали в невероятный восторг, надышаться на механика теперь не могли, это Шелгунову льстило, да и работой он увлекся.

А по вечерам — сытный ужин: поедливые шанежки, всякая рыба (только вот кислую, квашеную, здешнее лакомство, Василий не мог принимать, от духа ее воротило), чай с кренделями, наличниками, брусничкой моченой и морошкой, домашняя наливочка. И ласковый голос Марьи Алексеевны, ее будто нечаянные прикосновения просторной грудью, когда разливала чай. И безвинная, по медякам, игра в подкидного. Мягкая перина и духовитое печное тепло... Все это убаюкивало Василия, расслабляло, и он еще не замечал, как покрывается жирком, и не только телесным, но и душа начинает за п л ы в а т ь. Привезенные книги давно перечитаны, снова их листать сделалось неохота. Писал Антушевскому, Малченко, однако не в меру осторожничал, поскольку здешний жандармский унтер Гагарин почту его, несомненно, перлюстрировал, и не по вмененной обязанности, а, словно гоголевский почтмейстер Шпекля, любопытства единого ради. Ответные послания из Архангельска тоже не отличались полнотою и откровенностью или по сходной причине, а, не исключено, и потому, что друзья почувствовали состояние Василия и не слишком стали Шелгуновым интересоваться. О том, что происходит в губернском городе, он теперь имел представление смутное и постепенно перестал тем огорчаться.

Он себя успокаивал, оправдывал душевную лень и болезнь глаз, и необходимостью конспирации, безразличием здешних обывателей ко всему, что не касалось их, подпискою о том, что не будет вести пропаганды, усталостью за прежние годы, необходимостью копить силы для предстоящей подпольной работы — словом, оправдывался, как мог и умел.

Случалось, на Василия накатывало, тогда он, вы-

пив с Алупкиным по стакану, — тот всегда радехонек, случись только повод, — закрывался в своей комнате, добавлял еще, стесняясь пить при Марье Алексеевне, ложился, глядел в потолок, принимался казнить себя. Приступы бичевания продолжались недолго, наутро жизнь текла своим чередом, пока однажды после такой бессонной покаянной ночи Шелгунов не понял: хватит, этак окончательно расплывешься, ожиреешь, надо себя преодолеть, надо выкарабкаться из обволакивающих тенет, из этой несуетливости, довольства, благоденствия. Взять себя в руки. Действовать.

В августе 1898 года он испрашивал у губернатора позволения приехать на краткий срок в Архангельск. Под конец месяца разрешение получил.

## 7

Архангельскую колонию того времени сами поселенцы называли «эсдековский янов ковчег». Здесь обитали — не по своей, разумеется, воле — около сотни ссыльных, из них более половины — социал-демократы. Василий правильно предугадывал, когда говорил со своими в Шенкурске: архангельская ссылка стала общероссийским явлением, как бы срезом со всех социал-демократических организаций России. Здесь были товарищи из Поволжья (Казань, Самара, Нижний), из столицы (брусневцы и члены «Союза борьбы»), москвичи, малороссияне, ростовчане, уральцы, ярославцы, поляки. Отовсюду получали произведения Маркса, Энгельса, Ульянова, Плеханова, журналы, газеты, организовали библиотеку с нелегальным фондом, проводили диспуты, читали рефераты, переписывались с заграницей, не говоря уже о городах империи. Словом, духовная жизнь здесь была отнюдь не провинциальной и не скованной. Да и быт наладили: создали кассу взаимопомощи, готовились открывать

артельную столовую, организовали столярную, слесарную, кузнечную мастерские — и ради заработка, и чтоб не окостенеть в физическом бездействии.

Василий окунулся в привычную обстановку, в досталь поговорился с друзьями, обрел новых знакомых. Ему понравился Константин Федорович Бойе, токарь, член московского «Союза борьбы», производил впечатление интеллигентного, добродушного и надежного человека. Шелгунов, недолго думая, предложил ему перебираться в Мезень — без сомнения, Ружниковы рады будут обрести еще одного столичного мастерового. Бойе согласился без уговоров, хотел подзаработать перед выходом на волю. И главное, решили они, вдвоем чего-то могут сделать и среди местных жителей.

Сблизились и с Николаем Васильевичем Романовым (имя и фамилия служили предметом постоянных, правда, весьма однообразных шуточек). Крестьянский сын, образование получил в Казанском учительском институте, был народником, затем прочно вошел в ряды социал-демократов, схлопотал четыре года высылки сюда. Романов был чернобород, приземист, высказывался резко, любил порассуждать об экономических проблемах: некоторое время состоял вольнослушателем Петровской сельскохозяйственной академии, затем служил земским статистиком. Романов и сообщил Василию, что готовится создать в Архангельске Рабочий комитет социал-демократов как представительство партии... Партии? Шелгунов удивился. «Ну и поотстали же вы, — попенял Романов, — еще в начале марта состоялся первый съезд нашей партии».

Съезд проходил в Минске, рассказывал Романов, проходил строго конспиративно: почти все местные организации разгромлены, за всеми слежка, отбирали участников съезда придирчиво, оказалось всего девятiero... Шелгунов обрадовался, узнав, что петербургский «Союз борьбы» представлял там Степан Радченко. Знал он, понаслышке,

и Кремера, того самого, что написал брошюру «Об агитации». Остальные были Василию незнакомы.

«Старались насчет конспирации не зря,— говорил Романов,— никакой ликвидационной кометы не появилось, жандармские звездочеты событие прозевали. Событие же, конечно, большое, хотя и преувеличивать его значение нельзя. Состав съезда был разношерстный, единая линия отсутствовала, сказались и разобщенность, кустарничество местных организаций, усиление влияния экономистов. Но ту задачу, что ставил Ульянов еще в девяносто четвертом, помните, году, задачу создания социалистической рабочей партии, съезд выполнил. Манифест выпущен отдельным листком, вот, извольте, Василий Андреевич, изучайте! Вам, думаю, тем более интересно и важно, что вы в числе прочих стояли у самых истоков...»

Слышать подобные слова от резковатого, сдержанного Романова было, конечно, лестно, однако не этому, разумеется, прежде всего радовался Шелгунов, а созданию партии. Пускай почти сразу пятеро делегатов оказались за решеткой, пускай начались опять массовые аресты, пускай партия скорее провозглашена, чем создана,— все-таки партия есть! И в самом деле он был почти у истоков ее...

## 8

«Нельзя дважды войти в один и тот же поток»,— читал где-то Василий. Но и выйти обратно тем же самым, каким вошел, и человек тоже не в состоянии, размышлял он, когда ехал обратно. Всего-то неделю пробыл в Архангельске, а заряд получил такой, что понимал: отныне мезенское существование круто меняется, отныне с растительной, плоской, слишком уютной жизнью покончено.

Сильно удивлялась и огорчалась Марья Алексеевна: теперь постоялец их пил чай наскоро, бормотал благодарствие, не прикладываясь шутливо к ручке — а он дельвал это частенько, если же случалось оставаться без угрюмого супруга, то и чмокал в крутую щечку, — ныне Василий Андреевич торопливо благодарил и закрывался в комнате, жег почти до рассвета лампу, переводил нещедрый здесь керосин, Марья же Алексеевна томилась наедине с постылым своим Адулкиным.

Литературу дал Романов. Первая же взятая из приготовленной им стопы брошюра показалась Шелгунову ненужной. «Гражданская война во Франции», выпущено давно, в 1871 году в Цюрихе народниками. «На кой мне Франция, своих забот хватит», — возмутился было Шелгунов. «А вы не спешите высказывать суждения, — отвечал, не церемонясь, Николай Васильевич. — Сперва прочтите, тогда и поймете, почему и для чего». И выложил на стол еще: снова Карл Маркс, «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», Плеханов «Наши разногласия»... Название марксовой книжки было непонятным, а Плеханова читал Василий еще давно... «Вот именно, что давно, — сказал непреклонный Романов, — а теперь перечитайте заново, иными глазами, с иных позиций. Что же касается непонятного, совестно, Василий Андреевич, в зрелом возрасте манной кашкой питаться или ждать, пока вам кто-то разжует и в рот положит. Постарайтесь перемолоть собственными зубками. Тем более — вы же у нас, получается, чуть не первооснователь». Подкусил, не удержался, наверное, угадал, о чем думал Шелгунов, слушая его рассказ о съезде.

Ехидным замечанием он подхлестнул-таки, Василий сбросил дремоту, вернулся к питерскому образу существования, когда свободное время уходило на книги. Правда, там, в столице, были еще кружки, встречи с друзьями, а здесь находился в одиночестве... Однако и

одинокости пришел конец: 22 сентября, верный обещанию, прибыл Константин Бойе, охотно принятый Ружниковыми, устроился жить в соседнем доме, а столоваться — у Марьи Алексеевны.

Распираема жаждой деятельности, хозяйка новому на хлебнику обрадовалась, отшельничество же Василия Андреевича ее никак не тешило, и однажды, когда Алушкин, приняв сверх меры, до утра завалился, супруга его, рачительная и домовитая, бестрепетно вошла к жильцу, простоволосая, в нижней юбке и опорочках на босу ногу, объявила, что карасину в лавку не завезли, жечь попусту не гоже, и мощно дунула в стекло семилинейной лампы, не забыв предварительно накинуть дверной крючок. Наутро как ни в чем не бывало подала обоим нахлебникам чаю, а страдавшему благоверному своему — рассолу... Завтрак прошел обыкновенно.

Шелгунов оживил переписку с Норинским. Тот мыкался в здешних краях — сперва в Сольвычегодске, потом в Котласе: не мог найти подходящей работы, не ладились отношения с товарищами — это у Кости-то, покладистого, легкого, любителя пошутить, правда не всегда безобидно. По совету Василия он принялся бомбардировать департамент полиции просьбами о разрешении перевода в Архангельскую губернию, наконец добился. Шелгунов послал другу на дорожные расходы сорок рублей, подыскал квартиру рядышком. Норинские тронулись в путь по зимнику, от Сольвычегодска до Архангельска добирались месяц, и столько же угораздило их телепаться в Мезень. Прибыли Костя и Федосья Никифоровна (старших детишек оставили в Питере) 9 января 1899 года.

А следом, через две недели, здесь очутился и Николай Васильевич Романов, переведенный из Архангельска «за дерзкое поведение в жандармском управлении». Романов с шестерыми товарищами по изволению губернатора про-

вел экспедиции для обследования торгово-промышленного и экономического состояния Мурманского побережья. Дерзость же заключалась в том, что напечатал в периодических изданиях статьи, где цифрами и фактами изобличал капиталистическое хищничество. Против департамента полиции даже либеральный губернатор Энгельгардт ничего поделать не мог, Николая Васильевича выдворили в Мезень, лишился заработка, сел на одиннадцать рублей пособия от казны, однако научные труды продолжил пока бесплатно, выезжал, как он говаривал, «к своим тюленям в гости», написал работу «Тюлений промысел в пределах Мезенского уезда»... Характер у Романова обнаружился трудный, сказывалась легочная болезнь, вероятно. С приездом Федосьи Норинской, однако, противоречия сгладились, зажили коммуной, к огорчению Марьи Алексеевны, — правда, квартировал Шелгунов по-прежнему в алукинском жилье, но питались поселенцы теперь у Норинских. Сложилась мезенская колония из пятерых: Феня тоже причастна была смолоду революционной работе, не просто мужняя жена.

Примкнул наконец к их колонии тот самый парнишка, Алексей Поликарпович Курков, с ним познакомил Шелгунова еще Евграфов. Был этот Поликарпович себе на уме, водил дружбу с уголовниками, о своем прошлом помалкивал многозначительно, званием административно-ссыльного весьма гордился — еще бы, кобылку отправляют в места отдаленные по суду, а если административно, значит, политический. Выяснилось, что вся преступная деятельность Куркова заключалась в том, что однажды подобрал какую-то листовку, по мальчишеству выложил ее в избе напоказ... Но Алексей оказался парнишкой смышленным, с мезенскими жителями дружил, через него пытались сколотить подобие кружка — не получилось: темны были здешние звероловы, лесорубы, рыбаки. Да и срок ссылки у всех близился к концу, вряд



ли смысл имело рисковать. Особенно же Норинским: у Фени адесь родилась дочка.

Норинский по этой причине, ради ребенка, а Шелгунов — с жалобой на расстройство здоровья (и не врал, глаза все худшали) — в августе отправили его превосходительству Энгельгардту прошение о переводе впредь до окончания срока в Архангельск. Губернатор не отказал. Более того, сам вспомнил о Романове — тот хоть и корреспондировал в газеты, но своими трудами научными был губернии полезен.

Собирались недолго: вот-вот прибудет с нечастым рейсом пароход. Прощание получилось — драма с комедией. Выпили у Алупкиных, как водится, засим уложили вещички, добрались до пристани, погрузились, «Котлас» дал первый отвальный гудок. Все, кроме Фени с дочкой, сошли на берег, в последний раз коснуться неприятной, постылой и в то же время гостеприимной для них аемли. Как всегда, к пароходу собиралась добрая половина Мецени, поглазеть. Шелгунов суматохи не терпел, отошел в сторонку. И увидел, как, размахивая адоровенным дрыном, бежит Михаил Алупкин, еще издали углядел Василия, орал: «Ребра переломаю, так твою и так!» Похоже было, что, проводив, или, вернее, спровадив своих на хлебников и постояльца, Михаил Федорович добавил, и — тут Шелгунову гадать не приходилось — в Алупкине прорвалась-таки накопленная ревность: уж больно горевала Марья Алексеевна. «Ребра переломаю, гад!» — орал Михаил. Скандалить перед народом было ни к чему, Шелгунов убрался на палубу.

Алупкин испортил ему настроение, Костя Норинский всю дорогу потешался, изображал в лицах. Но уезжал Василий окрепшим физически — если бы не глаза только! — духовно здоровым, понабравшимся ума-разума.

Он устроился заведующим лесопильного завода в Соломбале, на окраине. В январе 1900 года ссылка закон-

чилась. Норинский уехал в Екатеринослав, оставив жену и дочку на попечение друга, не преминул подколоть насчет амура. А Василий оставался в Архангельске до весны. И впервые в жизни ощущал себя как бы главою семейства, пускай формально и чужого, и в то же время своего. С Феней отношения у него были самые добрые, дружеские.

1900 год, 29 января. День в день по окончании срока, не подарив властям и лишнего часа свободы, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и ее матерью покинули Шушенское. Местом жительства ввиду запрещения проживать в столицах, университетских и промышленных городах он избрал Псков. Надежде Константиновне предстояло ехать в Уфу и там отбывать оставшийся срок — до 11 марта следующего года.

Февраль — июль. В. И. Ульянов посетил Москву, Нижний Новгород, Петербург, Подольск, Ригу, Самару, Смоленск, Сызрань, Уфу, где установил связи с социал-демократическими группами и отдельными товарищами, вел переговоры о создании общерусской газеты. В апреле провел в Пскове совещание по тому же вопросу. В мае арестован петербургской полицией за незаконный приезд в столицу, через десять дней освобожден, отправляется в Подольск.

Апрель — май. Первомайские демонстрации, забастовки, выпуск листовок во многих городах Европейской России, Малороссии, Кавказа. Харьковский комитет РСДРП организовал первую в России крупную политическую демонстрацию (более 5000 участников) с требованиями политических свобод и восьмичасового рабочего дня.

Май. После окончательного разрыва группы «Освобождение труда» с заграничными «экономистами» в Женеве создана революционная организация «Социал-демократ».

Позднее мая. В Луганске, где из 20 тысяч жителей почти пятая часть работала на машиностроительном заводе Гартмана, создан социал-демократический кружок. Руководители — Шелгунов и Норинский.

### *Глава вторая*

Размашисто, истинно по-русски, с фейерверками, с лихими тройками, с обжорством и выпитием, с мордобоем и либеральными речами, с благодушными надеждами и стоном голодающих, с выстрелами пробок шампанского и пушечными салютами, звоном разбитых штофов и треском каблуков, с «Боже, царя храни» и похабной «Семеновной», с мазуркою, полонезом и разудалой, вспотык, «барыней», с грустью об уходящем и хулой его, с верой в милость божью и государеву и с неверием ни во что, с восторженной в газетах светской хроникой и набранными нонпарелью известиями о самоубийствах простонародья, с поздравительными почтовыми карточками, украшенными сусальными ангелочками, и с революционными шершавыми прокламациями, с блеском еще новинки — электрических огней и с чадом извечной лучинушки, с исконной русской печалью о чем-то несбывшемся и с верой «авось образуется» — оставляла Россия девятнадцатый век.

Его начало — год 1801-й — в просторном и неотлаженном государстве было знаменательным: в ночь с 11 на 12 марта для Руси привычным способом — ударом по голове, только не кистенем или дубинкою, а золотой табакеркой — отправили ко Всевышнему императора Павла I, того, кто спросил однажды у французского посла Сегюра: «Отчего это в других европейских монархиях государи спокойно вступают на престол, а у нас иначе?» Вопрос не был лишен здравого смысла...

Шестеро императоров Всероссийских сменились за девятнадцатое столетие. Двое из них убиты (Павел и Александр II), один скончался так скоропостижно, что смерть его породила живучую легенду, будто удалился он от мира суетного в глухую под именем старца Федора Кузьмича (Александр I), один, есть версия, добровольно лишил себя жизни (Николай I), один умер, как говорилось уже, естественной смертью, — похоже, от алкоголизма (Александр III), последний в том веку и оказавшийся последним в истории государства, Николай II, ознаменовал вступление на престол кровавой Ходынкы...

Девятнадцатый... Век декабристов и Герцена, век пародников и первых марксистов России, рабочих кружков и стачек, век родившейся и тотчас напуганной буржуазии, век ее истошного вопля: чума зыи идет! Он шел, чума зыи, расправляя плечи, шагал по дорогам девятнадцатого — века Маркса, Энгельса, Плеханова, Владимира Ульянова, века Парижской коммуны, Первого Интернационала, Коммунистического манифеста, основания РСДРП, века трагически-победоносной Отечественной и позорной Крымской войн, покорения не мирных окраин и расцвета российской культуры, века русского Ренессанса и мрачной реакции... Век Бенкендорфа и Пушкина, Нечаева и Перовской, отмены крепостного права и нового закабаления крестьян, век невиданного наводнения в Петербурге и страшных голодных засух в Поволжье, первой всероссийской выставки и первых еврейских погромов, век паровых машин и сохи — он завершился, и начинался Двадцатый. Главным событием его были и останутся «десять дней, которые потрясли мир».

«Немытая Россия, страна рабов, страна господ» вступала в двадцатый, последний век тысячелетия, — единственное в мире цивилизованное государство, где не

было конституции, парламента, политических партий (РСДРП ведь только провозглашена), империя, где министр финансов граф С. Ю. Витте, далеко не самый худший, с обескураживающей откровенностью писал: «Невысокая заработная плата является для русской предпримчивости счастливым (!) даром, дополняющим богатства русской природы».

Страна, беременная революцией. Страна, где полоса затишья миновала и множились признаки общественного пробуждения, где петербургскими стачками ознаменовалось начало нового, пролетарского этапа революционно-освободительного движения, где классовая борьба принимала все более ярко выраженный политический характер, где уверенно завоевывали позиции марксизм и социал-демократия, где вспыхивали крестьянские восстания, что свидетельствовало о революционных возможностях крестьян, где характерным моментом становилось требование завоевания буржуазно-демократических свобод, где нарастающий революционный кризис подстегивал консолидацию либеральной оппозиции, где начиналось организационное размежевание и оформление политических программ и партий. Страна, где и чумазый, и передовые интеллигенты нелли:

В стране, подавленной бесправьем,—  
Вам слышно ль? — близок ураган:  
То в смертный бой с самодержавьем  
Вступает русский великан.

Да, было слышно. И было видно.

История полна случайных совпадений. При желании в ней можно отыскать внешнее сходство разных политических и государственных деятелей, характеров их, совмещение дат. Разумеется, определенный высочайшим повелением для высылки в Восточную Сибирь помощник присяжного поверенного Владимир Ильин

Ульянов мог оказаться в Иркутской губернии, куда поначалу и предполагалось его направить, случайно попал в Енисейскую. Там — тоже чисто случайно — получил назначение в Минусинский округ (не исключался и Туруханск, и Казачинское). В Шушенском снял квартиру в доме, построенном, как оказалось, по чертежам декабриста П. И. Фаленберга... Пока что — цепь случайностей, не более...

Но прихотливым ли совпадением можно объяснить то, что здесь, в стенах, как бы пропитанных духом декабризма (к слову, и Ульянова с товарищами, как известно, прозвали в своем кругу декабристами, по времени ареста), Владимир Ильич, обдумывая в деталях план создания общероссийской газеты, остановился на эпитафии: «Из искры возгорится пламя»? Скорее всего не случайно, как не случайно и название газеты: «ИСКРА». Да и выпуск первого номера был в декабре 1900 года: тогда прогрессивные люди страны отмечали три четверти века со дня знаменитого восстания на Сенатской площади...

Легко представить, как радовался Ленин, держа первый, оттиснутый в Лейпциге выпуск — на тонкой плотной бумаге, с красивым отчетливым шрифтом, с обозначением в заголовке: «РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ». Торжественно, просто и деловито звучали начальные строки передовой, написанной им: «Русская социал-демократия не раз уже выявляла, что ближайшей политической задачей русской рабочей партии должно быть ниспровержение самодержавия, завоевание политической свободы». Наверное, он радовался, когда сформулировал эти программные строки: одною фразой сказано многое — и существование политического течения, и длительность его, и главная цель... Как лозунг.

«Нет, недурственно, весьма недурственно, господа! Ульянов, он же мифический Петров, проживающий в

Мюнхене... Сколько стоило трудов, сколько волнений, чуть было не потухла «Искра», не успев разгореться, но вот она, передо мною. Наденька, Надюша, родная, ты видишь этот номер, ты слышишь запах типографской краски, ты ощущаешь хрусткость тонкой бумаги, превосходная бумага, прочная и тонкая, очень удобно будет упрятывать выпуски в книжные переплеты, в чемоданы с двойным дном, в непромокаемые мешки, скоро газета пойдет по России, Наденька, и мы всенепременно с помощью газеты создадим партию! Наденька, целую тебя, душа моя, жду тебя, поскорей бы ты выбралась из Уфы... Целую тебя, милая...»

# 1

1901 год, 9 апреля. Первое упоминание о непосредственных связях редакции «Искры» с Екатеринославской социал-демократической организацией: «Сообщите в Екатеринослав, что адрес, данный им, надо писать очень точно». — Из письма Н. К. Крупской к члену Полтавской группы содействия А. И. Штесселю.

15 мая. Первое упоминание о В. А. Шелгунове как о деятеле общероссийского масштаба, — речь идет о возможностях доставки «Искры» в Москву: «Может быть, можно сговориться с Шелгуновым о пути?» — Из письма Н. К. Крупской к Н. Э. Бауману.

В других письмах Надежды Константиновны — она секретарь редакции — упоминается, что в Екатеринославе живет бывший член петербургского «Союза борьбы» Ф. В. Ленгник; рекомендуется С. О. Цедербауму работать в этом городе; сообщается, что в октябре послано туда 40 экземпляров газеты; снова подтверждается получение просьбы екатеринославцев о высылке других номеров.

1902 год, начало марта. «Сегодня днем обыскал мешанку Иту Бляхман, застал собрание лиц, подготовля-

ших к разбросу на завтра воззвание комитета с заголовком «По поводу 19 февраля». Арестовал около трех тысяч номеров и семь человек». «В дополнение телеграммы от 4 марта... имею честь препроводить... именной список лиц, взятых под стражу в порядке Положения об охране». — Из шифрованных донесений начальника Екатеринославского губернского жандармского управления генерал-майора Делло в департамент полиции.

...Первый арест произвели в ночь на 16 января 1902 года, следующей ночью — опять, тогда схватили, в числе прочих, и Шелгунова. За решеткой оказался почти весь состав комитета РСДРП, десятки передовых рабочих. Норинский уцелел: его обыскивали, доставляли в участок, но выпускали за отсутствием улик — был Константин Михайлович опытен, осторожен, по натуре собран.

Сколько раз бранились с Шелгуновым... «Вечно ты, Вася, разбрасываешься, — выговаривал Константин, — никогда без начинки не являешься ко мне, всегда в карманах нелегальщина, и дома держишь целый склад литературы, то и дело на столах оставляешь как попало. Доиграешься... Слепнешь? Плохо, конечно. Тогда наипаче должен быть аккуратней, сам сядешь, товарищей за собой потянешь».

Василий даже не оправдывался: знал за собой такой грех, разбросанность. С одной стороны, был он педантичен, порою до смешного: ровнехонько, по ранжиру выставлял книги на полке, не передвигал чернильницу с раз и навсегда определенного места, хранил в коробочке поздравительные открытки. С другой же стороны, правильно пенял Костя, проявлял Шелгунов непозволительную небрежность в хранении газет и другой нелегальной продукции. То ли в самом деле мешала наступавшая слепота, или разболтался в ссылке, где местные власти в дом не заглядывали.



Однако в ту ночь, 17 января, Василий не провалился и никого не провалил, при обыске нашли только экземпляр прокламации «По поводу 19 февраля 1861 года», им же и написанной. Листовка в единственном экземпляре еще не повод к аресту, но за Шелгуновым следили давно, жандармы и полиция знали о его принадлежности к комитету РСДРП, ждали только повода, и повод сыскался.

## 2

Вот когда петербургская предварилка показалась ему чуть ли не роскошной квартирой, тихой обителью, уголком уединения! Шелгунов очутился в общей камере, среди уголовной кобылки: воров, бродяг, попрошаек, даже вроде убийц. Пьянство — добывали водку через надзирателей, — сквернословие, картёж, помыкание слабыми, пресмыкательство перед сильными, похабные рассказы, мордобой, свои, волчьи, законы и своя, концы в воду, расправа — все это предстало перед ним, умеющим при случае, коли понадобится, и запустить словечком, и двинуть неслабым кулаком, однако пришлось ему тошно.

Губернскую тюрьму настолько переполнили, что, вопреки правилам и государственным интересам, при коих надлежало содержать политических отдельно от уголовных и по возможности в одиночках, здесь перемешалось все — агнцы и козлища, семь пар чистых и семь нечистых, в одной телеге конь и трепетная лань... В общей камере было вонюче, матерно, гнусно.

Пушкинскую трепетную лань вспомнил Василий, думая, понятно, не о себе, а о Евгении Адамович.

...Они познакомились прошлой весной, в Полтаве, куда Василий приехал из Луганска. В городе, воспетом Пушкиным, создали недавно группу содействия «Искре», по

счету в России третью, после Пскова и Уфы, где побывал до выезда за границу Владимир Ильич.

Полтава, зеленый, славный губернский город, очень приглянулась Шелгунову. Быстро нашел я в к у, — у Флерова, человека, оказалось, немолодого, за сорок, бывшего народовольца, ныне сочувствующего сторонникам Ульянова.

Кроме Флерова, у которого должен был Василий получить «литературу и руководства», в квартире оказалась женщина этак лет тридцати, коса уложена в пучок, славянский, луковкой, нос, непомерно большие, круглые темные глаза, рот резкий, почти мужской, это странно сочеталось с общей тонкой женственностью. И руку подала по-мужски, сжала крепко, уверенно. Рекомендовалась кратко: «Надя». На вопрос об отчестве сказала: «Не нужно». Понятно: подпольная кличка, значит. Было в этой женщине что-то для Василия тревожное, и разговор их, обыкновенный, деловой, не походил на беседы с Надеждой Константиновной, сестрами Невзоровыми, Любовью Радченко и другими женщинами в Питере. Те были товарищами, и только, а здесь тотчас возникло и не давало покоя нечто неосознанное, неясное...

О литературе договорились быстро, у Флерова она была загодя припасена, уложена в прутьяной базарный баульчик, сверху какая-то рубаша и несколько прошлогодних, сбереженных в опилках яблок, они пахли грустно и приманчиво. Никогда Шелгунов не замечал, какой бывает запах у яблок, перезимовавших на чердаке...

Выяснилось, что ехать им почти в одно время: Наде — в Харьков, по делам, а Василию — в Кременчуг, а б р о с и т ь часть литературы. И одной дорогой, только в противоположные стороны, по Харьковско-Николаевской, и поезда чуть не разом отправляются. До вечера, до поездов, еще далеко, пошли прогуляться. Здесь, как и в Ар-





хангельске, многое напоминало Василию Петербург — колонна Славы, чем-то схожая с Адмиралтейской; от Круглой площади, как и от Дворцовой, — просторные прямые проспекты; по-столичному выглядели Дворянское собрание и Присутственные места.

Но было — это же Полтава! — свое, только этому городу присущее: братская могила воинов, павших в знаменитом бою, церковь Спаса Нерукотворного, где, сказали, служил по убиенным сам Петр Великий... И всюду — невиданные Василием каштаны, они цвели белыми, розоватыми пирамидками, похожими на сахарные головы, цвели и в Александровском саду, где Василий с Евгенией Николаевной — узнал теперь настоящее имя — отобедали на открытой веранде, вкусив знатного малороссийского борща с чесночными пампушками, жареной домашней колбасы и грушевого узвара. Шелгунов, непривычный к женщинам, больше помалкивал, кляня себя за пеловкое, дикое молчание. Евгения же Николаевна уговаривала перебраться в Екатеринослав: Луганск, по ее словам, пребывал еще в спячке, нескоро пробудится, а в Екатеринославе активно действует комитет РСДРП, членом которого состоит она, Евгения Адамович, и дельных работников не хватает. «Мне, — говорила Евгения, — вас аттестовали так: не требуется многих, одной толковой головы, как Шелгунов, достаточно». Словно знала слабое место Васяля, была в точку: на похвалу он был падок и согласился моментально.

Больше о делах не говорили.

Должно быть, только русская женщина умеет и любит вот этак, без понуждения и расспросов взять и открыть душу незнакомому человеку, поделиться наболевшим, открыть бабью свою печаль. Евгения Николаевна была опытным конспиратором, но тут ведь речь шла не о революции, а о ней самой, Жене Адамович, и она, видя внимательность Шелгунова, притом о с о б у ю вни-

мательность, рассказывала о себе не таясь, и жизнь ее представилась Василию похожей на то, что знал он о народницах, народоволках, людях возвышенного, наивного, святого и самоотрешенного движения в лучшую пору его расцвета, людях прекрасных даже в своих заблуждениях, настолько чистых, что и кровавые дела не могли замарать и осквернить их... Василий внимал Евгении Николаевне и в то же время думал о Софье Перовской,— многое оказывалось у обеих сходным...

Зажиточная семья, чуждая по духу. Народническая литература. Уход из дому. Случайные заработки. Учение на акушерских курсах в Москве, в Дерпте. Преподавание в воскресной школе. Знакомство с социал-демократами. Арест. Бутырка. Ссылка в Харьков. По отбытии срока — Екатеринослав. «А еще у меня,— говорила Евгения,— растет дочурка Анята, ей семь лет». Родственников — никаких (про мужа умолчала, это с жалостью к ней по радости отметил Шелгунов), девочку подкидывает знакомым, то одним, то другим... «Да-а, не позавидуешь»,— думал Василий.

Бело светились в сумерках пирамидки цветов каштана. Посвистывал маневровый паровозик, перед сном горланили малороссийские пивни, точно так же как петухи на Псковщине. Попрощались на дебаркадере, Адамович уезжала первой. Василий долго смотрел вслед поезду, понимая: что-то важное приключилось в его жизни.

### 3

Тюрьма, как ни оберегают в ней заключенных от взаимного общения, знает все. И Шелгунов знал, что Женью арестовали в одну с ним ночь. И вот еще в чем страх: с нею отбывала отсидку и семилетняя Анята, Аннушка.

«Господи, боже ты мой», — думал Василий, вспоминал и ужасающий рассказ о том, как разрешалась от бремени в петербургском Доме предварительного заключения приговоренная к смерти Гесья Гельфман, первоапрельская 1881 года; вспоминал другой случай — с девочкой, появившейся на свет в российской тюрьме, она там подросла, научилась говорить, ходить, играть, а когда с матерью очутилась на свободе, то попросилась обратно за решетку, — там был ее мир, а настоящий, большой, разноцветный и шумный, показался ей непонятен, чужд и жуток.

Шелгунов не ведал, почему Женя взяла дочку сюда — то ли отказались приютить Анюту, испугавшись, прежние друзья, то ли Адамович решила: пускай за тюремными решетками, но при матери надежней ребенку и ласковей, нежели с посторонними, пускай самыми добрыми... Анюта, безгрешное дитя, свободно бродила по длинным коридорам, бестрепетно заглядывала в любую камеру, — стражники позволяли — и самая лютая и заскорузлая шантрапа ее норовила потешить, приголубить. Впрочем, известно ведь, размышлял Василий, что уголовники сентиментальны.

Сам он, закоренелый тридцатипятилетний холостяк, никогда не умевший с ребятишками поиграть, позабавиться, из кожи лез, сочинял сказочки, лепил из глиноподобного мякиша смешные фигурки — то ли коза, то ли поросенок, все едино. Анюта к нему тянулась, и Василий Андреевич, согреваемый детской безоглядой доверчивостью, был счастлив, зная вдобавок и народную примету: если человека любят дети, значит, хороший человек... А быть хорошим Василий хотел всегда, перед Женею Адамович — больше всего... Через Аннушку он передавал Евгении записки — видеться не удавалось, — в записках незаметно стали называть друг друга на ты. И сквозь обыденные, скудные тюремные слова про-

глядывало в этих посланиях нечто значительное... И что-то женское сквозило в косых, летящих строчках, набросанных Женей Адамович...

#### 4

Есть: соломенный тюфяк, накрытый грубым рядом; капустная баланда со вкусом вареной тряпки; желтоватая вода в чайнике; духовонная параша в углу; подобный мяспилу санитар в темно-синем халате; грубый окрик на невольный стон и любую просьбу.

Позарез необходимы: хоть мало-мальски удобное ложе под чистой простыней; бульоп, желательно куриный; клюквенный морс; фаянсовое судно; внимательная сиделка; женское участие.

Когда имеется лишь то, что названо, и ничего нет из потребного, когда температура за сорок и ползет выше, к черте, давно принятой за роковую, — это значит, что человек умирает. Вернее, у м р е т.

Если температура за сорок, потеряно ощущение реальности, смещены представления и понятия, действительность предстает миражом, а воображаемое — истинным. Исчезает все о т в л е ч е н н о е. Остается лишь с у щ е е — зыбкое, ускользящее, которое вот-вот перейдет в небытие. В ничто.

Смещение, смещение, сон, явь, бытие, небыль, небывальщина, бывшее, будущее, только нет н а с т о я щ е г о или не было его никогда...

Вопь клея в переплетной, босые ноги на песке Черёхи, гарь мастерских, решетка предварилки, тонкие тетрадки нелегальщины, лицо мамы, живой говорок Ульянова, полицейский Тимохин мундир, шевелюра Запорожца, высокий чей-то голос, чьи-то родные, ласковые руки, мамыны, пожалуй, и чьи-то губы касаются огневого лба, чей-то голос, незнакомый и близкий, что-то приятное, живи-



тельное льется в рот, пересохший и как бы наперченный, и снова мгла, сумятица, и снова ладони, губы, голос...

И откуда-то издалека собственный голос, неузнаваемый, глухой, отчаянный: Женя, Женечка, родненькая, Женечка ты моя...

Он выбрался из брюшняка, из неминуемой смерти на третью неделю. И почти все время при нем, в тюремном лазарете, добившись разрешения чуть ли не через губернатора, была Евгения Адамович, отпаивала, отхаживала.

Тиф косил напрапалую, и тюрьма взбунтовалась. Даже самая темная кобылка закусил удила: хреновская жратва, духотища — не продохнешь, тиф валит, надзиратели в рожу поровят...

## 5

Тюрьма гудела, и в эти дни в камеру, где отлеживался после болезни Василий, ввели новенького. Его встретили ревом и лаем: и так палец меж собой и соседом не просунешь, а тут еще одного принесла нелегкая. Втихомолку ругнулся и Шелгунов. Через полминуты они... обнимались.

Ивана Васильевича Бабушкина арестовали в Орехово-Зуеве, этапировали в Покров, оттуда во Владимир, выясняя личность — он обозначился как Н е и з в е с т н ы й. Узнали об аресте за границей, Владимир Ильич настаивал срочно и всенепременно организовать побег ценнейшего агента «Искры». Побег стали готовить, но тем временем г о л у б ы е Бабушкина опознали, отправили в Екатеринбург, куда в свое время выслан был из столицы...

Разговаривали Василий с Иваном чуть не сутками. Шелгунову было о чем рассказать — и о ссылке, и о местном житье-бытье.

Сюда Василий перебрался весной 1901 года. Много шире поле деятельности: город губернский, не чета Луганску, город пролетарский, несколько десятков промышленных предприятий; среди социал-демократов ожесточенная фракционная борьба, есть к чему приложить силушку. Здесь была товарищ Надя, о ней Бабушкину говорил Василий вскользь, из прочих не выделяя.

Архангельская ссылка томила Шелгунова, как и любая ссылка. Но мезенское существование в чем-то избаловало, от лиха отвык. И, как говорится, переходить с папирос на махорку трудновато. А здесь и на махорку сперва не было. Помыкался гласный поднадзорный, побывал на мелкой, случайной работенке, пока с помощью товарищей не уладился наконец при железнодорожных мастерских в непривычной роли чертежника. Зрение опять — ненадолго — улучшилось, чертежи читать опумел, обучился и орудовать рейсфедером, лекалами, рейсиной. Жил в Чечелевке, пролетарской слободе. Вызвал Костю Норинского с Феней и дочерьми, помог устроиться в тех же мастерских. Как могли, приспособились к быту, принялись за главное.

По всей стране разгорелся, достиг полного накала промышленный кризис, начинались волнения крестьян, ширилось социал-демократическое движение, Ульянов с помощью и посредством «Искры» в обстановке кружковщины и местничества готовил Второй съезд... В Екатеринославе, как и во многих российских городах, среди социал-демократов шла открытая и беспощадная борьба вместо активных и решительных совместных действий. Хуже того: в здешнем комитете преобладали экономисты, бундовцы, прочие ретивые недоброжелатели «Искры». Рядом с организацией РСДРП они сообща создали оппортунистический «Рабочий комитет», открыто выступили против и с к р я к о в, пытались подчинить своему влиянию соседние города, направив п о с л о в в Нико-

лаев, Одессу, Херсон, Харьков, Воронеж,— сколачивался этакий южный антиискровский блок.

Шелгунов и Норинский живо разобрались в обстановке, помогла Евгения Николаевна, опыта им было теперь не занимать.

«Совершенно ясно,— говорил Василий своим, Константину и Евгении,— надо браться за испытанный питерский способ, за листовки, надо прежде всего доказывать рабочим, что хватит драться за копейку. Начинать с того, чем начинали мы в Питере. И повод есть уместный, вот письмо из столицы, с оказией получил...»

В письме говорилось: на Обуховском устроили маевку, не вышли на работу. Через несколько дней организаторов — двадцать шесть,— рассчитали. Тогда весь завод забастовал. Предъявили требования о восьмичасовом рабочем дне, об учреждении группы выборных уполномоченных, о возвращении выгнанных за ворота вожаков стачки, об увольнении помощника начальника завода и некоторых мастеров, особенно издевательски относившихся к рабочим. Обуховцев поддержали у Берда и на Карточной фабрике. Начались схватки с полицией и войсками, были убитые, раненые, 120 человек арестовали. В ответ на расправу забастовали Семянниковский, Александровский, другие предприятия. Администрация сперва удовлетворила требования, потом пошла на попятный, готовились новые репрессии.

Листовку к екатеринославцам писал Шелгунов, печатали на гектографе сообща, собирали деньги в помощь пострадавшим питерцам.

А тут подоспел пятый, июньский номер «Искры» со статьей «Новое побоище», позже узнали, что автор — Ульянов. «...Стократ заслуживает название героя тот, кто предпочитает лучше умереть в прямой борьбе с защитниками и оберегателями этого гнусного порядка, чем умирать медленной смертью забитой, надорванной и покор-

пой клячи...» И получили еще известие из Петербурга: арестовано 800 человек, большинство высланы, а 29 приговорены к каторге...

«Пора! — сказал Шелгунов, к нему фактически перешло руководство комитетом. — Самый подходящий случай, устроим демонстрацию».

Накануне одного из осенних воскресных дней через связанных оповестили все заводы: завтра выходим на при вокзальный бульвар! Но к вечеру стало известно: полиция пронюхала, к бульвару стягиваются конные. Тогда быстро переключились и перенесли сходку в рабочий район, Первую Чечелевку. Собралось человек полтора — двести.

Василий, забравшись на скамейку возле калитки, читал из «Искры»: «...известие о таком побойце, какое было... на Обуховском заводе, заставляет нас воскликнуть: «Рабочее восстание подавлено, да здравствует рабочее восстание!» ...Пусть все рабочие... готовятся к новой решительной борьбе с полицейским правительством за народную свободу!»

Он обрадовался: оказывается, эту песню знали, подхватили тотчас, как завела Женя Адамович: «На бой кровавый, святой и правый!..» И откуда-то — видит бог, того не предусматривали до поры до времени комитетки — появилось красное знамя, взвилось над колонной, и две сотни людей — «марш, марш вперед, рабочий народ!» — двигались по Чечелевке, и обыватели спешно закрывали окна, замыкали ворота, а кто-то выбежал, присоединяясь к шествию, и вдали слышался топот конной полиции... Но пока обошлось без арестов, успели быстро кто куда разойтись.

На фабриках и заводах возникали социал-демократические кружки, настало время выходить в село. Там начинались стихийные бунты, недовольство хлеборобов обострял голод: если прежде страшный недород порождал

в основном Поволжье, северо-западные губернии, то сейчас добрался и сюда. При Екатеринославском комитете РСДРП создали специально для революционной работы среди крестьян кружок с ласковым названием «Зіроп'я», то есть «Зоренька»... Шелгунов погрузился в статистические отчеты, комплекты газет. Вычитал, например, что министерство финансов прикинуло: установленные реформой 1861 года выкупные платежи крестьянство может выплатить лишь... к 1956 году! Василий обдумывал новую, для сельчан, листовку, в ней скажет и об истинных причинах отмены крепостного права, и о мерзости прогнившего сверху донизу всего российского монархического строя, о том, что рабочим хорошо известно бедственное положение братьев-крестьян, и рабочие, непримиримые враги самодержавия, не сложат оружия, пока солнце свободы не воссияет над родиной, пока среди человечества не воцарятся братство и единый труд, что рабочие зовут крестьян к совместной борьбе... Прокламацию назвал: «По поводу 19 февраля 1861 года...» С экземпляром гектографированной листовки его и цапнули голубые...

## 6

Вместе с Бабушкиным в камере побыть пришлось недолго. Опасаясь побега, — не исключено, что жандармы проводали о попытках владимирцев вызволить Ивана из тамошнего застенка, — Бабушкина упрятали под более основательные запоры, в полицейский участок. Недреманное око не помогло: оттуда-то Иван Васильевич и бежал, перепилив решетку лобзиком, переданным в куске домашней колбасы...

А Шелгунова после выздоровления таскали на изматывающие допросы. Умный и хитрый ротмистр Креме-

нецкий пытался выведать сведения об оставшихся на воле членах комитета РСДРП. «Не на того папали,— отвечал Шелгунов,— я, ваше благородие, человек здесь новый, никого и ничего не знаю». Может, Кременецкий еще долго не отвязался бы, да помешали события.

Екатеринославский губернатор доносил в Петербург: «Поведение заключенных стало весьма неудовлетворительным и настолько возмутительным, что замечания администрации вызывают только протест и брань, а пение революционных песен, которые усвоены ныне всей тюрьмой, умолкает только после энергичного и продолжительного настояния администрации... В тюрьме создавалась напряженная атмосфера, при которой стали возможны взрывы неудовольствия и общие беспорядки, которые уже имели место и могут повториться».

Вот когда, вероятно, генерал-майор Делло горько пожалел, что не спрессовал, не утрамбовал в камерах плотнее уголовную шпану, не поместил политических отдельно: даже кобылка заводила теперь в камерах революционные песни!

Перегруженная тюрьма стала пороховым погребом, и внутри его не тлел даже, а горел взрывной фитиль. Власти предпочли не доводить до взрыва. Уж лучше пускай политические окажутся на воле, под надзором, гласным или негласным, нежели открытый бунт в тюрьме, разнесут по кирпичикам толстые стены, голыми руками высадят решетки.

Шелгунов получил освобождение среди прочих, вышла и Адамович. Комитет РСДРП решил: оставаться в Екатеринославе при теперешних обстоятельствах Василию Андреевичу нецелесообразно, активной работы вести не сможет.

В конце июля 1902 года он уезжал в Баку.

На екатеринославском вокзале в деловитой и праздной толпе отъезжающих и провожающих, в томительной ве-

черней жаре, в сутолоке и с оглядкой на фланирующих по дебаркадеру полицейских Василий прощался с Женей и Аннушкой.

Когда в третий раз весело рассыпался кондукторский свист и ударил вокзальный колокол начищенной медью, Василий еще и еще неумело поцеловал Анюту, опустил ее наземь, коснулся губами Жениной руки, ощутил на лбу ответное прикосновение... И на ходу вспрыгнул на вагонную площадку.

1902 год, вторая половина. Выпущенная весной работа Владимира Ильича (подпись — Н. Ленин) «Что делать?» широко распространилась по России. Под ее непосредственным воздействием и влиянием, вслед за образованным в июне Петербургским комитетом РСДРП, «Искру» признали социал-демократы Москвы, Херсона, Харькова, Киева, Саратова; организации искровского направления созданы в Полтаве, Одессе, Томске и других городах. Возникали новые и новые комитеты РСДРП. Многие кружки, группы и организации, находившиеся в соседних друг с другом городах, объединялись.

После проведенного В. И. Лениным в Лондоне совещания с представителями социал-демократических организаций России в начале ноября во Пскове создан Организационный комитет по созыву II съезда партии, комитет немедленно арестован. Волна репрессий прокатилась по всей стране.

Стачки не прекращались. Наиболее крупной и значительной была забастовка в с е х предприятий Ростова-на-Дону: продолжалась свыше двадцати дней с участием тридцати тысяч рабочих, подавлена только военной силой.

Начали выходить новые социал-демократические газеты — в Тифлисе, Киеве, Николаеве.

Налажена доставка искровской литературы в Россию через Египет (Александрия — Херсон).

2 сентября арестованы работники бакинской подпольной типографии «Нина».

### *Глава третья*

Надписал конверт из плотной блестящей бумаги, превосходные здесь канцелярские принадлежности, к ним — особое пристрастие: терпеть не может, когда перо цепляется, разбрызгивает чернила. Он пишет с такой скоростью, с какой позволяет рука, пишет почти всегда набело, тщательно все продумав заранее и корректируя в процессе письма... Откинулся в кресло.

Подошла, поцеловала в макушку, присела на подлокотник, спросила, как всегда: «Устал?» Он ответил счастливо: «И даже премного!» Оба засмеялись. «А кончил на сегодня?» — «Кажется, да. Будем пить чай с молоком, крепкий, и будем лопать. Что мы будем лопать? Наверное, как полагается добропорядочным д о й ч а м, сосиски с капустой? Превосходно, я голоден, аки пес алчущий...» Болтал чепуху ради передышки, поглядывал на пачечку Postkarten. Поняла, что хочет еще кое-кому ответить, вышла готовить ужин.

Трудный был год. Завершал работу над «Что делать?», возлагая на брошюру большие надежды. Вместе с Плехановым составлял проект программы РСДРП. Писал и редактировал для «Искры». Вычитывал корректуру. Радовался, получив авторские оттиски «Что делать?». Писал Ивану Радченко, брату Степана, что весьма интересуется, как рабочие отнесутся к этой брошюре, — упорно книгу называл б р о ш ю р о й, боялся громких оценок и определений. Редко говорил в открытую о судьбе написанного им, но тут случай особый: книга задумана как предсъездовская, программная...



Она помнила текст почти наизусть, повторяла, пробо-  
вала как бы на вкус афористические строки: «Роль  
передового борца может выполнить только партия, руко-  
водимая передовой теорией». Книга поражала глубиной,  
отточенностью мысли, особым изяществом слога, она гор-  
дилась им, радовалась и жалела, видя, как он измаялся...  
А тут еще стало ясно, что надо улепетывать из Мюнхена:  
интерес полиции становился непомерно пристальным, не-  
долго до провала, это в канун съезда-то. Решили — Лон-  
дон! За ними следом переселились члены редакции Юлий  
Мартов и Вера Ивановна Засулич, встретились с Полей  
Якубовой, Константином Тахтаревым, другими эмигран-  
тами... С первых же дней Володя — в Британский музей,  
затем, после обеда всякий раз — переписка, редактирова-  
ние, корректура, и еще ухитрялись выкроить время для  
изучения английского. И еще в редкие свободные часы —  
пу, сколько можно изводить себя, родной мой! — ходили  
в Гайд-парк, в музеи, заглядывали в народные рестора-  
нчики, в открытые читальни, в церкви, — там, в церквях,  
на удивление, устраивались и доклады, и диспуты... Пеш-  
ком и в omnibusах — по рабочим кварталам. Поклонились  
могиле Маркса... Слава богу, в июне, после долгой пере-  
писки, приехали в Бретань Мария Александровна и Аню-  
та, иначе Володю не оторвать от работы, свалился бы,  
головные боли непрестанные и бессонница... Из Бретани  
вернулся освеженный, рассказывал очень ласково о маме  
и сестре, и лишь ночью, сидя на краю постели, вдруг  
поведал о том, что рассказала теперь Аня.

Оказывается, когда он томился в предварилке и мама  
хлопотала за него, директор департамента полиции, скот,  
сволочь, да, именно так, архисволочь, наискотейший скот,  
кинул маме: «Одного сына повесили, по другому плачет  
веревка!»

«И что ж мама?» — «А мама: да, ваше превосход-  
тельство, я горжусь детьми и своей судьбой». Тут Надя

заплакала, а он забегал по тесной спальне, твердил: «Сволочь, сволочь, сволочь...»

Сняла со спиртовки чайник, расстелила салфетку, сдвинув на край стола грудку писем к «Искре», приоткрыла дверь в кабинетик — тесная квартира, зато удобно, рядом с библиотекой Британского музея, — увидела: сидит, откинувшись в плетеном кресле. «А, да-да, Надюша, да, милая, конечно, пойдем пить чай, пойдем ужинать. Сосисками? Ах да, мы теперь не дойчи, мы дети Альбиона...» Господи, когда это кончится, эти скитания, эти перемены фамилий, стран, адресов...

## 1

Дом на Охте — обыкновенный питерский дом, с двором-колодцем, лишенным растительности, а сейчас, зимой, особенно гулким, холодным. На двери, у почтового ящика, приколот визитка: «Страховой агент общества «Саламандра» Шубенко Григорий Иванович». В неверном свете электрической лампочки, да еще сквозь синие очки, разобрал с трудом. Огляделся привычно, вслушался — хвоста нет. Нажал кнопку.

«Поздненько припожаловали, господин хороший, но — милости просим, раздевайтесь, позвольте, помогу...» Вот оно как... Правильно, где узнать его теперь, синие очки, палка, нужная для ощупывания дороги, но с палкой невольно горбишься, и длинная бородаща отросла, не клином, как бывало, а деревенская, лопатой. Не знамо как выглядишь теперь. Хорошо, что хоть одежда пристойная... Молча поклонилась, выйдя, хозяйка, страхового агента Шубенко привычно распахнул дверь, придержал под локоток, милости просим, пожалуйста... Обучился, дьявол, новой профессии... Хозяйка же вглядывалась пристально, мало бывает у них посетителей, что ли... Кинулась, заплавав. «Ва-ася, Ва-асенька!»

«Наблюдаемый по бакинскому комитету РСДРП Василий Андреев Шелгунов, 35 лет, взят под наблюдение, будучи проездом из Екатеринослава в Баку, засим в Харьков. Прибыв в Петербург 31 декабря сего 1902 года поездом в 9 ч. 40 м. утра и оставив на вокзале в кладовой вещи, состоящие из постельной принадлежности и плетеной корзины, сел на извозчика, в пути ни с кем не встречался и остановок не делал, будучи взят под наблюдение агентом, следовавшим на другом извозчике. Филер «Почтовый».

«Вы совершенно правы, господин подполковник, имеет прямой резон испробовать новую методу как раз в данном случае. Поверьте, без лести, но у вас, господин подполковник, светлый разум и прозорливость, и, как знать, вполне возможно, метода эта будет названа вашим именем...» Уф-ф... Бревно. Дубина. Сыщик поганый. Напялил мундир, университетский знак нацепил, надулся вроде индюка. У Чехова, кажется, говорено: университет развивает все способности, в том числе и глупость. Черта лысого ты методой своей добьешься. Все равно позовешь меня. Вот я-то и выкину козырь. На голый крючок поймаю, не трепыхнется.

«Значит, не признал меня, господин страховой агент Шубенко, ишь как приладили Ваня Бабушкин, едрит твою... И не признал. Что ж, укатали сивку крутые горки. Налей еще по чарочке, буду рассказывать. А ты, Прасковья Никитишна, заупокойную не пой, я живой и живу еще. Жениться бы мне, говоришь? Спасибо, Паша, на добром слове, только поздно теперь... Слушайте, значит, коли угодно. Значит, приехал я в Баку. Хренов-

ский, скажу, город. Ветры дуют беспрестанно, пыль в глаза садит, рот забивает, хоть каждую минуту прополаскивай. Газом воняет. Дым черный кругом, ад крошечный. А народ темный, нищета. Промыслами владеют Нобель и Ротшильд, в мастерах тоже иностранцы.

Когда ехал, знал, что в Баку есть с в о и. Леонид Борисович Красин, помнишь, брат Германа, и Классон, Роберт Эдуардович, на строительстве электрической станции. Встретил меня Красин хорошо, по-товарищески. Определил слесарем. Пригляделся: трудно будет. На всяких языках талдычат, большинство же по-русски ни бум-бум. Однако понял: через наших местных товарищей работу паладить можно. И вскоре сложилась благоприятная обстановка. Помнишь, как в Балтийском выбирали старост из рабочих? И в Баку тоже выборы провели. В числе троих и я оказался в старостах. Главное: после директора заправлять делами стали Красин, Классон и я. Получается — **рабочая администрация**. — «Ну, положим, не рабочая, — сказал Бабушкин, — двое инженеров, да и ты стал, как это называется, рабочим аристократом». Иван, конечно, подшучивал, но Шелгунов не принял подпачки. «Хорошо, допустим, не рабочая, так — **партийная**». — «Снова не выходит, Классон в партии не состоит», — поправил Иван. «Да отвяжись ты со своей мелкой придирчивостью, что за манера цепляться к словам, — рассердился Василий. — Ты слушай, дело ведь говорю. Значит, выбрали меня старостой, и сразу же первый конфликт. Механик ударил рабочего, который на дежурстве заснул. Спать, конечно, безобразие, но рукам волю давать, сам понимаешь... Рабочий мне пожаловался, а я — к Леониду Борисовичу, покумекали, ударили в рельсу — сходка! Директора, немца Гофмана, пригласили. Выделили обвинителя из местных рабочих, **татарами** называют по-тамошнему, а правильно — азербейжанцы. Больно плохо по-русски говорил, пришлось фактически обвинителем

быть мне. Директор помалкивал: может, впервые увидел всех подчиненных сразу, почувал, какая мы сила. В общем, постановили рабочего того за нарушение порядка наказывать, а механика заставить перед ним извиниться за рукоприкладство. Но Гофман дальше пошел: тут же объявил, что механику дает расчет. Я понял, что заводской рабочий староста может многое сделать, поставил в комитете вопрос создать общебакинский совет старост, но городские власти волею, а меня захватили партийные дела. Комитет в Баку достаточно крепкий, Авель Енукидзе, Владимир Кецховели, Богдан Квунянц...»

«Вася, ты погоди малость, — попросила Прасковья Никитична, — я Лидочку спать уложу, мне тоже послушать охота». Ушла с дочкой.

«Значит, позапрошлый год, — продолжал Василий чуть позже, — Ладо Кецховели и Авель Енукидзе с другими товарищами наладили подпольную типографию «Нина», слышал? Печатали сперва только свою, кавказскую газету «Брдзола», то есть «Борьба», по завели переписку с Владимиром Ильичем, тот очень заинтересовался типографией, нельзя ли печатать «Искру» с матриц, разъяснил, какие преимущества у этого способа. Увы и ах, с доставкой матриц не получилось. Однако печатание «Искры» сумели организовать, хотя и с трудом: шрифт русский еле достали, наборщики русского не знают, набирали по буквам, опечаток полным-полно. Да и то недолго продолжалось, застучали, типография н а к р ы л а с ь. Цапнули, собаки, Ладо, упрятали в Метехский замок, самая там страшная тюрьма. Хорошо, что в Тифлисе подпольная типография продолжала функционировать, там работал Сережа Аллилуев, раздобыл комплект шрифта, «Искру» пока не тискаем, но кое-что н а ш л е п а л и, вот и вам привез...»

Паша подала крепкого, душистого чайку, поставила варенье вишневое, без косточки.

В дверь забарабанили кулаками. «Ясно,— сказал, бледнея, Бабушкин,— они. Позвонить по-человечески не изволят. Пашенька, у нас в порядке всё? Ладно, пойду открывать, иначе двери высадят. Общество «Саламандра» боится от огня, а не от арестов. У тебя, Вася, паспорт в порядке? У нас вроде тоже».

«Л и п а,— сказал жандармский подполковник.— Липа, господин Шубенко, он же Бабушкин, Иван Васильевич. Вот у вас, Прасковья Никитишна, паспорт подлинный, это нам известно. А с вами, Василий Андреевич, рады познакомиться лично. Харьковские наши коллеги вас ве л и. Извольте собираться, господа. Обыска не будет».— «Как же так,— спросил Шелгунов,— не по правилам, господин подполковник, придется выпустить за недостаточностью улик».— «Э-э, батенька,— все еще добродушно возразил жандарм,— уж на вас-то улики имеются. Корзиночку на вокзале, из кладовой, изъяли. Что же касается господина Бабушкина, то прежних улик и поводов довольно, побег хотя бы из Екатеринослава. Прошу, господа. И вы, Прасковья Никитишна, извольте».

«Дочка у них маленькая,— взвился Шелгунов,— ребенка пожалели бы».— «Еще лучше, что маленькая, добавочной койки не потребуется, а молочка найдем»,— продолжал мило шутить жандарм. «Не позволю!» — крикнул Василий, распростер крестом руки. «Ну, ну! — прикрикнул подполковник,— тоже мне апостол сыскался!» И, отбросив б л а г о в о с п и т а н н о с т ь, крестанул фельдфебельским набором.

Лидочка Бабушкина вскоре умерла в «Крестах» от простуды.

4

Каждый хочет оставить след на Земле, хочет еще при жизни гордиться чем-то содеянным. Отдельного корпуса жандармов подполковник Рыковский, тот, что арестовал

Шелгунова и Бабушкиных, и правая его рука — ротмистр Сазонов не были исключением, взыскую и власти и славы. Старательно вдумывались в опыт Сергея Васильевича Зубатова. Человек неглупый, понимал, что революционное движение в стране давно рвется паружу, пытался с помощью своей агентуры ввести его в чисто экономические рамки, оградить правительство от политических требований пролетариата, жаждал представить власть как силу надклассовую, готовую улучшить положение рабочих за счет промышленников. Открыл чайные, там либеральные профессора вели душеспасительные беседы, занимались просветительством... Однако ж, размышляли Рыковский и Сазонов, слишком уж пассивен был коллега Зубатов, слишком полагался на то, что профессорские чтения в рабочих обществах отвлекут чумазых от политики. Правда, Сергей Васильевич действовал порой и небезуспешно. Сумел организовать в 1902 году манифестацию возле памятника государю-освободителю в Кремле, пятьдесят тысяч рабочих и мещан возлагали венок. На первый взгляд — впечатлительно, а все-таки не то, не то. Изъявление народной любви — это, конечно, недурственно, однако в теперешних обстоятельствах надо бы что-то похитрей, так, чтобы не просто любовь выказывали, но и требования выставляли, да-с, уважаемый коллега. Вот мы и подкинем идейку. Это раз. И еще: прежние способы воздействовать на задержанных социалистов ныне вряд ли эффективны. Угощать папиросками, обедами, пожимать ручку — старо, это не слишком действует, хотя и не отменяется. Тут надобно иное: давить на психику. И не ударами кулаком об стол, и не выдержкой в предварилке, где человек томится, не зная предстоящего наказания. И не оповещением о том, будто продал товарищ. И не очными ставками. Нужно другое. Надобен эксперимент. Вот и на Бабушкине попробовали: взяли не только жену, а и

малую дочку. Нет, выдержал. Но, слава тебе господи, цапнули еще и Шелгунова. Фигура такого же масштаба, как и Бабушкин. Вдобавок почти слепой, значит, находится в состоянии растерянности. Это надо взять в соображение. Испытаем! Нанесем удар оттуда, откуда не ждет, посмотрим, что получится...

«Раздевайтесь!» — отрывисто приказал ротмистр Сазонов. «А я и так без пальто», — удивленно сказал Шелгунов, подумав: запарился жандарм, глаза ему застилает. И с чего — приказным тоном, всегда ведь: прошу, будьте любезны, Василий Андреевич... «Раздевайтесь!» — уже прямо-таки рывкнул жандарм, а доктор тюремный в мундире под халатом пояснил: «Извольте раздеться до нага».

Среди многих видов унижения — когда не можешь ответить на брань, когда хлещут по щекам, когда тыкают, — среди многих унижений есть и понуждаемое раздевание. Избытком стыдливости Шелгунов не страдал, но тут, в кабинете, рядом с казенно-торжественной, а не больничной мебелью, перед мужчинами, облаченными в форменную одежду, он дрожал от бешенства, от бесперемонности, с какой заглядывали в рот, в уши, щупали мускулы, от приказа пройтись нагишом по ковру, присесть — и все это врач проделывал медленно, докладывая ротмистру о результатах осмотра, — Василий давился бешенством, вот возьмет и заедет голой ногой в плоский живот докторишки, но сделать это значило бы унижить себя, сдержался, ствечал на вопросы. И лишь когда Сазонов с нарочитой жандармской вежливостью сказал: «Премного признательны, прошу одеваться», в Шелгунове очнулся прежний питерский Васяка, и он, Васяка, шарахнул ротмистру в лицо: «Так ровно облачатся, господин хороший, ведь еще в одно место не заглянули...» И обозначил, в какое место.



Нимало не сомневаюсь, что ваш психологический эксперимент с Шелгуновым не удался, его такими фокусами не проймешь, Ваську-то. И я не сомневался, что прибегнете к моей помощи. Понимаю вас, господа подполковник и ротмистр. Понимаю и презираю. Вы для меня — такие же подопытные морские свинки, как и эсдеки, проданные мною и оптом и в розницу. Васька передан мне, и с ним я управляюсь, я, я, а не вы, господа...

«Пожалуйте, господин, наверх, а потом направо». — «Какого черта указываете, без вас знаю». — «Прошу покорно прощения, ваше благородие, виноват-с... Дубины, фараоны, хамье. Я сам тут сидел, знал бы ты, служивая харя, мурло, теперь-то лебезишь, благородием величаешь, готов и превосходительством... «Дальше сопровождать не требуется, знаю, куда идти, вы свободны...» Пошел ты...

Камера № 105. Сперва погляди на исподтишка. Ай-ай, перемерился как... Бородища лопатой, волосы длинные, лежит лицом кверху, темные очки. Ладно, поднимем. Итак, Василий Андреевич, алле, гоп! Начинается цирковое представление: Шелгунов и я... «Здравствуйте, Василий Андреевич, дорогой мой, рад вас видеть!» — «Здравствуйте, това... Здравствуйте, господин...»

«В январе 1894 года произведен обыск... в том числе и у Михайлова. На допросах всем читали подробно о составе общества и т. п. Жандармы заявляли, что дело возникло по доносу одного из бывших членов. От Михайлова всякое подозрение было отстранено тем, что жандармы говорили, что лишь потому придано значение этому пустому делу, что в нем замешан явный революционер. В то же время произошла стачка на фабрике Воронина. Михайлов проник к ним и стал устраивать сборы в их пользу. В феврале было взято 8 рабочих, имевших дело

с Михайловым... С этих пор Михайлов начал снова сближаться с ouvriers (рабочими.— *Ред.*), и ему удалось проникнуть в кружки, руководимые народовольцами. Летом 1894 года последние были взяты. На следствии оказалось, что полиции многое известно. На нашем следствии стариков предъявлено было обвинение в знакомстве с несколькими из этих народовольцев... На следствии он в качестве обвиняемого оговорил всех своих товарищей, некоторым обвиняемым... читали подробный его доклад о составе разных групп».— Владимир Ильич Ульянов. Из сообщения, написанного в Думе предварительного заключения, между строк книги, 1896 год.

«Департамент Полиции считает долгом уведомить Ваше Превосходительство, что, по соображениям розыскного характера, принятие в настоящее время каких-либо мер против... Михайлова представляется безусловно нежелательным».— Н. Н. Сабуров, тайный советник, директор департамента полиции. Из секретного письма начальнику Санкт-Петербургского жандармского управления, 17 января 1896 года.

«Михайлов состоял агентом охраны с 1893-го, систематически дезорганизовал работу «стариков», противопоставлял ей «молодых», недовольных тем, что «старики» из конспирации держались замкнуто. Отбивал рабочих от «стариков», через них нащупывал весь состав за Нарвской заставой, в Гавани, в Коломне и др.».— Николай Семенович Ангарский, революционер, литератор. Из воспоминаний, опубликованных в 1920 году.

«Михайлов стал действовать очень искусно. Он старался расширить свои связи среди рабочих, залезал во все, по возможности, заводские кружки, особенно активных рабочих часто приглашал к себе на дом и, тонко выспрашивая их, не подозревавших этой игры, разузнавал о нас многое, но далеко не все... Мартов почти с уверенностью говорил мне о нем как о провокаторе. Я в свою

очередь, уже не стесняясь, предупреждал товарищей, а в особенности рабочих, не иметь дела с этим мерзавцем. Это было ему передано, и он заявил тому же Мартову, что лично расправится с теми, кто будет распространять о нем позорящие слухи, причем прямо назвал меня. Мартов перед арестом еще успел переговорить об этом с Радченко, и тот... настойчиво убеждал меня не встречаться с Михайловым. «Так не ходите на студенческий бал, я знаю, он решил дать вам пощечину в целях своей реабилитации». Во мне все вскипело: «Я испугаюсь Михайлова? Непременно пойду!..» Я пошел на бал в приподнятом настроении, готовый к драке, но драка не состоялась: Михайлов на бал не явился». — Михаил Александрович Сильвин. Из воспоминаний, относящихся к периоду после ареста членов организации в декабре 1895 года.

«Вы — провокатор», — сказал один из студентов, когда Михайлов вошел в комнату. Его прерывающиеся ответы, уверения ни на кого не подействовали, и мы предложили ему категорически оставить наши кружки и не входить с нами ни в какие сношения». — Александр Павлович Ильин, слесарь, организатор рабочих кружков, арестованный в 1896 году. Из воспоминаний, опубликованных в 1926 году.

«Обвиняемые Петр Акимов, Порфирий Михайлов, Николай Михайлов и Василий Галл дали при допросах откровенные показания, во многом способствовавшие выяснению обстоятельств настоящего дела, а последние двое из них, кроме того, оказывали содействие при розысках». — Из «Доклада по делу возникших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 гг. преступных кружков...»

«По вменении Николаю Михайлову в наказание предварительного ареста подчинить его... гласному надзору полиции на два года». — Н. В. Муравьев, тайный советник, министр юстиции. — Из секретного письма, излагаю-

щего содержание высочайшего повеления по указанному делу, 29 января 1897 года.

«Михайлов Н. Н. (1870—1905) — зубной врач; провокатор, по доносу которого в декабре 1895 года был арестован В. И. Ленин и группа «стариков»... с 1902 года был чиновником департамента полиции; в 1905 году убит в Крыму эсерами». — Биографическая справка в приложениях к Полному собранию сочинений В. И. Ленина.

## 6

«Здравствуйте, дорогой Василий Андреевич, рад вас видеть», — сказал он, и этими словами моментально насторожил Шелгунова: обыкновенная фраза, но связанная навсегда с жандармами, это их привычная формула. Михайлов протянул руку, и Василий понял, что поразило еще: тот был без конвоя, даже без сопровождающего надзирателя. Рука повисела, дрогнула, однако не упала бессильно и обиженно, Михайлов достойно сунил ее в карман дорожного, с каракулем, пальто и привычно — да ведь и он отсиживал здесь! — уладился на табурете. Помолчали. Понятно, думал Шелгунов, а ведь предупреждали Сильвин, Радченко, я им верил и в то же время сомневался, может... Вот как обернулось. Ну да.

Михайлов заговорил, слишком старательно усмехнувшись: «Как можете догадаться, Василий Андреевич, я принял должность в отделении по охранению общественной безопасности и порядка с минувшего, девятого второго». Полностью обозначил, сука. Прежде называл, как и мы, охранкой. Послушаем дальше. «Видите, положения своего не скрываю, — сказал Михайлов, — пришел же для откровенного и важного разговора». — «В агенты вербовать? — спросил Василий, не скрывая злобы, — не выйдет, не из того вылеплен теста». — «Вербовать — это, простите,

не моя прерогатива, для этого существует всякая жандармская сволота». — «Дешевый приемчик, — сказал Шелгунов, — анафеме жандармов предавать, уж давайте прямую». — «Хорошо, — согласился Михайлов, он курил, по-арестантски стряхивая пепел в горсточку. — В таком случае прошу выслушать до конца. Вы отлично знаете, Василий Андреевич, внешние поступки не всегда проявляют сущность человека, мотивы же поведения бывают прочно сокрыты от окружающих. Вы слышали о Николае Клеточникове? Надеюсь, не осуждаете, а восхищаетесь? А ведь тогда его многие презирали, еще бы, в Третьем отделении у жандармов, по доброй воле, мерзавец! Подлинная его роль теперь известна. Но что, если предположить: я тоже К л е т о ч н и к о в, только новой формации. Я не ворую у жандармов списки, не заучиваю наизусть сведения, не оповещаю ваших о предстоящих арестах. Я стремлюсь узнать главное — их общие намерения, их средства в подавлении движения. Я с ними спорю открыто, не скрывая своих убеждений. Но при этом я уверил, кажется, их, что смогу повернуть рабочую массу в нужном им направлении. Я пользуюсь доверием той и другой стороны...» — «Ласковое теля двух маток сосет», — перебил Шелгунов. «Нет, служу в конечном счете делу революции, — спокойно возразил Михайлов. — И могу заверить, что лишь благодаря моим умным, извините за нескромность, показаниям Ульянов, Кржижановский, да и вы тоже отделались сравнительно легко».

«Врешь, — подумал Шелгунов, — мы ведь тебе не шибко-то доверяли, не давали поручений, только на занятия кружков ходил, знал кое-кого в лицо, так не один ты знал...» «Да, служу делу революции, — продолжал Михайлов. — Но мои возможности ограничены: многие рабочие по-прежнему не доверяют интеллигентам. Я отклонюсь немного. Представьте, что восстание декабристов возглавил бы некий солдат из крестьян. Мыслимо? Нет,

разумеется. Или руководителем движения интеллигентов стал бы рабочий, пускай и самый образованный? Нет, нет и нет. Любое широкое общественное движение обязано иметь вождя, выдвинутого из коренной среды. Итак, нам нужен вождь. Умный, прозорливый, образованный, четко понимающий конечную цель и средства к ее достижению, пользующийся авторитетом и доверием в массах, способный не только выбрать и поднять знамя, но и повести десятки, сотни тысяч, миллионы. Нужен вождь пролетариата, вышедший из среды самого пролетариата!»

Последние слова он и з р е к а л. Шелгунову претило позерство, нарочитость, но сейчас он подобного в Михайлове не увидел. «Нет-нет,— сказал тот и сделал останавливающий жест.— Вижу, вы правильно поняли, однако не спешите с ответом. Степень ответственности велика. Подумайте. Время терпит. Хотелось, чтобы вникли основательно. Прошу помнить самое основное: Зубатов добивается того же, чего и мы, социал-демократы,— народного блага. Но если Ульянов и ниже с ним намерены идти через восстание, Зубатов — мирным путем. Нужно вырвать у царя уступки, ему народ верит, и надо, чтобы он собственной рукой даровал политические права и экономические средства к нормальному существованию. Вот задача задач. И счастлив окажется тот, кому дано повести весь трудовой народ России ко всеобщему счастью, но пролив при этом крови ни своей, ни чужой,— она, чужая, тоже ведь к р о в ь. Подумайте, Василий Андреевич. И если вы решитесь, вам обеспечена полная свобода. Не только в смысле незамедлительного высвобождения из этих малопривлекательных стен, а свобода в большом смысле, свобода любых действий. Подумайте!»

Вскоре Михайлов ушел, посулив навеститься через несколько дней. Он оставил Шелгунова в растерянности, в той, каковую столь желательно было добиться ротмистру Сазонову.

«Дур-рак,— думал Михайлов.— Ла-поть. Вождь народный, видите ли. Скажите на милость, ему лестно повести массы. Тоже мне, Иван Болотников, Емелька Пугачев, Козьма Минин... Васька ты, и останешься Васькой Шелгуновым, слепая тетеря. И купил я тебя задешево, на голый крючок. На честолюбии сыграл. А сам я не честолюбив? Ну, я — другое дело. Честолюбием движется мир. Все мы тешим этого беса. Но мое честолюбие — осознанное, я всяким Васькам не чета».

7

Миновало несколько дней. Ротмистр Сазочов снова сделался предельно учтив, то и дело повторял: «Скороскоренько, Василий Андреевич, мы не держиморды, понапрасну здесь не томим». Шелгунов напомнил про те четырнадцать месяцев отсидки, жандарм даже руками всплеснул. «Да полноте, Василий Андреевич, вы же все куда как счастливо отделались», — слово в слово повторил Михайлова. Тот не показывался: наверное, занял позицию выжидания.

И все эти несколько суток Василий провел почти без сна. На тридцать шестом году предстояло принимать решение, важное не только для себя, но и, думал он, для всего д в и ж е н и я в целом, чем черт не шутит. О Зубатове он, конечно, знал, к затеям зубатовским относился с должным скептицизмом, полагая, помимо прочего, что если в патриархальной, полукрестьянской Москве, неспроста прозванной б о л ь ш о й д е р е в н е й, все эти чаепития под просветительские разговоры, быть может, и годятся, но здесь, в Питере, основная масса рабочих по развитию своему куда выше, начал складываться уже и п о т о м с т в е н н ы й пролетариат. Быть может, в Москве и годится... Но, кажется, и там начинания Зубатова сходят на нет. Как знать, не прав ли Михайлов или тот,

кто стоит за ним, не по собственной же инициативе пришел Михайлов к нему в камеру, неспроста и утешивал, и разворачивал заманчивые картины.

А картина и в самом деле представилась Шелгунову заманчивой. Представилось ему: Дворцовая площадь запружена людьми, высоко сияет победное летнее солнышко, реют птицами алые знамена, гремит медь военной музыки, почему-то высокая колесница, вызолоченная, звонкая вся, и на колеснице подобие кафедры, и на кафедре он, Василий Шелгунов. Борода бьется по ветру, летают голубями листовки, несется восторженный, слитный клик толпы, и над головами, над площадью, над Зимним, где у открытого нараспах окошка вникает сам царь с царицею и приближенными, разносится его трубный, уверенный, могучий глас...

Он отгонял эти по-мальчишески смешные видения, как отгоняют в молодости тайно-грешные помыслы, и опять возвращался к ним, кляня себя за несолидность, за ребячливость, попрекая и осуждая, и опять возвращался к ним и, лишь набегавшись вдосталь по камере, свалившись на койку, принимался рассуждать спокойно, однако и в спокойных этих рассуждениях получалось, что игра стоит свеч, что и в самом деле возможно идти мирным путем, ежели взяться за дело с умом, и не только с умом, но и с пониманием истинной души русского рабочего, с тем пониманием, какого, нет сомнения, лишен и Михайлов и тем паче жандармский полковник (или коллежский советник?) Зубатов и которым, без спору, вдосталь наделен он, Василий Андреев Шелгунов, пролетарий хотя и не потомственный, однако трудящийся в заводах и фабриках с малых лет.

8

«Хотел бы побеседовать лично с Зубатовым,— сказал он Михайлову,— мне, извините, ваших заверений мало,



должен сам убедиться, должен быть уверен в успехе». — «Постараюсь, Василий Андреевич, — пообещал тот. — Скоро свидимся...»

Теперь Михайлов ждал в гулком вестибюле, улыбался во всю ширь, взял под локоток, повел к себе. Кабинет на Гороховой — отдельный, значит, не последняя спица в колеснице. «Итак, Василий Андреевич, вынужден огорчить: Зубатов занят предельно, принять вас не сможет. Однако не смущайтесь, прорисовывается иной план. Существует в Петербурге... ну, скажем так, попик один. Между прочим, по внешности — Аполлон Бельведерский, и зовут подходяще, Георгий Аполлонович, по фамилии Гапон. Весьма рекомендую с ним встретиться, надеюсь, найдете общий язык».

Быстренько набросал записку: «Многоуважаемый Георгий Аполлонович, представляю Вам человека, который может принести больше пользы рабочему движению, чем мы все, вместе взятые». Дал прочесть.

Что же это получается, думал Шелгунов, садясь в санки. Ваня Бабушкин головою рабочего движения называл, Женя Адамович в Полтаве говорила, что для налаживания работы его, Василия, одного вместо многих достаточно, теперь вот Михайлов о том же... Санки мчали быстро, голова покруживалась.

Встретились в Александро-Невской лавре. Пробежав записку, священник — и в самом деле красавец, волосы воронова крыла, глаза огромные, черные, светятся диковатым фанатическим огнем, лицо белое, никакой холерности притом, и руки трудовые, крестьянские с крупными прочными ногтями — сказал резко: «Извините, но я с вами свободно говорить не могу, поскольку вас рекомендует охранка». — «Так ведь и вас тоже она рекомендовала мне, получается, квиты», — нашелся Василий. Священник остановился, будто лошадь, осаженная вожжой, — до этого нервно бегал по келье, — поглядел недоумен-

по, улыбнулся одними губами, сказал: «С охранкой не имею общего, имею честь непосредственно сноситься с господином министром Виктором Константиновичем фон Плеве и господином градоначальником Фуллоном,— он произнес титулы, и Шелгунову послышались интонации Михайлова, когда тот изрекал у него в камере.— Впрочем, по сути вы правы, дело, разумеется, не в том, какое учреждение рекомендует, а в персоне recommendателя, господину Михайлову нет оснований не доверять. Будем откровенны, сын мой». Вероятно, Гапон был нервно чувствителен и заметил, как Шелгунов слегка поморщился, слышав поповское обращение, он поправился тотчас: «Василий Андреевич, будем откровенны. Подпольная работа социал-демократов непродуктивна, пропадает втуне, ибо проповедничество их распространяемо лишь на ограниченное число наиболее грамотных рабочих, социалисты избрали пагубную, еретическую идею свержения самодержавия, посему и находятся постоянно под угрозой провала, карающий меч висит над ними! Русский народ православен, его вера в государя как помазанника Божия весьма крепка. Ваши клики «Долой царя!» не отзовутся в сердцах народных, а именно в народе, не в узком круге надобно искать опоры, готовить к миролюбивому выступлению с требованием улучшить бытие наше. Не кровопролитием, чуждым душе православной, но смирением и верою, трудолюбием и взыванием к раскудку, совести, сердцу государеву, страждущему за люди своя, умножаем будет хлеб наш насущный! И эти мысли разделяет Сергей Васильевич Зубатов, и я с ним согласен. Однако...»

Гапон был хорош, этого не отнять. Шелгунов залюбовался им, даже смешанная его речь, где диковинно переплетались слова почти что из прокламаций с церковными словесами, казалась привлекательной, своеобразной. Конечно, Георгий Аполлонович красовался, не без

того, но Василий внимал священнику с уважением и некоторой завистью. Но притом непрерывно торчала в голове мыслишка, высказанная Михайловым: во главе массового движения надобен рабочий! Гапон хорош собою, речист и, похоже, искренен, однако где это и видало и слышано, чтоб народ с революционными требованиями шел во главе с попом?

«Однако,— продолжал Гапон,— Сергей Васильевич увлекся культуртрегерством, сиречь просветительством, его деятельность распылена, тогда как надобна единая организация, да, организация — со своим уставом, с ясно выраженной целью движения,— это мною взвешено все и обдумано, и благословение властей поддерживающих не преминет последовать, и я ищу опоры в таких, как вы, сын мой, Василий Андреевич, ибо Николай Николаевич не сим днем, а и ранее говорил о вас».

Опять это сын мой, подумал Шелгунов, и спросил напрямик, сколько же лет от роду святому отцу, оказалось — на три года моложе. Гапон понял, к чему вопрос, даже извинился за неуместное в данном случае обращение, суть ведь не в том...

«Да, суть не в том,— сказал Шелгунов.— Предложение ваше не лишено смысла, надобно его обмозговать». — «О том спору нет,— согласился Гапон,— вас устроит, если встретимся через три дня здесь же?»

Посоветоваться не с кем, знакомых в Питере почти не оставалось. Разве что Николай Полетаев. Но тот, как и Норинский, резок и остер на язык, только засмеет. Надо решать самому. В речи Гапона виделся немалый смысл, идея миролюбия Шелгунову казалась привлекательной. И вспомнил он брошенные кем-то из своих слова — в интересах дела можно идти на компромисс с самим чертом и его бабушкой. Что, если попробовать? Василий не слишком отдавал себе отчет в том, что прежде всего привлекал соблазн воистину стать головою

движения, как некогда выразился о нем Бабушкин. При том Василий решил ни Гапону, ни Михайлову сразу положительного ответа не давать, держаться уклончиво, посмотреть еще и еще.

Через три дня встретились, Гапон расспрашивать не стал, предложил ехать к Михайлову: счел, видимо, что Шелгунов согласен. Взяли вашьку. В дороге Василий думал, что скажет Михайлову примерно так, дескать, боролись с революционерами посредством арестов — не помогло, стали засылать провокаторов-одиночек, вроде вас, господин Михайлов, — тоже слабовато. Надумали осуществить провокацию массовую, через вашего Зубатова, — и это не пособило! Решили сменить курс, делаете ставку на таких, как я... А что, если я вам поперек стану действовать, под вашим же знаменем?

Нет, не убедительно, и, главное, они ведь не согласятся на подобное, что-то надо сказать другое... Впрочем, подскажет сама обстановка.

Опять — широченная улыбка Михайлова, воплощенная благожелательность. «Надумали, Василий Андреевич? Похвально, я же говорил, что вы — прекрасный, общий язык найдем...» Шелгунова осенило: вот как надо поступить! «Я готов к вашей организации присоединиться, но сперва в качестве рядового участника, поживем — увидим, что получится у вас». — «Э, нет, лишняя единица нам не требуется, — сказал Михайлов, — у нас, кинь только первый клич — будут сотни тысяч. Нам нужны не рядовые, а организаторы, руководители. Нужен, если угодно так обозначить, главнокомандующий». — «У вас же отец Гапон, — ответил Шелгунов, — а двум медведям в одной берлоге...» — «Не увильвайте, Василий Андреевич, — резко сказал Михайлов, — отлично понимаете, о чем речь. Нужен рабочий-руководитель, притом авторитетный, многим знакомый лично... Надежда — на вас. Однако не торопим. Поезжайте в Баку, за-





вершайте дела. К слову, средства у вас найдутся на дорогу? Устроить вам бесплатный проезд — в моих силах. Не возражаете? С удовольствием сделаю, прошу подождать несколько минут».

Вышли вместе с Гапоном, тот не протянул Василию руки, Шелгунов остался ждать в кабинете. Окно без решетки. На столе — ни единой бумажки.

«Прошу,— сказал, возвратившись, Михайлов.— Первого класса купе, на двоих, отдохнете. Только прошу расписаться в получении билета, канцелярия, знаете ли...» Ха! Почему бы не прокатиться за счет охраны в мягком купе? Никогда еще не доводилось. Давайте, господа жандармы, это мы с удовольствием. «Расписочку вашу,— сказал Михайлов,— мы вот сюда, в сейфик». И подумал при этом: «А тебя, Васька, под особый надзор».

И только в поезде, развежившись на диване, Шелгунов сообразил: он же дал охране расписку! Козырь им в руки, олух ты царя небесного!

1903-й, начало года. В Севастополе создан комитет по руководству революционным движением в Черноморском флоте, впоследствии вошел в комитет РСДРП. Только что созданный Казанский, а также существовавшие ранее комитеты партии — Пермский, Тульский, Уфимский, Донской, «Сибирский социал-демократический союз» и «Северный рабочий союз» заявили о признании «Искры» или о сотрудничестве с ней.

Избран новый состав Организационного комитета по созыву II съезда партии, принят проект устава съезда и утвержден состав участников.

Продолжались забастовки, стачки, аресты. 28 февраля схвачены руководители Бакинского комитета РСДРП. 2 марта в Баку состоялись политические демонстрации,

организованные уцелевшими от арестов членами комитета РСДРП. При столкновениях с полицией задержаны около 50 человек.

### *Глава четвертая*

Из России приходили в Лондон сообщения о событиях разнообразных, то радостных, то воистину трагических, и все они, отчетливо сознавал Ленин, свидетельствовали об одном: революционное движение нарастало, а социал-демократические организации действовали все уверенней, смелее. Наличие смуты в империи было вполне официально подтверждено Высочайшим манифестом от 26 февраля 1903 года, царь милостиво посулил «приступить к усовершенствованию государственного строя».

«Самодержавие колеблется,— писал Владимир Ильич.— Самодержец сам признается в этом публично перед народом. Таково громадное значение царского манифеста от 26 февраля... Царь чувствует уже сам, что безвозвратно проходят те времена, когда могло держаться на Руси правительство божиею милостию, что единственным прочным правительством в России может быть отныне правительство *волею народа*... Мы должны прежде всего ответить на манифест 26 февраля листками общерусскими и местными... Пусть теперь же начнут готовиться все кружки к тому, чтобы поддержать наши основные требования *силою*.

Затем, мы не должны допустить, чтобы благодарственные адреса царю вырабатывались на всяких собраниях без противодействия. Довольно уже подделывали русское народное мнение наши гг. либералы!.. Надо стараться проникать в их собрания, заявлять и там возможно более широко, публично и открыто свои мнения, свой протест против холопской благодарности, свой *настоящий* ответ



царю... Наконец, мы должны стараться вынести ответ рабочих и на улицу, заявить свои требования путем демонстрации, показать открыто численность и силу рабочих, сознательность и решительность их».

Ленинская статья эта, пронизанная мыслью о том, что в России назревает революция, была напечатана в «Искре» 1 марта.

# 1

Этот выпуск «Искры» дошел до Баку в конце месяца, вскоре после возвращения Шелгунова. В Питере Василий царскому манифесту не придал значения, пребывая в колебаниях и раздумьях из-за причудливой и запутанной истории с Михайловым и Гапоном. Статью в центральном органе, по всей вероятности написанную Ульяновым, его слог, он прочел внимательно.

Насчет листовок, проведения маевки, открытых выступлений на рабочих собраниях это было понятно. Смущало другое: призыв «Искры» к участию во всякого рода легальных организациях. Призыв и отвечал неоформленным стремлениям Шелгунова, и множил сомнения, казался противоречащим прежним, да и теперешним рекомендациям, что давала газета. Еще совсем недавно, в № 31, «Искра» высмеяла попытки зубатовцев развернуть деятельность в Петербурге: «На открытых собраниях ни один разумный рабочий не станет говорить то, что он думает,— это значило бы прямо отдаваться в руки полиции». Как же теперь, размышлял Шелгунов, выступать на открытых собраниях или нет? Линия Зубатова, кажется, понятна: отвлечь рабочих от политической борьбы, добиваться уступок от капиталистов при поддержке правительства. Кстати, Василий узнал, что Михайлов его обманул: Зубатова из Москвы перевели в Петербург, начальником особого отдела департамента полиции. Но суть не в том. Быть может, Гапон, хоть и следует за Сергеем

Зубатовым, в чем-то пойдет дальше него? Почему так настойчиво Михайлов предлагает мне стать во главе организации? Ловушка, провокация? Но к чему огород городить, если я и так был в их руках? В чем тут подвох? А если нет никакого подвоха? И почему бы тогда не согласиться? Ведь ты — один из первых, один из тех, кто зачинал рабочие марксистские кружки, тебя учили прекрасные люди — Бруснев, Точисский, Сильвин, Вавеев, Радченко, Ульянов, наконец! Может, пойти к Гапопу, двинуть напролом, повернуть его организацию, повести за собой? А ну, хватит ли у тебя сил, Васька? А ты выложись, прыгни выше собственной головы, ты же слепнешь, и пока не грянула тьма, пока способен действовать — иди!

Голова шла кругом и в буквальном смысле тоже, она болела непрерывно, — должно быть, из-за глаз. Надо бы к врачу, он понимал и откладывал этот визит, боясь узнать жестокую правду. Шелгунов после возвращения в Баку трое суток отсиживался дома, наконец сделал почти невероятное усилие, преодолел и страх перед медициной, и телесную слабость, и смятение духа, приказал себе встряхнуться, отправился к Кнунянцу.

## 2

Почти весь Бакинский комитет РСДРП арестовали в сентябре 1902 года, за решетку угодили Абель Енукидзе, Владимир Кецховели, наиболее опытные, знакомые с местными условиями работники. Леонид Красин и Шелгунов формально в комитет не входили, остатки его возглавил Богдан Кнунянц, бывший студент «технологии», в Питере Василий его не знал: в «Союз борьбы» Богдан вошел после ареста декабристов. Здесь, в Баку, Кнунянц отбывал ссылку.

Богдан только что возвратился из Тифлиса, там прошел съезд социал-демократических организаций. Пятнадцать делегатов от Тифлиса, Баку, Батума, других групп, от газет «Брдзола» и «Пролетариат» провозгласили образование Кавказского союзного комитета как неотъемлемой части РСДРП, признали «Искру», приняли разработанные ею проекты программы и устава партии, делегировали представителей на Второй съезд, выбрали руководство комитета из девяти человек. От Баку в руководящую девятку и на съезд избран Кнунянц.

«Выглядишь молодцом», — сказал Богдан, выдавая желаемое за действительное: Шелгунов чувствовал себя прескверно, жаловаться, однако, не стал.

Сообща с Богданом стали готовить маевку. Шелгунов писал прокламацию: «Товарищи рабочие! Предоставьте трусливым обывателям из буржуазии жаться около стен... Покиньте же тротуары! Завладевайте скорей площадями, широкими улицами!.. Выводите туда же всех колеблющихся! Увлекайте их своим горячим порывом и, сплоченные одной мыслью, одной волей, заявите открыто свои требования перед лицом всего мира: долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода! Да здравствует восьмичасовой рабочий день! Да здравствует социализм!..» Он писал сослепу крупными буквами, писал и радовался тому, какие нашлись возвышенные, призывные слова, листовка получилась короткая и, кажется, любому понятная, и заканчивал политическими, а не про копейку лозунгами. Особо радовался он, когда бестрепетной рукой вывел насчет колеблющихся, он имел такое право: сам он колебаться перестал — к чертовой матери Гапона с Михайловым, и здесь неупроченность всяких дел!

Маевку проводили 27 апреля, чтобы ввести в заблуждение полицию. В одиннадцать часов на середине площади Парапет взлетел красный воздушный шарик, этого

сигнала ждали на ближних улицах около пятнадцати тысяч человек. Шарик поднимался выше, выше, тогда Василий достал припрятанное знамя, привязал к своей палке, и они с Ольгинской двинулись на Николаевскую. Шелгунов нес знамя и слышал свой голос, и слышал позади поступь многотысячной толпы, колонна была бесконечной, ему представилось, что весь трудовой Баку идет сейчас за ним. И даже выстрелы из револьверов, которыми встретили у губернаторского дворца, не остановили демонстрантов. Пока что палили в воздух, а они шли вперед. Из переулков ринулись казаки, пустили в ход нагайки, потом пашки, наконец, ружья...

«Демонстрация может считаться прологом революции: еще несколько напоров, и рушится в корне прогнившее самодержавие! Если были до сих пор среди нас, товарищи, колеблющиеся, то сегодня выбор их сделан; если были равнодушные, сегодня они сделались революционерами», — писал в очередной листовке Шелгунов.

### 3

После маевки Баку не успокаивался. Произошла какая-то не совсем понятная армянская демонстрация — били в колокол на церкви, что-то выкрикивали по-своему. Разнеслись слухи о близкой армяно-татарской резне. Комитет РСДРП выделил рабочих-патрульных, они контролировали все национальные окраины, резню предотвратили, — правда, позднее она все-таки случилась...

Всероссийский экономический кризис бушевал и здесь. Оптовые цены бакинской нефти упали до шести-семи копеек за пуд, мелкие промыслы закрывались, рабочих вышвыривали, на более крупных предприятиях падали заработки, снижались расценки. Рабочие открыто выражали недовольство.

С благословения Леонида Борисовича Красина, сказавшись больным, Шелгунов на «Электрической силе» не появлялся. Он сбрил бороду, наголо постригся, пришлось отказаться и от очков, забросить палку,— теперь он, стриженный, широкоскулый, смахивал на татарина, разве что ростом выделялся в толпе.

Он побывал в рабочих районах, где функционировали комитеты партии, на крупных предприятиях. Устраивал тихие, на задворках, митинги, сколачивал новые группы и кружки, вскоре их насчитывалось десятка три, по десять — пятнадцать человек. Словом, занимался тем же, чем и все ядро городской организации. По инициативе тифлисцев создали общекавказскую партийную кассу для выпуска литературы, конспиративных расходов, помощи арестованным и семьям их, напечатали прокламацию с обращением внести в кассу однодневный заработок. «Мы на пороге великих и грозных событий»,— говорилось в листовке. Но еще не предвидели, сколь велики окажутся события.

Первого июля началась стачка механических мастерских в Биби-Эйбате. На следующий день поднялся весь Биби-Эйбат, следом — Черный город, всего примерно три тысячи забастовщиков. Пока что требования носили экономический характер, однако на третий день уже раздавались возгласы «Долой самодержавие». К пятому июля замерла вся промышленная жизнь Баку-Балаханского района, стали товарные поезда, пассажирские ходили редко, не работала конка, суда, прибывающие в порт, оказывались немедленно охваченными забастовкой, поднялись мелкие ремесленники, перестали выходить газеты.

Пятого началось и на «Электрической силе».

#### 4

Не таясь, Шелгунов зашел в кабинет Красина, в первую минуту и Леонид Борисович не узнал его, а после

захохотал, приговаривая: «И впрямь Шелгун оглы!» — «Как,— спросил Шелгунов,— бастовать-то будем?» — «Да придется, и так от прочих отстаем. Но руководить, естественно, надобно вам, не мне же с Классоном красным флагом размахивать, мы ведь вроде капиталистов, из администрации».

Все было готово, в мастерских расставлены люди, Василий сказал одному, другому, передали по цепочке, и в неурочный час раздался свисток, означавший конец работы. Ринулись во двор.

Шелгунов поднялся на крыльцо. Сотни лиц: грузины, русские, татары, лезгины, осетинцы... Разные, а настроение одно, и Василий знал: его слова перескажут на своем языке местные, он старался говорить медленнее, хотя удерживал себя с трудом.

«Товарищи,— говорил он,— Россия всколыхнулась, поднимается и Кавказ! Довольно молча жевать голодную корку и смотреть, как Нобель, Гукасов, Манташев, Ротшильд из нашего пота и крови создают себе миллионы. Правительство лишило нас всякой свободы, нам дано только право умирать с голоду, право идти под нагайки да шашки. Но мы не милости просим, а требуем своих доподлинных прав! В Баку стягивают войска. Но тот, кто хочет опереться на штыки, пускай помнит: у пролетариата есть свое оружие, булжник!»

Больше не митинговали, требования были ясны, их накануне изложили в листовке городского комитета. Для начала — требования только экономические, решили не торопить события, пускай огонь разгорится как следует, тогда и подбросим полешек...

Выбрали делегатов для переговоров с администрацией, Шелгунов и еще двое. И администрация выделила тройцу: директор Гофман, инженеры Красин и Классон. Забавно, думал Шелгунов, противная-то сторона из наших на две трети... Не мудрено, что столковались

быстро, большинство пунктов сразу приняли к удовлетворению.

Но тут возник основательный конфликт. Городские власти потребовали немедленно пустить электрическую станцию. Стачечный комитет отказал. Прислали электриков из военных матросов. Роберт Эдуардович Классон заявил: «Могу допустить к оборудованию, если дадите подписку об ответственности в случае поломки». Электрики посоветовались, ушли. Гофман хмурился, но возражать Классону не отважился.

Покуда шли переговоры, явились матросы, человек тридцать, выстроились на дворе. Среди рабочих начались перешептывания: может, дать ток для улиц и домов, нам же самим в темноте придется...

«Нет,— выкрикнул Шелгунов,— бастовать до полной победы! Не будем предавать своих на прочих заводах и промыслах! Держаться до конца!»

На поддержку матросам прибыли солдаты во главе с офицером, шустрый штабс-капитан двинулся в здание станции, Шелгунов следом.

У главной машины дежурил электрик Фогельсон, из прибалтийских немцев, спокойный, рассудительный. Офицер заорал: «Включайте ток!» — «Не могу, ваше благородие, машина не работает». — «Как это, мать-перемать, не работает, воп, огоньки всякие у машины подмаргивают». И в самом деле, какие-то указатели светились. Василий сказал офицеру по-хорошему: «Ваше благородие, не следовало бы вам не в свое дело, неровен час...» Офицер же, осатанев, ухватился за первый попавшийся рубильник. За руку его? Припишут покушение на представителя власти... Шелгунов завопил дурным голосом: «А-а! Спасайся, кто может!» И шасть к двери! За ним солдаты. А штабс-капитан умудрился всех опередить...

Стачка разрасталась, и еще в первые дни в Балаханах разрушили кочегарку, поломали арматуру. То ли неслучайные рабочие, то ли провокаторы. Комитет срочно выпустил листовку, призывал воздерживаться от насильственных актов. Не помогало. На «Электрической силе» было спокойно, комитет послал Василия в Балаханы.

Он ходил с промысла на промысел, убеждал: «Товарищи, тот, кто занимается разрушением, дает повод хозяевам вызвать войска. Наша стачка мирная, и задача в том, чтобы она крепла, а не была подавлена в самом начале, чтобы она охватила весь Кавказ». На какое-то время приутихли.

Стало известно: в Тифлисе приведены в боевую готовность войска. Весь Тифлис забастовал. Стаечная борьба перекинулась в Крым, охватила Одессу, Николаев, Киев, Екатеринослав. Прекратили работу в Поти, Кутаиси, Чиатурах, Боржоми. Всюду открыто звучало: «Долой самодержавие! Долой капитализм! Да здравствует политическая свобода!»

Над Балаханами стелился черный дым: жгли нефтяные вышки, за несколько дней сгорело около сотни. Шелгунов и другие товарищи из комитетов уговаривали: «Понятно, что все доведены до отчаяния, но мы не хулиганы, не бандиты, остановитесь! Сжигая вышку или завод, мы же сами лишаемся работы, вызовем жестокую расправу. Мы все ненавидим гнет и несправие, однако нельзя ненавидеть вещи! Стихийный гнев отвлекает от сознательной борьбы, опомнитесь, не теряйте разума!»

Призывы теперь помогли плохо. Шелгунов думал с горечью: у нас, в Питере, такого быть не могло, здесь народ темный, безграмотный, толмачи-переводчики сами далеко не все понимают... Василий извелся, исхудал, бо-



дела голова, то и дело мутилось в глазах, он еле держался.

Власти перешли в наступление. Казаки и полицейские били нагайками с остервенением, до потери сознания. Били стариков, женщин, детей. Врывались в дома, хватали спящих, ломали мебель, вспарывали тюфяки. В полицейских участках на полу стояли кровавые лужи. Некоторых арестованных прогоняли сквозь строй, как солдат во времена Николая Палкина. Избивали в тюрьмах. Раненым, изувеченным не оказывали медицинской помощи.

Комитеты РСДРП в Тифлисе, Баку и некоторых других городах Кавказа приняли решение: продолжать стачку невыносимо. 22 июля она была полностью прекращена.

## 6

За несколько дней перед тем Шелгунов свалился. Он лежал в бараке на Бапловом мысу, вконец измученный.

Как всегда, когда температура тела поднималась хоть на полградуса, он почувствовал себя полностью разбитым, начиналось полубредовое состояние, возникла убийственная тоска, лезли в голову мысли о смерти. Он с трудом вставал, кипятил чайник, — примус ревел оглушительно, раскалывая череп, боль отдавалась в глазах, переставал видеть. Есть не хотелось. Он почти не спал, пребывал в полузабытии. В комнату просачивался жирный нефтяной дым, было нестерпимо жарко.

«Нужно встать, Василий, — говорил товарищ. — Вот аспирин, вот еда. Заставь себя. Взабодись. Понимаю, болен. А встать надо. Без тебя сейчас трудно. Приехал фон Валь...» — «Фон Валь... Какой еще фон Валь, какой фон-барон?» — «Слушай, возьми себя в руки, иначе проваландаешься так до самой смерти, вставай. Н а д о. Фон Валь приехал, твой з е м л я к...»

...«Товарищи! К нам в Баку явился начальник российских жандармов фон Валь. Думаете, он прислан царем разбирать наши нужды и озаботиться удовлетворить наши требования? Как бы не так! Ему нет дела до нас, рабочих. Он примчал, чтобы приказать бороться с нами. Не думайте, что Валь умеет лишь нагайкой, пульей, тюрьмой. Он умеет действовать и лаской, и напрямик, и хитростью. Он тридцать лет борется против революции. Он хитрый, он и палач и сыщик, он умеет, как паук, опутывать сетями лжи. Не поддавайтесь! Если Валь будет груб и дерзок — дадим решительный отпор. Если будет вилять хвостом — бросим ему в лицо презрительные слова... Есть, товарищи, и другая опасность. У нас в городе рабочие разных наций, мы по-разному говорим, у каждого народа свой обычай. Нынешней весной начальник Валя, министр внутренних дел Плеве, устроил в городе Кишиневе погром евреев. Здесь Валь тоже может попытаться натравить нас друг на друга — татар на армян, русских на евреев. Не позволим поднять руку брат на брата! Докажем царскому слуге, что нас не одурачишь! Долой палачей и тиранов!»

Его мотало от слабости, он разучился говорить нормально: то и дело переходил в беседу на хриплый, митинговый крик.

17 августа, в воскресенье, в Метехском замке Тифлиса выстрелом в окошко тюремной камеры убили Владимира Захарьевича Кецховели, товарища Ладо. Ему исполнилось двадцать семь лет. Шелгунов знал его мало, но успел привязаться к высокому, красивому юноше, увидел в нем настоящего борца. Василий Андреевич, больной, полуслепой, шел в первом ряду, когда пролетарский Баку одновременно с рабочими Тифлиса устроил демонстрацию в память Кецховели. Несли транспаранты: «С каждой смертью великого борца приближаемся к цели желанной!», «Долой палачей и инквизиторов!», «Долой самодержавие!»

И хриплый, сорванный бас Шелгунова был слышен в грозном и печальном хоре: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Приехал из Лондона, где завершился Второй съезд, Богдан Кнунянц, бодрый, уверенный. Собрали городской и районные комитеты. Богдан рассказывал о том, что произошло на съезде, о своих встречах с Лениным, — Василий слушал с особым интересом, из всех здешних с Владимиром Ильичем был знаком только один он. И радовался: наконец-то партия создана не формально, а на самом деле, наконец-то определились позиции, наконец-то ленинская линия восторжествовала!

Богдан сообщил, что Владимир Ильич надеется: лошади (под этой конспиративной кличкой шел в переписке с «Искрой» Бакинский комитет) сумеют отпечатать у себя там достаточное число экземпляров съездовских документов, надо позаботиться о пополнении шрифтового хозяйства, отладить как следует печатную машину. «Вот Сергей Аллилуев за это возьмется, он после тюрьмы работал в Тифлисе, в типографии», — сказал Шелгунов.

Готовиться начали, но тут грянула полиция, фаерами разгромили бакинскую типографию. «Хорошо еще, — сказал Аллилуев, — у тифлисцев наверняка что-то припрятано». Поехали вдвоем — Василий и Сергей, — действительно, в Тифлисе разжились шрифтом, дело возродили быстро. Ждали теперь, когда из «Искры» придут материалы, переписка велась в основном через Красина, он жил на легальном положении, респектабельный, состоятельный господин, вне подозрений.

Вскоре свалилась очередная напасть — раскол в городском комитете, из семерых трое выступили за меньшевиков. Василий Андреевич не колебался, более того, предложил исключить оппортунистов из комитета. Неожиданно против выступил Кнунянц, и потому резолюция Шелгунова провалилась. Остались наедине с Богда-

ном, поругались, Кнуныц кричал: «Ни к чему драконовские меры, нужно добиваться единства партии, а не изгонять из нее инакомыслящих, исключить проще простого, а ты попробуй переубедить». Оба вспыльчивы были, но и отходчивы — покричали, помирились.

7

В ночь с 26 на 27 января 1904 года началась война с Японией.

«Боже, царя храни! Ур-р-р-я!» Вдоль Николаевской, через Парапет — усатые рожи переодетых фараонов, тупые физиономии дворников, худые лица бедноты, забитых, темных, обманутых татар, грузин, русских, морды мясников, а кругом толкутся филеры, шпики, провокаторы, — «Боже, царя храни!».

Князь Голицын, полицмейстер Ковалев, экзарх Алексий, священник Восторгов — на балконе губернаторского дома. Слезы умиления у высокопоставленных дам. Улыбочки высокопревосходительств, высокоблагородий, высокопреосвященств, сиятельств. «Боже...», «Боже, какой душка наш народ, какая прелесть!», «Ха, молодцы, господин полицмейстер!», «Стараемся, ваше сиятельство, стараемся...»

«...Товарищи. Опять война! Опять льется кровь! Опять тысячи гибнущих жизней. наших братьев гонят за тридевять земель, губят за веру, царя и отечество. Нам пужна эта война? Нет! И японскому трудовому человеку — тоже нет. Война — для ихнего императора и нашего царя, для Нобеля, для Манташева, вот для тех господ, что расселись на балконе... Долой солдатчину, долой самодер...»

«Полковник, будьте любезны распорядиться». — «Слушаюсь, ваше высокопревосходи... ротмистр, видите, воп —

в темных очках, с палкой, да быстро, быстро». — «Ух, р-растяпы. Р-растак... Пардон, медам...»

Ускользнул. Вывернулся. Прикрыли свои. Ушел.

...Как хлыстом по глазам. Взвыл свирепый бакинский ветер, качнулся и лег набок минарет. Девичья башня поплыла над морем, уменьшаясь и темнея, пока не растворилась в черном. Ослепительная радуга соединила гору Биби-Эйбат с Черным городом, — он и в самом деле черный, все кругом черно, а радуга ослепительна, от нее сыплются искры, каждая прямо в глаз, пробуравливает череп. Вдали — площадь черная, и деревья черные, и черный губернаторский дворец. Слабые ноги расползаются, свинцовый затылок оттягивает тело назад. Удар в затылок почти неощутим, словно хлопнули туго набитой подушкой. Темь. Главное, перевернуться на живот. И... ползти. Ползти. Вперед. Руки хватают ускользящий песок, галькой срывает ногти. Черная луна всплывает в черном небе...

Где-то по дороге малость оклемался, поднялся, шел, спотыкаясь, возле своего барака опять упал. Тут, на Баиловом мысу, Шелгунова знал каждый, остановили добрые люди извозчика, прямо с улицы — в частную больницу. «Ты, Шелгун оглы, не бойся, ты хороший человек, деньги соберем, тебя лечить будем, кушать носить будем, дорогой...» — «Спасибо вам, братцы». Хотелось плакать — от слабости, от растроганности. «Так-с, в правом глазу сохранилось приблизительно пять процентов зрения, что касается левого... Практически там ноль. Будем лечить. Однако скажу откровенно... Крепитесь, милостивый государь мой...»

Это было в апреле, а в мае сделали операцию, левый глаз остался мертвым — навсегда. Правый еле жил, позволял еще двигаться по улицам без поводыря, кое-как

разбирать крупные буквы... Хреновские твои дела, Василий, и доктор прямо сказал: грозит полная слепота.

«Находясь в преклонных летах и чувствуя приближение смерти, имею честь покорнейше просить... не отказать в разрешении сыну моему Василию приехать в столицу, чтобы привести в порядок мои дела и доставить мне последнее утешение повидаться с родным сыном и прожить с ним последние дни моей жизни», — писал Андрей Иванович Шелгунов. Прощение подано было в середине 1903 года и рассмотрено лишь год спустя, Василию дозволили приехать в Санкт-Петербург сроком на две недели.

## 8

Пропади все пропадом, жизни все едино конец.

В зеркале, туманном и расплывчатом, еле различал себя рядом с отцом — двое стариков. Бате и в самом деле восемь десятков, а ему и четырех нет, а все равно — дряхлый, очки темные, палка, походка шаркающая, ступни от пола не оторвать, рукой за стенку, от дома отходить страшно — вдруг опять, как в Баку? И брат Федор помер прошлый год. Алексей — в чахотке, на больничной койке... Это ли жизнь?... Да и две недели истекали.

Он дрогнул, послал Дусю с кое-как накарябанной запиской в охранное отделение, господину Михайлову в собственные руки. Господин Михайлов прибыл, утешал: «А с видом на жительство не беспокойтесь, Василий Андреевич, вы делу нужны, как поправитесь — милости прошу, «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» действует под водительством отца Гапона, вы там весьма-весьма надобны, паспорт выправим новенький...»

Нет, на этого ставку делать нечего, думал Михайлов, заведомо проигрышный билетик в лотерею. Ничего, дру-

гого сыщем, уважаемые товарищи большевики. А Васька ваш — пускай себе существует, не тронем, пускай сидит с протянутой рукой на паперти. Счастливо подыхать, Шелгунов, на помойной яме!

...Шли грандиозные рабочие демонстрации против русификаторской политики правительства во многих городах Финляндии — а он лежал на койке, то закрыв глаза, то незряче уставив их в потолок, лежал молча и, казалось, не думая ни о чем. Русские войска потерпели поражение под Вафангоу — он лежал. В Гельсингфорсе эсер Евгений Шауман смертельно ранил всем ненавистного генерал-губернатора Н. И. Бобрикова — он лежал. Приняли закон об изменении производства дел по политическим преступлениям, в Кенигсберге судили немцев социал-демократов за транспортировку «Искры» в Россию — а он лежал молча. Трое членов ЦК — Гальперин, Красин, Носков — пошли на соглашательство с меньшевиками, Плеханов тоже предпочел разрыв, партию раздирали противоречия — он и знать ничего не хотел, валялся на койке, прикладывался к штофу. Избили политических ссыльных в России, даже Лондон митинговал, эсер Е. Созонов убил министра внутренних дел В. К. Плеве, передовая часть населения ликовала, самодержавие лютовало — а он лежал и лежал, колода, чурбак незрячий...

Лежал, покуда однажды солнечным утром не проснулся раньше всех, подволок студенистое, жалкое тело к зеркалу, поглядел на себя, — и взял его страх. Что ж ты делаешь, Васька, протри свой единственный, тоже почти слепой глаз, протри, а не протрешь — и так видно, до чего ты страшен, жалок и бессмыслен, ты, питерский рабочий, ты, который Маркса изучал, кружками руководил, с Лениным близок был, с хорошими людьми на короткой ноге, в Закавказье — один из партийных организаторов, погляди на себя, морда!

Дрожащими руками он стал подправлять клочкастую

сивую бороду. Разбудил сестру. Давай отцову бритву, ножницы давай, ну, чего уставилась, стричься буду, бриться буду, хватит валяться замертво.

Преодолел и это.

### *Глава пятая*

Утро было вполне обыкновенное. Позавтракали в чистенькой кухоньке, где владычествовала Елизавета Васильевна. По давней привычке подтрунивала добродушно над своим любимым, глубоко уважаемым зятем, он платил тою же монетой, у них установилась манера вышучивания, особенно теперь, когда в жизни наступила какая-то уж очень светлая полоса. Теща полностью, или почти полностью, знала о делах и заботах детей, как мысленно их называла, и радовалась выходу, в противовес захваченной меньшевиками «Искре», газеты «Вперед», здесь, в Женеве, и тому, как много, сосредоточенно, с веселой злостью пишет он статьи, вступив в открытую и беспощадную борьбу с некогда высокочтимым Георгием Валентиновичем Плехановым, — дорого достался Владимиру Ильичу их разрыв! — и как отрадны вести из России, где, судя по всему, вот-вот грянет революция... Елизавете Васильевне хотелось принять какое-то участие в делах Володи — так она с юных его лет привыкла звать — и Наденьки, в том прекрасном и святом деле, которому ее дети полностью отдали себя. Она была верующей — правда, без рвения к церковным обрядам — и, отходя ко сну, молилась за них, тревожилась, благословляла и даже ревновала немного Володю к его собственной матери, притом жалея и бесконечно любя Марию Александровну: ей выпало такое, чего, казалось бы, не перенести женщине...

После завтрака, по-европейски легкого, Наденька поцеловала маму, и Володя, как всегда, приложился к ее



руке, а Елизавета Васильевна коснулась губами его мощно-прекрасного лба. Володю нельзя было назвать красивым по расхожим представлениям, но был он весь, весь прекрасен, эти его темные, исполненные ума, живости, доброты, серьезности, озорства, веселой, и не только веселой, влости,— глаза, этот, как отмечали почти все, сократовский лоб, этот волевой подбородок, даже лысина, столь ранняя, вовсе не портила его, напротив, украшала, как бы увеличивая и без того высокий, крутой лоб. И когда ходили гурьбою купаться — она присоединялась иной раз к молодым,— любо смотреть было на его складную, ловкую фигуру, на ребячливость, какой он в минуты отдыха безудержно предавался.

Женева пробуждалась медленно, зимнее солнечное утро не предвещало событий, они здесь вообще случались редко, а до событий за пределами крохотной, зажатой в горах, мирной и человеколюбивой Швейцарии внешним жителям, признаться, мало было забот.

Шли за утренними газетами. Из переулка вы бежал всегда легко возбудимый и многословный Анатолий Васильевич Луначарский, шляпа набок, пенсне на шнурочке упало, подхватил его ладошкой, приближался, давя в лужах ледок, никого не замечая. Владимир Ильич окликнул издали, тогда Луначарский остановился, вскинул голову, посмотрел бешено-веселыми глазами, кинул кверху шляпу, поймал, опять нацепил свалившееся пенсне и, только проделав эти несвойственные ему кунштюки, сказал с нарочитым спокойствием: «Поздравляю!» И Надежда Константиновна бросилась, расцеловала Анатолия Васильевича, Владимир же Ильич рассмеялся громко, раскатисто, молодо — ох, как любила Наденька этот его раскованный, молодой смех!

В столовой — ее держали для эмигрантов Лепешинские — народу прибавлялось с каждой минутой, стульев не хватало, Паптелеймон Николаевич тащил из жилых

комнат. Ольга Борисовна в качестве хозяйки у дверей подставляла щечку всем вошедшим, принимала поздравления, словно именинница.

Ленин еще на улице сделался деловит и собран. Его собранность выражалась и в том, что становился как бы рассеян, на обыденные слова отвечал поверхностно, вскользь, точно боялся расплескаться, растратиться попусту. Он стоял у окна, оборачивался, отвечал на приветствия и снова глядел в окошко, спина была напряженная.

Все затихли, ждали его слова и, ощутив тишину, начинали понимать: да, конечно, революция — это прекрасно, однако были ведь массовые расстрелы, там не только торжество наших идей, там льется кровь товарищей... Молча встали.

Ленин заговорил без вступлений. Полагаю необходимым, говорил он, обсудить вопрос о проведении — совместно с меньшевиками — общего митинга. Предварительно заключив с ними письменное условие, чтоб от обеих групп выступило по одному оратору, чтоб не затрагивать ни в коей мере фракционных разногласий. Не время, товарищи, для выяснения отношений! Началось!

...Написанная им буквально за несколько минут статья называлась «Революция в России» и была похожа на воззвание:

«Начинается восстание. Сила против силы. Кипит уличный бой, воздвигаются баррикады, трещат залпы и грохочут пушки... разгорается гражданская война за свободу... Да здравствует революция! Да здравствует восставший пролетариат!»

Одно из кратчайших его произведений поразило тех, кто читал рукопись, мускулистостью, экспрессией, наступательностью. Фразы кратки, словно лозунги.

Статья была тотчас заслана в набор и на следующее же утро увидела свет в номере третьем газеты «Вперед».

Десятого августа 1904 года Шелгунов опять лег в больницу, пробыл месяц, вышел ни с чем: врачи только руками разводили. С предосторожностями вызнал адрес Николая Полетаева. Прослышал и о том, что вернулся из высылки Василий Яковлев, его квартирный хозяин по Ново-Александровской. Собрались втроем у Полетаева, и Василий рассказал товарищам все, как на духу. И про Михайлова («Знаем, знаем, что за сука он», — яростно выпалил Николай), и про Гапона, и даже про свои сомнения. Он очень хотел, чтоб его пожалели. Да и то сказать: маменька умерла, когда ему шел одиннадцатый, в семье оказался белой вороной, отцу и прежде не было до него дела, сейчас батя помирал; бабья ласка доставалась урывками лишь, настоящая любовь обошла стороной. И теперь, на пороге сорокалетия, под угрозой слепоты, страдала и маялась его русская душа, та самая, над коей, пытаюсь разгадать, ломали и ломают головы, ибо есть в ней особенное — в путаной, бесхитростной, трепетной, в открытой нараспах и потаенной, беспшибашной и терпеливой, бескрайне доброй и безоглядно яростной, сердечно пода тливой и темно жестокой, щедрой и скаредной, ясной, как росиночка, и мутной душе русского человека... И сейчас, когда Василий с тою беспощадностью к себе, на какую способен, пожалуй, тоже лишь русский человек, понимал, до чего ему скверно, как он запутался и как жаждет отведенное судьбой время не просуществовать, а прожить достойно, — ему очень было надо, чтоб его пожалели, если не женщина, то хотя бы друзья.

И Полетаев понял, и он, Коля, друга своего пожалел. Подошел, взял голову его в ладони, повернул к себе, раздельно выговорил: «Так и есть, по глазам вижу — дурак дураком, и уши холодные. Пода-айте милостыньку, Христа ради, убогому... Как это про вас бают? Пскоп-

ской — народ хватской, семеро одного не бояться? Оно и заметно по тебе. Ты свои переживания сомни, Васька, ты мужик или ты кто? Сопли распустил, гляди».

Как он и в самом деле жалел его, Полетаев, взял бы да и заревел в три ручья: слепнет Васька-то, слепнет, куда он без глаз, кому, где нужен будет... И, страдая от невозможности помочь и по мужской слабости натуры сам жаждая, чтоб и его, Николая, кто-то пожалел за то, как и ему, Кольке, худо в бессилии пособить, он дружка своего материл из души в душу, хлестал словами, как плеткой, понимая чутьем — только так! Когда в пустыне кочевника жалит насмерть скорпион, друг ножом откромсывает уязвленную ногу, иначе — конец. А если никого нет рядом, кочевник сам вонзает лезвие и, воя, визжа, рыча и стеная на десяток верст окрест, спасается от верной гибели. «Врешь! — кричал Полетаев, и душа его плакала горячими слезами. — Врешь, без глаз живут, без рук, без ног, только без головы не живут, да еще без совести непроизвольно... Говоришь — себе не нужен? Так нам нужен, понимаешь или нет, так тебя и раз этак...»

Василий слушал крик и матюги, словно райское пение.

## 2

Вскоре опять угодил в предварилку. Все было знакомо, привычно — вид, звуки, запахи, еда, разговоры и обличье стражников, допросы. Сейчас допрашивали коротко и лениво, без вдохновения, без игры, ловушек, лести, преувеличенной любезности, угроз, допрашивали, понимая, что взят ни за что и сам разумеет это и видит их лень и обязанность допрашивать. Повинность отбывали, а не следствие вели, Шелгунов тоже отбывал повинность, отвечал заученно, гладко, порой не дожидаясь известных, в заведенном порядке, вопросов, — с

этим было ему легко. Легче стало и после разговора с Полетаевым, с Яковлевым: получил встряску, поверил в друзей и — о том шла речь тоже — укрепился в линии, как себя вести с Гапоном, ради чего...

Но было и трудно. Думать о слепоте не позволял, но она давала себя знать на каждом шагу, в любую минуту. Давала знать тоскою и скукой — читать не мог. Давала знать непрестанной гудящей головной болью, до жутки обостренным слухом, когда всякий шорох молотил по вискам. По-звериному обострилось и чутье, и это был тоже признак близкой слепоты, — организм готовился ее встретить, припоровливался. Натянутыми нервами давала себя знать слепота. И горечью одиночества. И жадностью смотреть, запоминать всякую малость, потому что, выходя на прогулку, быть может, в последний раз видишь это серое питерское небо, серые стены, серый забор — щели, выбоины в нем уже неразличимы, — и серые шинели, серых воробьев, еле приметных даже вблизи, словно размытых в пелене, тоже серой... Он стал огрызлив, почти капризен, стал, чего не делал прежде, предъявлять права, требовал, чтобы на прогулку выводили минута в минуту; когда звали в камеру, сверял часы и доказывал, что время не истекло; скандалил, если помаргивало электричество; настаивал принести букварь и на резонно-насмешливый довод ротмистра — дескать, вы грамотный, а у нас не школа — взорвался, намолол глупостей, чем немало удивил Сазонова, привычного к его сдержанности, ротмистру было невдомек, что Шелгунов хотел читать, а в букваре литеры крупные...

Но, потосковав, побушевав, успокоился, погрузился в себя, начал прикидывать предстоящую работу и жизнь.

Вскоре из предварилки выпустили. Сразу отправился в больницу, все надеясь на чудо, коего быть не могло. Там, в больнице, и навестил его вскоре Гапон.

Явившись, Гапон повел себя достойно: сантиментов не разводил, не призывал к христианскому смирению перед лицом грозной опасности ослепнуть, крестным знамением не осеял. Словом, пришел не священник — политический деятель. Не к страждущему, а к равному. Человек к человеку. С благожелательностью. Беа пустых слов. Достойно... О болезни, понятно, поговорили. Гапон не пытался использовать его несчастье в том смысле, что, дескать, терять в остальном нечего. Все это Шелгунов оценил. Он приглядывался — вернее, больше прислушивался — к Гапону и думал, что личность это, бесспорно, крупная, незаурядная даже, вероятно, обладает почти магнетической силой воздействия и, как знать, может, вера его в затеянное искренняя. Не исключено, думал Шелгунов, что, получив от охраны разрешение действовать легально, получив и средства на издание литературы, аренду помещений, Гапон все-таки человек убежденный, жаждущий трудовому люду счастья и добра, готовый ради этого пожертвовать репутацией, решиться на сомнительные шаги. В борьбе все средства хороши. И кажется, он из породы фанатиков.

Но и Василий, он сам это понимал, был теперь на высоте. Он был немолод, испытан в подполье, наделен житейской опытностью, проверен личными страданиями. Он мог сорваться, поддаться временной слабости, поколебаться, принимая решения, однако то были не шаткие, свойственные младости, неосмысленные колебания, но выбор. И он понимал: к Гапону пойдет, но во всеоружии выстраданных убеждений. Пойдет драться.

Все это, вероятно, почувствовал и умный Георгий Аполлонович.

Гапон отнюдь не уподоблялся Михайлову, не льстил, не предлагал пьедестал вождя, — впрочем, вполне ве-

роятно, что при собственном непомерном честолюбии Гапон и не собирався делить пьедестал с кем бы то ни было. Но был он умен и отдавал себе отчет в том, что ведет за собой массу несознательную, темную, и Гапону требовался рабочий вожак, не стихийный, а действующий осознанно и понятный пролетарским массам...

«Приступим, благословясь, к делу,— сказал Гапон, потолковав приличествующее время о здоровье. — Как вам, разумеется, известно, наше «Собрание рабочих» действует вполне открыто...» — «И с благословения полиции», — вставил Шелгунов. «Зачем так, Василий Андреевич, мы, простите, не митингованием занимаемся, агитаторские приемы неуместны. Да, если угодно, с дозволения полиции. Но ваша «Искра» не призывала разве к единению всех наличных сил?» — «Не с полицией, однако», — возразил Шелгунов. «Хорошо,— сказал Гапон,— оставим препирательства, я продолжу о главном. Идея вооруженной борьбы претит нам...» — «Так ведь и мы не разбойники с кистенем и булавою, мы тоже против кровопролития. Если царь доброхотно передаст власть народу, мы разве откажемся?» — «Дорогой мой, я утверждал и утверждаю: идея самодержавия искони присуща русскому человеку. А ваш социал-демократический комитет потерпел в Петербурге крах, как организационный, пользуясь вашей же терминологией, так и политический». — «Допустим, не совсем так,— сказал Шелгунов,— однако истина в том есть, я говорю открыто, шла в мешке не утаишь. Да у вас, понимаю, сведения и без того надежные», — не удержавшись, уколол Шелгунов.

Положение Василий знал от Полетаева. Лето в Питере отличалось крайне неблагоприятными условиями. Меньшевики раскололи комитет, от него одна за другой отходили районные организации, мотивация одинаковая: комитет недееспособен, в разногласиях не можем разо-

браться, хотим положительной работы... Многие рабочие покидали партийные ряды. Петербургский районный комитет объявил себя независимым от городского, этому способствовал ЦК, ставший меньшевистским. Словом, разброд и шатания...

«Да, вот именно потому и приду к вам, отец Гапон, но с открытым, как говорится, забралом». — «А сила-то на нашей стороне!» — «Пока — да, но ведь наперед не угадаешь». — «Ошибаетесь, — уверенно отвечал Гапон, — среди рабочих настроения вполне определенные, у нас около десяти тысяч человек активных, и они поведут за собой еще и еще десятки тысяч. Я предлагаю честный союз, равноправный». — «Равноправный — под вашим руководством?» — Шелгунов усмехнулся. «Да в том ли дело, о руководительстве ли речь?» — «Я приду, — сказал Василий, — мы придем. И в открытый бой против вас. Не исключено: потерпим поражение. Но уклоняться не станем и глядеть покорно, как разворачиваются события, — тоже».

...В больнице, под предлогом старинной дружбы, навещали бывшие товарищи, теперь ярые гапоновцы — Василий Князев, Алексей Карелин. Уговаривали, убеждали. Шелгунов не тратил пороха, говорил: «Я не девка на выданье, оставим споры-уговоры. Я вас не только не слышу, я вас и не вижу, и не потому, что слепой, а просто — не вижу, не существуете для меня».

#### 4

24 ноября выписался. Почти слепой. Был совсем плох и отец, говорил, трудно повернув голову: «Крышка, Вася, отжил, все, что богом отведено, исчерпал, пора и собираться... Алеша помер, мы тебя не извеждали, в больнице-то...» Алексей из жизни Василия ушел давно, как



и другие братья и сестры, кроме Дуси, а все-таки поговорал.

Ходил, постукивая палочкой, по Нарвской. Застава шумела, и это был не праздничный, воскресный, хмельной шум, а ровный, устойчивый, спокойно угрожающий, похожий на ворчание далекого грома. К Полетаеву не решался — сослепу хвоста не приметит, да и самого могут замести опять.

Гапон прислал — посыльным — нарядную карточку с приглашением отметить Новый год в Путиловском отделе «Собрания рабочих», в широком круге, покорнейше прошу... Не откажусь, отец Георгий, чем больше народу, тем лучше, поглядим, как и что у вас...

В зале — столы покоем, хрусткие скатерти, дорогие приборы, вино в разномастных бутылках, щедрая закуска. Наяривал оркестр. Гапон у дверей, предупредительно, под локоток, от священника пахло, успел причаститься. «Ради бога, Василий Андреевич, только сегодня без политики, живые люди, отдохнем, взвеселимся». Усадил на почетное место, одесную себя, предлагал блюда, наливал слабенькое, неопасное вино, чокался, закидывал руку на спинку стула, — издали, должно быть, казалось, что Василия обнимает. Словом, играл на публику, а сам призывал обойтись без политики, будто бы эта игра политикой не была. Василий выжидал случая отплатить...

Как заведено, проводив старый год, погасили электрические люстры, зажгли свечи, прислушивались к маятнику больших напольных часов, с последним ударом поднимали бокалы, вспыхнуло снова жаркое электричество, развеселый оркестр пожарных грянул «Боже, царя...». Все поднялись, и тут Шелгунов с Гапоном расквитался-таки: принародно при государственном гимне остался сидеть. И бокал отодвинул в сторону.

В первый день 1905 года состоялось последнее общегородское собрание гапоновцев.

У Полетаева продумали до мелочи. Без лишних дамских церемонностей решили: Николай не пойдет — в случае провокации, провал целесообразней остаться на свободе ему, а не Василию. Прикинули, что Шелгунову говорить, если двдут. Как поступить, ежели освищут, попытаются воздействовать силой, такое случалось, — может, слепого не тронут. Василий усмехнулся горько, сам сказав об этом... Полетаев известил, что одновременно пойдет еще кто-нибудь из товарищей, разбрасывает листовку, прочитал вслух: «Долой войну!.. Мы требуем созыва учредительного собрания из представителей народа... Мы требуем свободы слова... Да пусть Порт-Артур будет могилой русскому самодержавию!» Листовка свежо пахла краской. Внизу, сквзал Полетаев, проставлено уже не «декабрь», а «январь», это может произвести впечатление, дескать, быстро, организованно действуют социал-демократы.

В зале собралось, как объяснили Василию, тысячи две. Никто не обратил на Шелгунова внимания, сел где-то посередке, снял очки, чтоб не выделяться. Но Гапон углядел, подошел, повел на сцену, как вчера, усадил рядышком. Ладно, пускай.

Тряся колокольчиком, Гапон установил тишину. За кафедрой тотчас возник оратор, по виду рабочий. «Товарищи, — заговорил он, — путиловские решили завтра или, крайний срок, послезавтра объявить забастовку. Если администрация по-хорошему не уступит требованиям об улучшении жизни, в подмогу путиловским встанет весь трудовой Питер, как один человек!»

С хоров посыпались, подобные белым хлопьям, листовки, подхватывали, передавали, но, как мог издали

заметить Василий, почти не читали, отбрасывали, рвали в клочья. Он поймал одну, взгляделся, понял: допустили ошибку, в самом верху обозначено: «Российская социал-демократическая рабочая партия», не учли обстановку, надо было в конце проставить подпись, не пугать сразу людей, настроенных не в нашу пользу.

Кричали: «Правильно, бастовать!» Гапон даже подтолкнул Шелгунова, кивнул на бушующий зал: видите? Как было не увидеть... Выступать не имело резона, выдвигать политические требования — бессмысленно здесь, на разномастном, разношерстном, сугубо гапоновском собрании.

## 6

Путиловцы, все тринадцать тысяч, поднялись третьего, а следом — Франко-Русский, Невский судостроительный, мануфактуры — Невская бумагопрядильная, Екатеринбургская...

Стачка застала городской комитет РСДРП врасплох, но пытались взять руководство в свои руки, превратить ее во всеобщую. Однако возглавить стихийное движение, одолеть влияние Гапона и его приспешников не удалось. Комитет был в крайне плачевном состоянии, среди членов его не оставалось ни одного рабочего, в декабре провалилась вся техника. Отношение к большевикам в заводах было враждебное: агитаторов, случалось, избивали, уничтожали листовки, пятьсот рублей, что передали стачечникам, приняли как бы из милости. Однако агитацию пытались проводить и, применяясь к обстановке, решили не высказываться против затеи Гапона вести пролетариат к Зимнему.

Шелгунов жил у Полетаева. Семью Николай отправил подальше от греха в деревню, сам поддерживал с комитетом непрерывную связь. Четвертого или пятого

узнали: Гапон выработал текст петиции, шествие, кажется, предстоит грандиозное. «Ты у нас, Вася, при попе этом вроде полномочного представителя, поезжай, проясни обстоятельства».

Друга своего Василий застал изменившимся до неузнаваемости. Исхудал, лицо из бледного сделалось белым, под глазами черно, а глаза блестели волчьим, фосфорическим огнем. Переменил рясу на цивильное платье,— должно быть, ряса мешала в бесконечных поездках, в метаниях по комнатам, как метался он сейчас. Увидев Шелгунова, заулыбался торжествующе, но тотчас деловито извещал, что петиция готова, однако решения о шествии еще не приняли, покуда не получают полных и безусловных гарантий от правительства относительно полной безопасности... Постепенно комната заполнялась, пришло человек тридцать. Заслушивали представителей отделов «Собрания». Настроение всюду одно: к Зимнему — идти! Гапон, в истерической взвинченности скорый на решения, тотчас забыл сказанное перед тем Василию, подхватил: «Конечно, пойдем!» — «Товарищи,— вступил Шелгунов,— если уж подавать петицию, то не с мелкими экономическими требованиями, неразумно это, выступать — так не писком, в полный голос, политические задачи выставить!» — «В таком случае наше общество могут немедленно прикрыть», — возразил Гапон. «А ваше «Собрание» и так не существует фактически», — бухнул Василий сгоряча, мигом понял, что сморозил чушь. Гапон ухватился за обмолвку: «Как не существует, а тут — привидения, что ли? Это ваш комитет, по сути, распался, прячется от рабочих, а мы открыто действуем, и пролетариат пойдет за нами, лишь кликни!» Да, пойдут, понимал Василий, испытывая бессилие и чувство безысходности.

Текст петиции, красиво переписанный на машине, Гапон дал охотно, читали с Николаем: «Мы... пришли к

Тебе, Государь, искать правды и защиты... Нет больше сил, Государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук... Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы — они направлены не ко злу...

«Направлены не ко злу,— повторил Шелгунов,— слышь, что получается: не ко злу... Обидится, поди царь, ежели станут вслух зачитывать — с козлом, вишь, сравнивают». И неловко пошутил насчет преимуществ слепоты, мол, ухом ловишь то, что глазом не видно... «Это не петиция,— сказал Шелгунов,— а челобитная, такую только стоя на коленках подавать, лбом в землю упершись». — «Так, похоже, и будет,— согласился Полетаев,— а что поделаешь?» — «А поделать вот что,— говорил Василий,— нам Гапона теперь не остановить, надо идти на его собрания, из кожи вылезать, чтобы в петиции были и наши требования».

...Какой-то оратор — всюду они у Гапона были по виду рабочими, а может, переодетыми под рабочих — оглашал петицию, сочинитель ее сидел тут же, он всюду попевал и, дочитав, стал пояснять: «Государь выйдет на Дворцовую для того, чтобы принять в руки нашу резолюцию,— так почему-то упорно ее называл оратор. — Придется, может, его подождать, у государя делов много. Надобно вести себя тихо, не шуметь, не беспокоить публику. Вот социал-демократы выбрасывали красные флаги, лезли на рожон, потому и полиция их прижимала, а нас не тронут, и государь на месте подпишет высочайший манифест...» — «А если не подпишет?» — крикнули сзади. «Тогда,— не задумавшись, отвечал оратор,— отец Георгий укажет, что нам делать». Гапон кивнул. «Так ведь государь — в Царском!» — выпалил кто-то. «Ничего, приедет к нам,— успокоил оратор,— надо только смирно, не безобразничать».

Шелгунов попросил дозволения, вышел на кафедру,

отовсюду заорали: «Шпик, фараон, ишь черные очки напялил, чтобы рожу не видать, и борода, поди, подклеенная!» Чем успокоить? Василий крепко дернул себя за бороду — раз, другой, третий. Засмеялись. Тогда снял очки, в ближнем ряду ахнули, разглядев незрячее левое око. «Да он слепой, братцы!» «Дак это ж наш, обуховский, Васька Шелгунов!» Хорошо, что узнали, надо было сразу объявиться... Василий заговорил о том, что мало просить лишь сокращения рабочего дня, установления минимального размера заработной платы, охраны труда, отмены косвенных налогов и выкупных платежей, свободы забастовок. Это — мелкие требования, даже коли царь их примет, жизнь нашу в корне тем не переменит. Надо, товарищи, настаивать на собрании учредительном, добиваться свободы слова, печати, неприкосновенности личности, освобождения политических заключенных... «А нам царь-батюшка это и сам даст!» — крикнули ему, издевку над собой Шелгунов понял. «Не даст нам этого царь, — сказал Василий, — свободу надо завоевать, а царя надо скидывать, да, скидывать!»

Что поднялось! Орали, свистали, топали, песколько человек вскочили, сейчас будут бить... «Батюшку-царя не трожь, мало вашего брата перевешали, да мы за государя на смерть пойдем, а тебе и бороду мало оторвать... Ему не бороду, ему другое оторвать надо!» Быстро поднялся Гапон, загородил Василия, поднял руку, разом смолкли. Ничего не напишешь, Вася, в о ж д ь он сейчас, в его руках власть над людьми...

«Смеют ли полиция и солдаты не допустить нас к государю?» — спросил Гапон. «Не смеют!» — гаркнули в ответ. «Товарищи, нам лучше умереть, чем жить, как живем сейчас!» — «Умрем, батюшка!» — «Все ли клянетесь умереть?» — «Клянемся!» — «А как быть с теми, кто сегодня поклялся, а завтра струсит?» — «Проклятье им, позор!»

«Товарища, — говорил Гапон уже спокойней, без ораторства, отечески наставляя. — Идти долго, братья, потеплей оденьтесь, еды возьмите, а водки не пить в тот день, стыдно в такой великий день».

Расходились возбужденные, радостные. На улице ждала толпа: сейчас в зал войдут они, повторится все заново. Это Василий уже видывал. Гапон утирал обильный пот, сказал устало: «Я еду в другое место, а вам, Василий Андреевич, советовал бы уйти или по крайней мере не выступать, не вышло бы худо в мое отсутствие, настроенные отнюдь не в вашу пользу». — «Да, ваша взяла, отец Гапон, можете ликовать». — «Я не о себе пекусь, — отвечал тот с усталой горделивостью, — озабочен благом народным, но, в отличие от вас, буду сего добиваться без пролития крови». — «Но ведь полиция и войска-то вам неподвластны». — «Не посмеют, — сказал Гапон убежденно, — х р и с т о л ю б и в о е войнство». — «Вашими бы устами да мед пить», — сказал Шелгунов, испытывая тягостное бессилие.

И он отправился на Шлиссельбургский тракт, в те места, где жил перед первым арестом.

## 7

Люди догоняли, перегоняли друг друга, перекидывались громкими словами, женщины с плетеными корзинами спешили к заводским лавкам. Шелгунов видел, что продуктов берут больше обыкновенного, запасаются, пока лавочники не закрыли кредит, значит, бастовать наладилось долго. Из обрывочных разговоров Василий понял, что у Паля и Торнтонна еще колеблются и — смех и грех! — просят обуховских, чтобы пришли представители оттуда, прогнали их с работы, подтолкнули на стачку, сами не решаются сделать первый шаг... Пойти, что ли, к Торнтону? Нет, нельзя, спашають, не ко времени это...

Вернулся к Полетаеву, рассказал все. Николай в свою очередь сообщил: по сведениям комитета к исходу вчерашнего, пятого января, бастовало свыше двадцати шести тысяч; в комитете готовят листовку с призывом сделать забастовку всеобщей, прокламация закончится лозунгом: «Долой самодержавие!»

Восьмого утром Шелгунов опять отправился к Гапону, в Лавре не застал, удалось разыскать на Балтийском, завод стал вчера. Гапон витийствовал, взобравшись на станину, голос гулко раздавался под пролетами непривычно тихого цеха. Василий вслушался: все ту же песенку поет! Но вскоре понял: не совсем ту! Значит, не понапрасну и мы потрудились, значит, оказали влияние передовые рабочие: в петиции есть требования об учредительном собрании, о демократических свободах.

Может, и вправду обойдется мирным путем, думал Шелгунов. Ведь еще вчера забастовал весь Питер, ведь не дурак же царь, чтобы стрелять в безоружный народ, и промышленники тоже не дураки, чтобы не уступить по-хорошему, не в их интересах, когда простаивают целые заводы, когда целый город бастует, когда вот-вот замрет и электрическая станция, и перестанет течь вода, и застынут на рельсах конки, остынут паровозы, магазины закроются... Мертвый город страшен, ему не прожить, наверно, и нескольких недель, а люди обозлены и устали, в самом деле, пришел конец терпению, и не то что пальбы — одного выстрела доставет, чтоб, как от спички сухой стог, вспыхнул весь Петербург, а за ним и вся Россия... Пока еще царю верят, но любая вера пошатнется, если тот, в кого веруют, окажется недостойным...

Он знать не мог, что и полиция, и градоначальство, встревоженные, понятно, забастовкой, пребывали, однако, в некоем заблуждении, власти пока еще полагали гапоновское «Собрание» твердым оплотом против проникновения в рабочую среду п р е в р а т н ы х социалистиче-



ских идей, не распознали, что и в «Собрании рабочих» есть оппозиция Гапону из числа наиболее развитых и сознательных рабочих, таких, как Шелгунов, к примеру, власти еще не отдавали себе отчета в том, что и впрямь достаточно единого опрометчивого шага — и отец Георгий не удержит свое движение в безопасных и безобидных для правительства рамках... Василий не знал, что и у властей придерживающих не было во взглядах единства. Градоначальник Фуллон полагал: бояться шествия не надо, ибо оно лишено каких бы то ни было политических целей и направлено только против заводчиков. Министр юстиции Муравьев, напротив, приходил в ужас: Гапон — ярый революционер, убежденный до фанатизма социалист, главное для него — политика...

Правительство металось. Шестого января, после всеподданнейшего доклада князя П. Д. Святополк-Мирского, решено было, что император останется в Царском Селе, полиция о том известит рабочих и тем предотвратит скопление перед Зимним... Седьмого числа, когда стало ясно, что забастовка приобрела всеобщий характер, Николай II объявил столицу на военном положении, передав полноту власти командиру гвардейского корпуса князю С. И. Васильчикову; товарищ министра внутренних дел, он же командир Отдельного корпуса жандармов и шеф полиции А. А. Лопухин, заявил на тесном совещании, что всякие демонстративные собрания и шествия будут рассеяны воинской силой... Восьмого утром «Правительственный вестник» и «Вестник градоначальства» напечатали объявление Фуллона — одновременно расклеенное в виде афишек — о недопустимости собраний и шествий, однако про гапоновское движение тут прямо не говорилось, а применение военной силы обещано было только в случае массового беспорядка. Получалось так, что объявление к демонстрации, затеянной Гапоном, не относится. Тем более что в то же время всюду

расклеили и другие извещения, о сборе у Зимнего дворца в два часа пополудни в воскресенье. Афишки мирно соседствовали, притом гапоновская афишка отличалась верноподданностью. Околоточные надзиратели втолковывали рабочим, что требования их законны и государь встретит манифестантов с распростертыми объятиями. Градоначальник Фуллоп вполне официально заявил депутатам рабочих: в мирную толпу стрелять никто не позволит...

Кое-что из этого Василий знал — афишки читал, допустим, — но большинство событий происходили втайне. Передвижение войск осуществлялось по возможности незаметно. Митинги в отделах гапоновского собрания, в заводах и фабриках шли своим чередом, достигнув полного накала...

...В переполненном и тихом цехе Балтийского завода Гапон завершал речь. Василий протиснулся поближе, священник его заметил — и сделал ф ин т! «Товарищи, среди нас — старый питерский рабочий Василий Андреевич Шелгунов, многим, полагаю, известный. Он потерял зрение на проклятой каторжной работе. Он, как и его друзья, социал-демократы, предлагает меры такие же, как теперь записаны в нашей петиции, попросим Василия Андреевича сказать веское слово передового пролетария!»

Ловок, сукин сын! Под нашим же давлением вставил в петицию кое-какие предложения и вон поворачивает так, будто мы с ним заодно, ах ты, едрит твою... Ничего не поделаешь, надо говорить. Этак огорченно подумал, говорить просто необходимо, использовать любую возможность...

«Да, — сказал Шелгунов, — социал-демократы, большевики, члены Российской рабочей партии в самом деле выдвинули программу, на которую отчасти похожа и петиция отца Гапона, он правду сказал сейчас...»

Тишина сделалась невероятной, давила в уши, а после захлопали в ладони, Шелгунов остановил жестом. «Но,— продолжал он,— мы по-прежнему твердо убеждены, что к царю обращаться с прошениями бесполезно. По доброй воле он свободы не даст, от власти, от роскоши не откажется. Такой ценой, как покорнейшее прошение, свободы не купишь, свобода покупается кровью, свобода завоевывается в жестоком бою. Но и кровь проливать надо тоже с толком, не подставлять себя под пули, а идти драться...»

Теперь не аплодисменты — резкий свист, выкрикп, Гапон воздевал длани, успокаивал, всем старался показывать, какой он терпеливый, снисходительный к чужим заблуждениям. Коли так — получай! «Освобождение рабочих,— выкрикивал Василий,— может быть делом только самих рабочих, ни от чиновников, ни от царя свободы не дождемся, и от попов тоже! Да здравствует революция!»

«Долой! Долой!..» Это кричали ему, Шелгунову, и Гапон протестующе и заполошно размахивал руками, он был в рясе, рукава взлетали, точно крылья, болтался на груди тяжеленный крест.

...Николай рассказывал о событиях дня. Забастовали, по сути, все предприятия, до полутора сотен тысяч человек. В город вводятся войска... Наш комитет решил: поскольку шествие неотвратимо, принять в нем участие, однако сразу себя не обнаруживать, речи говорить лишь в подходящий момент, красные знамена иметь при себе, однако разворачивать тоже сообразно обстановке. В наши отряды кроме агитаторов включаются и дружинники — для защиты агитаторов.

Шел третий час ночи. Под окнами равномерно цокали копыта: полиция, а то и казаки совершали патрульный объезд. Поморгав, затухла электрическая лампочка и не загорелась — на станции, видимо, тоже забастовали.

Затешили свечку. Прислушивались, разговаривали почему-то вполголоса. Высоко светила в окошке луна.

1905 год, 8 января. В Петербурге сосредоточено свыше 40 тысяч солдат и полицейских, распределенных по восьми боевым участкам: 18 батальонов, 21 конный эскадрон, 8 казачьих сотен.

На заседании у министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского принят план боевых действий против мирных демонстрантов. Даны указания больницам о предстоящем поступлении раненых, о приведении в готовность «Скорой помощи» и о выделении повозок для перевозки убитых.

Гапон обратился к секретарю вдовствующей императрицы с просьбой принять петицию для передачи государю и не применять силу, обещая взамен этого провести манифестацию в духе торжественном и верноподданном. Просьба его была отклонена. Затем петицию принял Святополк-Мирский.

11 часов ночи. Командир гвардейского корпуса князь С. И. Васильчиков дал начальникам воинских отрядов распоряжения на завтра. В это же время к генералу К. Н. Рыздзевскому явилась депутация либералов и представителей левых интеллигентских кругов. Генерал заявил, что правительство знает, что делает, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Депутаты отправились к председателю Комитета министров графу С. Ю. Витте, который заявил, что решение вопроса о неприменении против демонстрантов силы не входит в его компетенцию, и направил депутацию к Святополк-Мирскому, последний в аудиенции отказал, не вняв предупреждению М. Горького, входившего в состав депутации: «Если завтра прольется кровь, они дорого заплатят за это».

После полуночи у Святополк-Мирского состоялось новое совещание о диспозиции войск.

В. И. Ленин пишет статью «Петербургская стачка», напечатанную через три дня в газете «Вперед».

### *Глава шестая*

В месте удобном, близком к центральной части города и притом неподалеку от библиотеки, в меблированной квартире по Rue David Dufour, 3, с провади в Наденьку отдыхать, он той зимней ночью, не зная в доподлинности, что происходит в Петербурге, пользуясь лишь отрывочными, непроверенными, неточными, смахивающими на сенсации сведениями здешней прессы, но наделенный невероятным политическим чутьем, уже предвидя, уже зная, что творится в России, он бегло, крупно, как обычно, когда переходил на скоромнь, набрасывал:

«Стачка... на Путиловском заводе... уже стала громадной важности политическим событием... Начало стачки было чисто стихийное... Движение быстро окрепло. В нем принимает участие легальное «Русское общество фабрично-заводских рабочих»...

Легальное рабочее общество было предметом особого внимания зубатовцев. И вот, движение зубатовское перерастает свои рамки... обращается против самодержавия, становится взрывом пролетарской классовой борьбы... Легализация рабочего движения... принесет непременно пользу нам, социал-демократам...

Движение стало принимать политический характер. В нем попытались принять участие (хотя, кажется, очень еще слабое) местные социал-демократы...»

Небрежным тычком скинув домашние туфли, в одних носках приблизился к Наденьке, она привычно открыла глаза. «Надюша, можно, я тебе почитаю, ты не сердись...»

В Женеве было тихо. Не так было тихо, как в Петербурге этой ночью. Здесь было просто т и х о. «Наденька,— сказал он,— мне кажется, понимаешь...» — «Понимаю, родной, похоже и в самом деле, что н а ч а л о с ь там... Приляг, отдохни, уже новый день, воскресенье...»

**1**

Комитет постановил, чтобы все члены партии были на местах к шести. Василий с Николаем не ложились. Выпили черно, густо заваренного чаю, сунули в карманы по горбушке. «Рекомендации Гапона выполняем»,— не весело пошутил Василий. Конка со вчерашнего вечера стала, отправились пешком, каждый по своему направлению. Василию велено было находиться в начале Невского, у Дворцовой, чтобы видеть — «а точнее, слышать», поправил он,— все, что происходит, и по собственному разумению действовать, когда придет пора.

Полетаевы жили на Эстляндской, далековато. За ночь выпал и лежал снег, нетронутый, пухлый, следы отпечатывались выпукло. Хорошо, что Коля отправил Анастасию Степановну и сына в деревню: всякое здесь может случиться. А вот его убьют — кто пожалеет? Отец еле дышит, все чувства притупились, братья-сестры всяк сам по себе, родич — в фараонах, уж он-то порадует, коли Ваську ухлопают. Ну, а почему, собственно, должны ухлопать, не обязательно же станут палить, решили пойти к царю с пустыми карманами, с голыми руками, даже перочинного ножа чтоб не было, и власти о предстоящем шествии оповещены...

Никто не останавливал, свободно прошел под аркою Главного штаба, заиндевелой изнутри, свод ее казался красным, высверкивал инеем, и непривычно красной выглядела отсюда Александровская колонна, ее как бы

подсвечивали снизу, подобного Василий еще не видывал.

Еще был почти безлюден здесь, в Адмиралтейской части, министерской, чиновной, аристократической, великий город Санкт-Петербург. Лишь дворники в белых фартуках с тускло блестящими бляхами шкрябали деревянными лопатами, лишь проезжали к Николаевскому вокзалу редкие унылые вагончики, брели, покачиваясь, из ночных заведений гуляки. Пес выглянул из подворотни, озираясь онасливо. У нарядного подъезда стыл городской, толсто укутанный ваточной шинелью и башлыком, очнулся, попросил, извинившись, покурить, в благодарность сказал почти на ухо: «Ежели к Дворцовой, то днем не ходили бы там, ваше степенство...»

Площадь предстала снежна, бела, пространственна. Во дворце светились редкие, затхлые какие-то огни, над крышей развевался лениво царский штандарт. Сегодня поутру, заверял Гапон, придет государь с домашними, со свитой, из Царского Села. Должно, еще не приехал, огней мало, но штандарт, знак императорского присутствия здесь, поднят. Шелгунов сообразил, что явился рано, ведь собираются по городским частям, по гапоновским отделам, сюда придут к полудню, раньше никак... Но комитетом велено быть на местах к шести — неведомо для чего... Он ступил на молодой снежок, двинулся к гранитной колонне, видел плохо и, когда приблизился, солдат молодым голосом остановил: «Не велено пущать, господин, поворачивайте добром...» У него, разглядел Василий, было, как и у городского, что просил покурить, простое, крестьянское лицо, но что-то слышалось напряженное, тревожное и злобное в голосе, верней, старательно приготовленное к злобе, что-то вовсе не похожее на знакомые Шелгунову казарменно-добродушные и служебно-исполнительные голоса. Василий понял, нет, не понял, а догадался, нутром, всем существом учуял, понял: они будут стрелять...

Полыхали костры, красновато подсвечивали гладкую колонну, вверху она была сверкающе-белой от инея, и под белым предрассветным небом черный грозно распростерся крылатый ангел с крестом. Прочно стояли в козлах ружья с примкнутыми штыками. В свежем воздухе пахло дымком, махоркой, шинелями, казарменными щами, ременною кожею, смазкой, портянками. Солдаты грелись у огня, и был непривычен этот воинский бивак — не тем непривычен, что раскинули его не в поле, не в лесу, а перед царским дворцом, но тяжким и глухим молчанием был непривычен. Уж он-то, запасный ефрейтор, знавал, как солдаты балагурят, гогочут, поют потихонечку на биваках, на отдыхе в казарме. А здесь было тихо, здесь, где собралась не одна сотня здоровенных и стрелых мужиков, тишина висела в бесплотном воздухе мрачно и грубо-грозно. «Проходите, проходите, господин», — поторапливал караульный, вскидывая ружье наизготовку, и Шелгунов спросил: «Неужто стрелять будете, землячок?» — «Иди, иди», — сказал тот грозно и тоскливо, и Василий пошел прочь, оглядываясь на кровавый отсвет костров.

2

Как бы сомневаясь, опасливо забрезжил рассвет, он просачивался, робкий, сквозь грязно-пепельную мглу петербургского плоского неба. Ноги отерли от неподвижности, руки заоченевали, можно захватить сильную простуду, прикидывал Василий, а уходить не уходил. Он стоял, запасный ефрейтор, большевик Шелгунов, под аркой Главного штаба, гулкой и морозной, глядел на темную продольную глыбу дворца, на едва поблескивавший вдали шпиль великолепной и жуткой Петропавловки, он видел кровавые отблески солдатских, неуместных здесь костров, помнил составленные в козлы ружья, напряжен-



ные, в шинелях, спины, слышал тугое страшное молчание и понимал: б у д у т! Будут стрелять...

Следовало бежать, бросив палку, спотыкаясь и падая, бежать к Невскому, схватить под уздцы пышущего внутренним теплом жеребца, плюхнуться в фасонистые, с фонариками, санки, велеть лихачу: гони, целковый на водку! И мчать — к Нарвской ли, к Невской, на Петербургскую ли сторону или на Васин остров... Стать перед обманутой, темной, истовой толпой, пойти грудью — стойте, остановитесь, назад, а если вперед — то ломайте заборы, вооружайтесь дрекольем, выворачивайте булыжники, отошлите по домам детишек, жен, матерей, немощных, идите не с мольбою и молитвой, а с грозной и требовательной силой, с «Марсельезой», с «Варшавянкой», не с хорутвями и государевыми ликами, но под алыми знаменами, не покорной толпою — слитыми воедино, готовыми к бою рядами... И если не послушают его, не поверят — кинуться поперек дороги, броситься под ноги, повалить идущих впереди, пускай о них споткнутся остальные, пускай даже растопчут передних, но шарахнутся прочь, — любой ценою остановить, образумить, хотя бы спасти, коль уж немисливо возбудить в них, обманутых и покорлявых, великий дух борьбы...

Господи, воззвал он, всеблагий и всемилостивый господь наш, ведь не твоей рукой будет вершиться днесь злодеяние неслыханное и несправедное, яви же свою волю, останови карающую десницу, выбей меч, господи, если ты и в самом деле вездесущ, всеблаг и всемогущ, как можешь ты не видеть и не содрогнуться, господи! Спаси же, господи, люди твоя, страждущие и обремененные...

Он зывал так, давно забытыми, чуждыми словами, он трясся от ужаса и плача, прижавшись к холодной стене, слезы ледепели в апостольской бороде, и, если бы кто видел Василия, эти мерзлые капли показались бы — в отблесках костров — каплями крови, еще не пролитой.

Ему стало жаль и себя. Не останется ровным счетом на земле ничего от немудрого пускай, пускай небезгрешного, пускай не свершившего, а все же — чело-ве-ка по имени Василий Шелгунов, он канет в ничто, и скорее всего даже насыпным холмиком не обозначат место, где примет почва его тело, и даже самой что ни на есть махонькой звездочкой в небесах не возгорится его намаянная, страждущая, одинокая душа, исполненная любви, неумелая и невысказанная в этой любви и ответной любви не познавшая. Прими ее, песмиренную, несломленную, не вы с ка з а н н у ю душу мою, господи...

Он матерно, длинно выругался, отлепил себя от каменной равнодушной стены, ткнул палкой в жестко воспротивившуюся брусчатку и твердо, на память, не глядя на дорогу и не выстукивая ее, зашагал к Невскому.

### 3

Воскресные дни соблюдал он свято, и не только движимый верой и настояниями благочестивых Аликс и мамá, но и потому, что государственные дела его смолоду тяготили, но, увы, у нас не Англия, в России приходится не только царствовать, но и править гигантским помещьем в сто сорок миллионов душ, данным ему в наследство... Воскресные дни он соблюдал, предаваясь отдохновению, однако ныне, в пору смуты и тревог, понужден был подняться раньше, против давней привычки, — министр двора барон Фредерикс зван был к восьми.

Пухленький, с нежной, как младенческая заднюшка, лысиной Фредерикс загодя вытягивался, он излучал плотоядное здоровье, преданность, усердие. Подкатился колобочком, облепил протянутую государеву руку. Воркующе и сладостно — вот манера! — припался докладывать: «Телеграфно изволили его высочество светлейший князь Владимир Александрович... Телефонировал все-

подданнейше градоначальник... Доставлена генерал-адъютантом диспозиция войск, все приготовлено, ваше величество, ожидают лишь...»

Никому не узнать, о чем думал, что видел мысленным взором, какие внутренние голоса в эти минуты слышал император. Быть может, предстала ему тень прадеда, Николая I, колыхавшаяся над окровавленной Сенатской площадью, над невскими прорубями, куда спускали бездыханные тела солдат-бунтовщиков. Или услышал он едва памятный глас деда, государя-освободителя: «Лучше мне было освободить крестьян сверху, нежели ожидать, пока они освободят себя снизу, вот лучше бы и тебе, Ники...» Или вспомнился отец в его добровольном гатчинском заточении, над полумистической, причудливо страшной утехой: разглядыванием собственноручно вклеенных в альбом портретов тех, кто покусительствовал на жизнь его несчастного батюшки... Никто не знал и не узнает, о чем думал Николай.

Но все-таки сохранилось для будущих поколений свидетельство лица, отнюдь не заинтересованного в том, чтобы выставить государя Николая II перед судом истории в невыгодном свете. Свидетельство с а м о г о Николая Александровича Романова.

Еще никто и никогда не вел дневников с предельной обнаженностью, без оглядки на вероятного (или желаемого) читателя. Еще никому не дано в дневниках не приукраситься, утаив даже от себя постыдное, упизительное, что есть почти в каждом смертном. Однако всякий дневник есть сочинение, в нем, как и в любом сочинении, неминуемо проглядывает автор, сколь бы ни старался он приукрасить себя, припудрить, прихорошить или казаться беспристрастным.

Николай вел дневник с отрочества, удручающе дотошно, не пропустив единого числа. Кажется, разверзлись твердь и хляби небесные — он и это исхитрился бы записать в тетрадь с привычно унылой, филистерской, неосмысленной обстоятельностью, с той беспредельной убогостью, какая отличает любую страницу записей — дневника не чиновника XIV класса, не дьячка, не приказчика, но — помазанника божия, вершителя судеб великого народа. С позиций последующих времен можно по-разному оценивать личности сильных мира сего. Николаю II посчастливилось: почти все, кто знал его, и те, кто изучал впоследствии по документам и свидетельствам, оказались поразительно единодушны. Однако душевную пустоту, равнодушие к людям, жестокость, затаенную под заурядной, иногда красивой, почти всегда приятной внешней оболочкой последнего императора Николая II убийственной всех выразил, того, разумеется, не желая, он сам, Николай Александрович Романов, в своих дневниках.

Вот доподлинно и дословно:

«9 января. Воскресенье. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города; было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!.. Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракал со всеми. Гулял с Мишой (?)...»

Больше не записано буквально ничего...

...Николай II встал, размахисто перекрестился на икону покровителя своего, святого Николая, чудотворца Мир Ликийских. «Быть по сему», — привычно ласково сказал государь министру Фредериксу, блистающему розовой лысиной. «Ступай», — велел он.

К Нарвской пошел Василий часов в десять. Народу возле Общества трезвости — на глазок — тысяч пять. Хоругви, иконы, — Гапон, известно, шествие назвал крестным ходом. Разговоры: с чистой душой идем, с благими намерениями, как дети — выплакать на отцовской груди свое горяшко... Слух шел, будто для выбранных из толпы депутатов государь приготовил в Зимнем угощение человек на полсотни, царица встретит делегацию у Александровской колонны хлебом-солью. Дерь разыгрался веселый, солнечный. Возник на крыльце Гапон — ряса, золоченый крест. Вопросил: «Нет ли у кого оружия, братья?» — «Нет, пету, батюшка!» — «Превосходно, ибо наше оружие — вера!» Отслужил молебен.

В полдень тронулись — неспешно, с обнаженными головами. Держали у груди святые иконы, портреты царя и царицы. Пели торжественно, истово: «Боже, царя храни», «Спаси, Господи, люди твоя...» Полиция тоже, видно, пока глядела как на крестный ход: у тротуаров построена, блюдя порядок, при виде шествия снимали шапки, усердно крестились. Впереди толпы ехали несколько городских и два чина, — сказали, что помощник пристава Жолткевич и околоточный Шорников, они расчищали путь, заворачивали встречные экипажи.

Приближались к Нарвским воротам, Шелгунов увидел смутно: галопом скачет отряд. Толпа расступилась, конные пересекли толпу насквозь и тем же аллюром умчались обратно. Василия обдало полузабытым запахом лошадиного пота. Люди, покорные и доверчивые, пропустили проскакавших невесть зачем, сомкнулись и шли. Не угадать, может, осталось жить считанные минуты, свистнет пуля, блеснет шашка, поляжет и не встанет никогда... И вспомнилась Женя Адамович. Слышать, недавно приехала, в Василеостровском комитете, свидеться не

довелось, да и зачем, кому нужен слепой? А Жея ведь тоже наверняка идет в колонне, вдруг и Аннушка с ней там, и над ними занесут оголенную шашку, и они обе упадут, не встанут никогда, нет, нет, остановитесь, детишек хоть не троньте, женщин, стариков, изверги!

Гапон куда-то исчез, наверно, ускорил к Дворцовой, ему ведь вручать петицию. Вот они встречаются посередине площади. Первой идет царица, хлеб-соль в руках, преклоняет колена перед священнослужителем: благословите, отец... А Николай — не таков, как на парадных портретах, проще, доступней, в солдатской шинели — обнимает Гапона, принимает свиток, обнажив голову, прослезившись, обращается к народу... Что ты бредишь, Вася, моли бога, не стреляли бы... Ровно дышит многотысячная толпа. Рядом — мальчуганка лет пятнадцати. «Как звать-то?» — «Федянька». — «Не боишься?» — «Чего ж бояться, полиция порядок соблюдает...» Блажен, кто верует...

И тут Василий увидел Михайлова! Окажись тот переодетым под рабочего — не удивился бы: не может здесь обойтись без доносителей. Или если бы размахивал красным флагом, выкрикивал революционное — тоже не диво, провокаций следовало ждать. И вполне было натуральным увидеть его в чиновничьем мундире... Но бывший зубной врач, провокатор, куда был в партикулярном обычном платье, ничем не размахивал, лицо казалось грустным, сосредоточенным...

Возник тонкий звук трубы, похожий на пенье пастушечьего рожка там, в Славковичах, он был нежным, этот звук, и никто не придал ему значения, даже оба полицейских офицера по-прежнему спокойно ступали впереди. За первым звуком рожка последовал второй, и моментально грянули залпы. Поверх голов или холостыми? — подумал Василий. Вывернулся откуда-то верховой офицер, закричал в толпу: «Мерзавцы, знали, на что идете, собакам собачья...» И страшно, дико закричал ему пристав

Жолткевич: «Вы что делаете, Вербицкий, как можно стрелять в крестный ход и портреты государя?!» Жолткевич еще что-то крикнул, падая, и рядом свалился второй полицейский офицер, Шорников: палили, не разбираясь. Рухнул старик с иконой, пробитой насквозь. Василий кинулся к парнишке, к Феде этому, схватил за руку, хотел заслонить, но паренек дернулся — и сквозь Шелгунова прошел электрический ток, Федя валился медленно-медленно, рухнул в снег, икона Николая Мирликийского, во имя коего крещен царь, валялась рядом, Василий наступил ногой и, воздев палку, бросился вперед: ему хотелось принять в себя пули до единой, кинуться на штыки телом, кричать, взывать к совести, проклинать, молить бога, он рвался вперед, его и подталкивали туда, и сбивали с ног те, кто шарахнулся обратно...

## 5

Михайлов пробился к стене. Цвинькая, летели пули, дробили в щепу ставни, лепились в штукатурку. Тянуло жареным, с приправой, мясом, запах был неуместен и угрожающ, противоестествен, как аромат пирожного над разверстой могилой. Оглядевшись, Михайлов понял: укрылся возле ресторана «Ташкент».

Толпа металась — спереди ее теснила солдатская шеренга, сзади напирала те, кто еще не мог остановиться, понять и поверить бегущим, перепуганным, окровавленным, толпа выла, вопила, падала, топтала сама себя, размахивал фонарем — непременно знаком крестного хода — какой-то мальчонка, к нему бросился, мелькнув синими очками, Шелгунов, тянул парнишку прочь, но тот, видно, вовсе ничего не понимал от страха или, напротив, с перепугу стал безрассудно отважным. Безумство храбрых, как писал Горький. А возможно, и слепота отчаяния...

И Шелгунов — слеп. В любом смысле, в прямом и перепосном. Что ж. Его вина — с нами пойти не захотел, подумал Михайлов. Ему стало жаль этого слепого, безрассудного Ваську, и он отогнал жалость прочь.

Дрызнуло над головой зеркальное бемское стекло ресторана, внутри дурным голосом закричали. Надо уходить.

Страха не испытывал, словно пуля могла миновать, зная, что в кармашке служебная карточка охранного отделения. Страха не испытывал. Удовлетворения тоже. Он был холоден, равнодушен, пуст. Роли сыграны. Фрондирующий студент. Искренне увлеченный марксист. Агент охраны. Зубной врач, склонный к изучению отнюдь не кариеса, но... человеческой психики. Поклонник теории сильной личности. **Übermensch**. Авантюрист. Не нравится? Ваше дело, господа. Могу и не нравиться, не барышня. Но спектакль еще не завершен. Апофеозу быть на Дворцовой. Там и поднимется и опустится занавес над галапредставлением, направляемым волею государя. Его личная воля — скорей упрямство, нежели твердость натуры, но ему дарованы воля и могущество государственные, предопределенные и обеспеченные.

А здесь — явление последнее. Вот она, конная полиция, ровные ряды, лошади — поздря в поздрю, шашки наголо. Дальше глядеть ни к чему. Прощайте, господин Шелгунов, да хранит вас бог, если вас уже не вдавили в мостовую. Я вам предлагал по-хорошему, вы отказались, воля ваша. Вечная вам память. А если бог уберег — живите, сколько сможете. На паперти довольно места.

Он вошел в трактир. Еще убирали битое стекло, подтирали кровь — залетной пулей ранило полового. Но метрдотель вылощен и предупредителен. И назло ему, respectable, привычному к изысканной публике, согнутому перед хорошо одетым и уверенным господином, господин этот приказал графин водки и соленый огурец.



Вдавливались в толпу, как нож в масло, расталкивали конями, топтали копытами, били шашками — плашмя, но вот ударили и лезвием. Бился вопль — и отчаянный, и грозный. Хватали коней под уздечки, кони вздыбливались, поднимали тех, кто повис на сбруе, фараоны лупили по рукам, полицейских норовили выдернуть из седел, они сидели прочно, бравы ребяташки. «Что вы делаете, остановитесь!» — кричал Шелгунов и почему-то боялся — задней, мимолетной мыслишкой, — что сшибут, раздавят бесполезные очки, придерживал их, в другой руке вздетая палка, словно посох пророка, и трепалась по ветру апостольская борода... Горячий запах лошади обволок его, перед единственным, чуть видевшим глазом возникло раздутое дыханием конское брюхо, в блеске подков, с тарелку величиною копыта, высверком, подобно молнии, взметнулась шашка, он смертным усилием приказал себе: стой, не смей бежать, — и секунды, вечность длились, длились, он услышал сверху, оттуда, где блистала молния, услышал трубное — В а с ь к а! — и, неверующий, понял, — призывает к себе б о г...

А на Васильевском острове, на Среднем проспекте, валили заборы, корчевали телеграфные столбы, катили бочки с огурцами, рассол бил в пробитые пулями отверстия, волокли откуда-то громадный гардероб, он хлопал дверцами. Баррикада поднималась вровень с окнами вторых этажей. Крушили мостовую. Тянули проволоку от дерева к дереву, чтоб споткнулись кони. И всем распоряжалась ладная, крепкая, лет под сорок, женщина в небедной одежде, к ней обращались по-разному: и Евгения Николаевна, и товарищ Женя, и госпожа Адамович... Над баррикадой она выставила красный флаг. Действовать согласно обстановке, постановил комитет РСДРП. Евгения Адамович действовала согласно обстановке.

...Возле Ростральных не останавливали, свободно миновали Дворцовый мост, внизу ровно лежала усмиренная льдом Нева. На солнышке, свесив лапы, жмурились каменные львы. Хмельной шарманщик брел навстречу толпе, накручивая жалостное. Такая же толпа беспрепятственно лилась из горловины Невского, растекались обе вдоль ограды Александровского сада. Там словно бы ничего не происходило: играла военная музыка, на ледяном кругу резвились на коньках нарядные барчата, за ними присматривали тонные гувернантки, боины, простоватые няньки, — они, деревенские бабы, крестились так, без опаски, на случай. Шеренга Московского полка развернулась фронтом к саду, ружья к ноге, вовсе не страшная полоска из серых шинелей. Высоко парил ангел, недвижно скакали кони над крышей Главного штаба. И, хмурый, хоть голубой с белым, в позолоте, в солнечном свете, под царским штандартом, высился Зимний... Осенив коленопреклоненную паству крестом, поклонившись в пояс на все четыре стороны, воздев распятие над обнаженной головой, — летели по ветру волосы цвета воронова крыла — Гапон пошел через пустынную площадь. Точно вороновы крылья, взметнулись полы его рясы. Толпа молчала. Военная музыка в саду играла вальс. Выпевали начищенные трубы. Каркали вороны. Светило солнышко. Молчала толпа, окутанная паром.

...В а с ь к а!

Бог схватил за грудки, притянул, обдал застойной си-  
вухой, селедочным луком, бог хватался левой рукой, а в  
правой держал голую, утопленно-синюю шашку, взбле-  
скивал серебряный погон, под богом приплясывала гнедая,  
возбужденная, как при виде вожака в табуне... «Чуток,  
чуть-чуток бы, и...» — сказал бог знакомым голосом Ти-  
мохи, он обтер шашку перчаткой, белой, измазанной, нет,  
не кровью, грязью только, сказал устало: «Вот какой  
стал, браток, не узнать, старый и, Дуська сказывала, сле-

пой вовсе... Иди-иди шибче, направо в третьем подъезде скажешь городовому, дескать, господин околоточный дозволили, не велено пропускать-то никого в подъезды, во дворы, иди, Вася...» Он дал шенкеля. А люди все двигались из переулков — к Нарвским воротам, их стало меньше, исчезли старики, дети, а женщины оставались, и теперь это была не толпа, но колонна, сжатая, тугая, она двигалась, будто выталкивали поршнем, двигалась неотвратно, и столь же неотвратно готовились ринуться верховые с обнаженными шашками... Василий кинул наземь шапку — сдернутая с головы, она стала как бы знаком униженности — и, видя перед собою пространство, пошел через площадь, запев некогда чистым, а ныне хриплым, сорванным басом: «Но мы подыдем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело!..»

...Государь прогуливался по аллее Царскосельского парка с братом Мишей, в руках держал трехствольное ружье фирмы **Sauer**, один ствол нарезной, великолепный подарок, презент кузена Вилли, германского императора Вильгельма II... С Мишей болтали праздно. Заслышав речь, потревоженно и призывно дала сигнал ворона, стая снялась, Николай вскинул ружье и, почти не целясь, ахнул из обоих дробовых стволов. Три черных комка, трепещуща, свалились на снег и остались — черные на белом, обсыпанные вокруг красной клюквой застывших капелек. «*Nature morte*, — сказал Миша, засмеялся. — Молодец, полковник, лихо палишь».

...Вздернув ясу, зажав ее зубами, Гапон карабкался через решетку сада, брюки тоже задрались, белели подштанники. Болтался, мешая, тяжелый крест-распятие, Гапон рванул, цепь лопнула, крест упал, оставив на снегу вмятину.

...У Полицейского моста волоклись извозчицы санки, поперек лежала женщина, ноги висели, белые-белые. Шел студент — рука с отсеченными пальцами, — он помахивал

беспалой своей ладонью, словно хотел остудить, брызгала кровь, публика шарахалась.

...Головами вниз висели на зубцах решетки убитые, они хотели перескочить вослед Гапопу и не успели. На льду катка чернели окровавленные детишки, оркестр исчез, как смыло... Каркали вороны.

...Настигали. Василий прибавил шаг. Колонна приняла его в себя. Кони подлетели, затапцевали, вздыбились. По их крупам, холкам, животам бухали булыжники, несколько всадников кричали — не грозяще, а от боли, — колонна упрямо надвигалась, лошади танцевали, пятились, мягкие конские губы раздирали удилами, верховых норовили стяннуть наземь, они противились, били плашмя, били острьями... Тимоха упал, пополз, его норовили ошарашить сапогом. Вжикали шашки, гулко шлепались булыжники, оглушали свист и брань, кто-то, вовсе обезумев, подскочил к Василию, умело дал подножку, Василий упал, раскинув руки... Он услышал в несусветном сплетении шума короткий, знакомый звук, сразу не понял, какой это звук и почему знакомый, почему припомнился, нездешний, неуместный, Василий привстал на четвереньки, увидел Тимоху и вспомнил: смолоду он, Васька, показывая силу, давил в ладонях грецкие орехи, они раскалывались, звук был такой же, только много тише... Тимофей лежал с расколотым черепом.

«Когда люди разбежались, то... понеслись за ними вдогонку конные солдаты и рубили бегущих шашками; многие искали спасения в прилегающих домах, но командовавший офицер велел закрывать ворота и не пускать туда публику». — Из доклада комиссии, избранной общим собранием присяжных поверенных 16 января 1905 года, по поводу событий 9—11 января.

«У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, государь, любой из них — мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь к смерти». — Из гапоновской петиции.

«Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их». — Из речи Николая II перед депутацией из 34 рабочих, подобранных полицией.

«Пролетариат поговорит еще с царем иным языком!» — В. И. Ленин.

«Рабочие... говорят: «Да, теперь видно, что от царя не будет нам помощи. Мы просили хлеба, а нам дали пули!..» Озлобление и возмущение массы достигло высшего предела... Я слышал две пламенные речи. Одна заканчивалась кликом: «Долой самодержавие!» — кликом, который толпа подхватила с энтузиазмом. Другая речь закончена была громким призывом: «К оружию!» Толпа встретила и этот призыв с сочувствием». — Из показаний очевидца. Ленинская газета «Вперед», 1905 год, 31(18) января.

«Рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни». — В. И. Ленин, среда, 25 (12) января 1905 года.

## 7

Говорили, что в тот день его видели и у Нарвских ворот, и на Миллионной, и у Троицкого моста, и на Васильевском, и на Гоголевской, — видели его, высокого, без шапки, с кудлатыми волосами, слипшимися то ли от пота, а может, от крови, собственной, чужой ли, с раздутой по ветру апостольской бородой, то в синих очках, то без них, мертво тусклел глаз; видели с алым знаменем; слух шел, будто бы он даже по своей руке полоснул, чтобы окрасить

белый плат кровью,— это, скорее, из рассказа писателя Всеволода Гаршина, где описано про подобный случай; передавали о его, Шелгунова, речах с призывом к оружию; про басовитые выкрики его: «Долой царя-убийцу!»; слышали одни, как он пел «Марсельезу», а другим запомнилось, что — «Интернационал» и даже вроде по-французски пел; весть была такая, что выхватил он у солдата ружье и, спотыкаясь, почти слепой бежал на казаков...

Это, понятно, легенды. Не мог Василий Андреевич быть всюду в одно и то же время...

Но всюду были тогда большевики.

...Он упал, как тогда, в Баку. Казалось, рвет злой тамошний ветер, забивает пылью, раздирает глаза. Все болело — голова, оттоптанные руки, ноги, казалось, из спины и то кровь текла. И, как тогда, надо было ползти, а он лежал, уставив незрячие свои очи в небо, и не видел ничего. И чей-то женский голос приговаривал над ним, он через силу позвал: «Женя!» — и не услышал ответа.

Оклемался наутро. Дуся уговаривала хлебнуть водочки, отец стонал поблизости, охал, причитал,— про Тимоху уже известили. Отец, возникающий в своей жизни, благословлял Васю, и тому хотелось сделаться маленьким, несмышленым, потереться щекой об отцову сухую ладонь, этого не бывало никогда. Василий поднялся, крючась от боли, почти не видя, тронул холодеющие батины руки, послушал, как тот плачет предсмертно. Сказать ничего не сказал, разве тут говорить надобно, когда помирает человек...

«Фанатическая проповедь, которую в забвении своего сана вел священник Гапон, и преступная агитация злонамеренных лиц возбудили рабочих настолько, что они огромными толпами стали направляться к центру города...

Войска вынуждены были произвести залпы». — «Правительственный вестник», 1905 год, 11(24) января, вторник.

«Холостых залпов не давать, патронов не жалеть... Не подвергая задержанию, предавать смерти... Переколоть и перестрелять всех, кто не захочет сдаться... Арестованных не иметь, пощады не давать... Убивайте чем попало... Пуля и штык должны быть в полном ходу. Последствиями не стесняться... За строгость тебя свыше не осудят, а за недостаток ее тебе наверняка попадет». — Из приказов и распоряжений петербургского генерал-губернатора Трепова, барона Медема, полковника Мина, ротмистра Рахманинова, великого князя Николая Николаевича.

«Спасибо... дорогие мои! От всей души благодарю вас за вашу службу. Благодаря вашей доблести, стойкости и верности сломлена крамола». — Из письма Николая II Московскому Семеновскому полку, опубликовано журналом «Русское знамя» в 1905 году.

«Вот бы взять всех этих революционеров да и утопить в заливе». — Николай II — графу С. Ю. Витте.

«Победа самодержавия над безоружным народом стоила не меньше жертв, чем большие сражения в Маньчжурии». — В. И. Ленин.

«Научитесь же брать силой то, что вам надо... Вооружайтесь где только можно, чем только можно... Долой царя-убийцу!» — Из листовки Петербургского комитета РСДРП.

## 8

Превозмогая недуги, Шелгунов поднимал себя, выходил на улицы, слушал разговоры, заводил их сам. Творилась истинная вакханалия, в Питере, как выразился Василий в разговоре с Полетаевым, царило паническое изумление. Чего только не рассказывали...

У Екатерининского сада вечером девятого на чистую публику налетел полужэскадрон, лупили пашками женщин

и детей, офицер кричал: «Бей! Они с утра нам надоели!» На проспекте Невском солдат без всякого повода сшиб с ног хорошо одетого господина, топтал сапогами, городовые приговаривали: «Молодец!» Студента, что пробовал было вступить, истерзали чуть не до смерти. Били так просто кого попало, куда и чем попадя. Били солдаты, казаки, городовые, дворники, любой, кто почуял власть, била всякая сволочь, отрубали руки, выворачивали челюсти, дробили черепа, добивали лежащих, многие покалеченные, да и очевидцы сходили с ума. На выкрик, почему калечат мирных людей, офицер отвечал: «Из-за вас третий день мерзнем!» Задержали студента потому лишь, что раздражение вызвал его мундир. «Куда идешь?» — «В столовую». — «Ах так, в столовую! Получай!» Молотили пашкой по голове, он вырвался, вбежал в подъезд, городской кричал вдогонку: «До утра караулить буду, все равно выйдешь, тогда — убью!»

На зверства властей трудовой Питер ответил массовой политической стачкой. 10 января бастовало свыше 160 тысяч рабочих. К ним присоединялись служащие, чиновники, приказчики, стачка распространялась по России, поднималось крестьянство, кое-где начались возмущения солдат, бурлило студенчество, поднимала голос передовая интеллигенция. Как ни противились меньшевики, а многие комитеты РСДРП занимали большевистские позиции. Но влияние их было далеко не везде достаточным, революционному движению масс не хватало организованности.

Полетаев по-прежнему уговаривал Василия не ввязываться в драку, даже чисто политическую, советовал беречь здоровье. «На кой хрен мне здоровье, — отвечал Шелгунов, — в завод все равно не пойду работать, мне что, с протянутой ладошкой сидеть, пролеживать дни попусту?» Он жил у отца, туда приходили обуховцы, бердовцы, торнтоновцы, образовался как бы рабочий штаб.

Петербургский комитет раздирали противоречия. Бли-



зился Третий партийный съезд, из газет Шелгунов знал о попытках Ленина к объединению рядов, о лавировании меньшевиков. Василий отправился на Металлический завод, собрал группу активных товарищей, спорил, разъяснял, убеждал. Приняли резолюцию, обращенную к городскому комитету, очень резкую, ее Василий составил заранее. После долгих прений утвердили единогласно и большевики, и меньшевики:

«Мы, рабочие, выносим свое недовольство, так как у нас получились две интеллигентные группы, то мы не находим фактически возможности работать в организации и поэтому требуем от той и другой партии объединения в одно целое.

Товарищи! Вы заварили кашу, о которой даже рабочий пролетариат и не мечтал, и теперь нам приходится говорить о большинстве и меньшинстве. Товарищи! Терзайте нас, что мы грубы, но мы должны высказаться вам с открытым сердцем: не подло ли это будет, не позорно ли: у нас по всей России, во всех городах и селах льется наша братская кровь рабочего пролетариата, а вы еще стали разбираться в недоверии один к другому?.. Теперь не время, товарищи!

Товарищи! Мы требуем от вас объединения...»

Резолюция эта очень шелгуновская: в ней есть и простоватость, и остаточные нотки недоверия к интеллигенции, заметна и склонность к преувеличениям, к резкостям... Но знаменательно — и это было радостью для Василия, — что лепинская газета «Вперед» в номере от 12 апреля (по-русскому — 30 марта) напечатала эту резолюцию, определив ее «как характерное проявление того настроения, которое при известных условиях может охватить значительную часть борющегося пролетариата». При всех резкостях, при некоторой путаности резолюция эта, бесспорно, работала на Ленина, на большевиков, готовивших съезд.

Съезд нацелил партию на организацию вооруженного восстания, победа которого должна была привести к созданию временного революционного правительства.

Но восстание так и не произошло. В Петербурге силы пролетариата были ослаблены репрессиями правительства, локаутами, арестами. А столичный Совет рабочих депутатов, который, по мысли Ленина, должен был стать органом вооруженного восстания, оказался, как вскоре стало ясно, не на высоте.

### *Глава седьмая*

Наконец, он вырвался — пока без Надежки — из «проклятого далека», из постылой эмигрантской «заграницы». Через Стокгольм, Гельсингфорс, минуя Выборг, восьмого ноября поутру приехал в Петербург. На Финляндском встречал недавний, с лета, знакомый — Николай Евгеньевич Буренин, техник и транспортер партии, повез в Можайскую, к своей сестре, там ждал нетерпеливый Леонид Красин, член ЦК, не один час длилась беседа о п а р т и о н н ы х, как несколько старомодно обозначал Леонид Борисович, делах. Съездили на Преображенское кладбище, преклонили головы перед могилами жертв Кровавого воскресенья, оттуда — в Десятую Рождественскую, угол Дегтярной, где предстояло обосноваться нелегально, пребывание в чужих домах Ленина смущало, но выхода не было, и хозяин, тоже член ЦК Румянцев, проявил тахітит радушия, в хорошо обставленном семейном доме выделил Владимиру Ильичу особую комнату, конспиративность обеспечивалась двумя выходами — на улицу и во двор. Усидеть на месте Ленин в тот день никак не мог, жадно вдыхал петербургский влажно-ветренный воздух, слушал, записывал, жаждал новых встреч. Наспех отобедали — и снова вместе с Леонидом Борисовичем на извозчике в Николаевскую, близ

Невского, к зубному врачу Юлии Ивановне Лаврентьевой, весьма сочувствующей большевикам, сюда прийти должны были москвич Мартын Лядов и Василий Шелгунов...

Никогда не был он сентиментален, однако, узнав о близком приходе Шелгунова, испытал непредвиденное волнение: с Василием Андреевичем крепко связывались воспоминания о молодости, о первых петербургских годах. Как они молоды были двенадцать лет назад, когда встретились, как задорны, задиристы, неугомонны; как все еще только начиналось — кружки, связи, знакомства, листовки... Жизнь начиналась... Ему представился, как воочию, Шелгунов — коломенская верста, косая сажень, плечи, как у молотобойца, и бас, прозванный протодиакономским; Василий на это невинное прозвание обижался, он вообще отличался обидчивостью, молоды мы были, да-с... И еще Шелгунова поддразнивали: «С Марксом под мышкой», его же собственное было выражение...

Надтреснутый бас гуднул в прихожей. Красин сказал вполголоса: «Владимир Ильич, я забыл вас предупредить, Шелгунов почти не...» И закончить не успел.

Вот, оказывается, как жизнь ломает людей... Встретил бы на улице, в непредполагаемых обстоятельствах — вряд ли узнал бы... Темные очки — словно полумаска, они всегда почти неузнаваемым делают лицо. И волосы поредели, и следа не осталось от чубатости. И ростом словно сделался ниже. И железная палочка в тяжелой руке. И улыбка почему-то виноватая... Остановился у порога, сказал, глядя куда-то вверх: «Здравствуйте, Николай Петрович...» Господи, ведь почти забылась эта давняя конспиративная кличка, одна из многих... Острая жальность и печаль были пронзительны, ощутимы почти физически. Вот и пролетела молодость, подумал он, Шелгунов, кажется, меня старше? Помнится, года на три, но это в нашем возрасте уже несущественно. Должно быть, по-

лагаются говорить какие-то слова утешения? Не умеет он говорить пустых слов. «Пустые слова что мочала жеваная», — вспомнилось из симбирских времен. Однако и ненужное бодрячество пристойно ли среди мужчин... «Рад видеть вас, рад весьма, Василий Андреевич», — сказал он, вкладывая в обыденную формулу все, что хотел и мог вложить. И после мгновенной паузы шагнул навстречу...

## 1

С Невы сильно и промозгло дул ветер, по Литейному тянуло, как в трубе, резче и холодней. Значит, до набережной вовсе недалеко, значит, скоро и поворот на Шпалерную, направо, а там до Окружного суда рукой подать.

Суд... Можно ли было его избежать? Кто знает. Много промахов допустили, много совершили оплошностей, натворили ошибок, много было путаницы, фракционности, непомерной горячности. Да и обстоятельства складывались не в нашу пользу, думал Шелгунов.

Вообще-то изрядно мог сделать Совет, весьма представительный, пятьсот шестьдесят два депутата, в числе рабочих — преимущественно металлисты, передовой отряд питерских пролетариев. Но беда в том, что в Совете рабочих депутатов стали вскоре верховодить меньшевики, сочувствовал им и председатель Совета, формально беспартийный помощник присяжного поверенного Георгий Носарь, он был избран под видом рабочего Хрусталева, он клонил явно не в ту сторону. Первое заседание Совета провели в Технологическом институте, выбрали исполнительный комитет, в него вошел и Василий. Начиная с 17 октября, сразу после царского манифеста, Совет арендовал здание Вольного экономического общества, на углу 4-й Роты и Забалканского проспекта, заседал почти

непрерывно. И с каждым днем и даже часом в нем росло влияние меньшевиков.

Меньшевики, можно сказать, к л ю н у л и, вспоминал сейчас Шелгунов, на манифест, полагали его чуть не конституционным, утверждали, что в такой обстановке Совет должен быть лишь органом местного самоуправления, решать вопросы снабжения провизией, жилищных условий рабочих, выделить дружины для охраны порядка в городе, ввести восьмичасовой рабочий день. Это сделать удалось, это, понятпо, было хорошо, но ведь не в том заключалось главное.

Шелгунов прекрасно помнил и резолюции Третьего съезда, и работу Владимира Ильича «Две тактики социал-демократии в демократической революции», на заседаниях выступал Василий Андреевич без конца, вместе с другими товарищами доказывал: Совет должен стать органом вооруженного восстания, зародышем новой власти — революционно-демократической диктатуры пролетариата. Но и среди своих не было единства. Богдан Книуняц — вот где их свела судьба с Шелгуновым опять! — в большевистской газете «Новая жизнь» писал, что Совет должен принять программу партии, его поддерживал член ЦК Богданов (звали шути — д в а Б о г д а н а). Василий спорил с обоими — наедине, с трибуны, — доказывал, что Совет и партия — организации разные, с особыми задачами, те оба упорно твердили: странно такое положение, при котором Совет не состоит ни в каких обязательных отношениях к партии. Они добились-таки своего: большевистская часть Совета приняла их резолюцию. Шелгунов голосовал против, Петербургский комитет резолюцию отклонил, «два Богдана» высказались за выход из Совета и подбивали на то и остальных большевиков.

Неизвестно, чем бы кончилось тогда, если бы...

...У л ь я н о в (мысленно Василий так его и называл

долгие годы, не мог привыкнуть) шагнул навстречу. Выражения лица его Шелгунов разглядеть не мог, но что-то было непривычное в облике, то ли походка тяжелее, то ли еще в чем переменялся. Ульянов засмеялся — кажется, отчасти принужденно — и сказал: «Не гадайте, Василий Андреевич, вот оно в чем дело», — провел по гладкому своему подбородку, теперь понятно стало: бороды нет. И поглядел пристально, а расспрашивать о несчастье не стал, Василий был ему благодарен за это.

Через несколько дней Ленин выступал в заседании Совета. Не все узнавали его спервоначалу в новом облике, но, как только Владимир Ильич заговорил, тем, кто видывал его прежде, сразу стало ясно: он! Зал притих. В зале, как сказал кто-то после Шелгунову, повеяло воздухом р е в о л ю ц и и... Он говорил о локауте, объявленном предпринимателями. Ленин считал, что нужно действовать сообща — и Совет, и партия, а не противопоставление их, — предостерегал от преждевременных выступлений, от сектантских ошибок, подчеркивал главный вывод: Совет уже на деле — зачаток временного революционного правительства, власть неизбежно достанется ему в случае победы, а победа может быть достигнута лишь путем вооруженного восстания!

Перед глазами депутатов раскрывалась безбрежная революционная перспектива, Шелгунов разговаривал с многими товарищами, повторял: «Да прямо-таки воздухом Парижской коммуны повеяло!»

Но было поздно, было поздно... Ведь знали же, знали, что правительство намеревается арестовать Совет! Но послушались Троцкого: вместо того чтобы от ареста уйти, взять на себя руководство восстанием, Совет продолжал заседать открыто и фактически себя сам отдал в руки властей. 3 декабря полиция прямо с заседания увела 267 депутатов, среди них — многих большевиков... Оказался в «Крестах» и Василий.

Почти полгода он метался по камере.

Его выпустили в мае пятого года, реакция свирепствовала вовсю, но депутатов решили освободить, взяв подписку о невыезде: намеревались устроить над Советом публичный процесс.

Дома Василия опять ждала горькая весть: умер отец... Все-таки отец, родная душа... Оставалась теперь только Дуся... Он чувствовал себя одиноким, беспомощным: в «Крестах» окончательно ослеп. Полная тьма. Прежде хоть свет различал, мог, с напряжением, разглядеть черты лица, разобрать самый крупный шрифт. Не оставалось теперь и этого. Теперь оставалась черная, глухая, непробиваемая мгла. Теперь оставалось одно спасение: работа. Борьба.

Он, позванивая палочкой, двигался по Шпалерной, отсчитывая шаги. Терпко пахло палым листом, напоминающая почему-то детство. Многое ныне различал он обонянием, обострялся нюх с каждым днем, прямо-таки по-звериному, в который уж раз подумал он. Еще издали донесся запах лошадиного пота, запах шинелей, кислой шерсти, значит, пришел. Грубый, фельдфебельский голос окрикнул, потянули за рукав непочтительно. «Вы куда, господин, пускать не дозволено!» — «А я — свидетель», — сказал Шелгунов. Кто-то засмеялся, другой обронил ухмылисто: «Эка, свидетель выискался, безглазый!» Василий достал судебную повестку, — его и в самом деле привлекали только в качестве свидетеля, смилостивились, гляди-ка, освободили от обвинения, пожалели незрячего, подлецы, думал он. Бумага шуршала, читали повестку долго, должно быть, унтер не шибко

грамотный. Затем кликнули какого-то или Потапенко, или Остапенко, солдатским запахом понесло еще сильней. Словно задержанного, Шелгунова взяли под локоток, вели длинным казенным коридором, где пахло сургучом, бумажной пылью, ваксой, духами, где и не пахло, усмекаясь про себя, подумал он, правосудием.

Водворили на свидетельское место, и серый, казенный, без выражения голос первоприсутствующего, осведомившись о фамилии, имени, отчестве, вероисповедании, велел поклониться на Библии, что свидетель будет говорить суду правду, одну только правду, всю правду.

«А я — неверующий, — сказал Шелгунов, зал за его спиною внимал напряженно. — И клятва моя потому — лишняя, господа судьи. Но вы не извольте беспокоиться, без клятвы, без Библии стану говорить чистую п р а в д у».

Вот заключительная часть свидетельского показания, вернее, р е ч и, притом о б в и н и т е л ь н о й, как ее восстановил по документам и по воспоминаниям самого Василия Андреевича писавший о нем и знавший его литератор и историк М. Д. Розанов:

«Мертвый хватает живого — вот смысл происходящего здесь судилища. Но это еще не значит, что смерть восторжествует над жизнью. А революция — это жизнь, ее не засудишь, ее не вздернешь на виселицу, не поставишь под расстрел, не удушишь. Было время — французская буржуазия утопила в народной крови Парижскую коммуну и ликовала. Но прошло не столь уж много времени, и Коммуна воскресла, она воскресла и в русской революции. В борьбе против нас вы, по примеру французских душителей свободы, прибегли к помощи артиллерии, как это было в Москве. Вашему правительству не привыкать стрелять из пушек в народ. Однако не спешите торжествовать победу! Не затоптать вам подземный огонь, который бьет у вас из-под ног! Затопчете в одном месте — он пробьется в другом. И недалек день, когда грозный этот,



священный этот, негасимый этот огонь разгорится во все-  
российский пожар, имя ему — победоносная социали-  
стическая революция!»

Он говорил, и слева, там, где скамьи подсудимых, встали те, кому здесь довелось сидеть, кто бросал гневные слова в лицо суду неправедному, в лицо правительству, в лицо императору. Они встали разом и стояли молча. Ипполит Мышкин. Андрей Желябов. Александр Ульянов.

И словно бы Владимир Ильич был сейчас в этом зале...

## **ВМЕСТО ЭПИЛОГА**

**4 октября 1980 года. Суббота**

### **1**

Под апрельским ли ясным солнышком, в июльскую ли жарынь, под секущей ли наискосок городской вьюгой, обнажив голову, бреду по Новодевичьему кладбищу, второму, после Кремлевской стены, московскому некрополю. Памятники... Долгие, длинные ряды табличек в стене колумбария. Забытые, полузабытые, а то и вовсе не памятные имена. И среди них — малая размером гранитная:

1867—1939

Василий Андреевич

**ШЕЛГУНОВ**

член ВКП(б) с 1898 г.

И это — все. Быть может, именно этого и достаточно: многое сказано — без лишних з д е с ь слов.

2

Советский историк Альберт Захарович Манфред, который был также превосходным литератором, говорил о своей потребности раскрывать внутреннее содержание больших общественных процессов, в том числе революций, через изображение отдельных их деятелей.

Он писал: «Вероятно, с равным правом освещать эту тему на примере отдельных человеческих судеб можно, говоря и о роли людей, которые стояли во главе революционного процесса, и о роли тех, которые были его рядовыми участниками. И те и другие имеют одинаковое право на внимание. Следует, однако, признать, что о вторых — о рядовых революции писать труднее, чем о тех, кого отнесут к числу руководителей... О рядовых революции слишком мало сведений, слишком мало документальных, достоверных данных. О людях, стоявших во главе большого исторического процесса, материалов неизмеримо больше. Здесь историк жалуется скорее на избытие документов, чем на их ограниченность.

Собственно, одного этого было бы достаточно, чтобы оправдать и объяснить, почему историки, наши предшественники, наши современники, пишут обычно о вождях, о руководителях, а не о рядовых. К сказанному надо добавить, что и позиция лидера — или вождя или руководителя, называйте его как угодно, это не меняет сущности дела, — дает известные преимущества. Иногда в одном лице как бы персонифицированы более общие процессы».

Сказанное, разумеется, с равным основанием можно отнести не только к научным исследованиям, но и к документально-художественным биографиям.

О Шелгунове писали Владимир Ильич и Надежда Константиновна, Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, Мария Александровна Ульянова, деятели революционного движения А. А. Андреев, С. Я. Аллилуев, А. С. Аллилуева, И. В. Бабушкин, К. Е. Ворошилов, К. М. Норинский, М. А. Сильвин, А. Фишер и другие, старая большевичка писательница Елизавета Драбкина... Без упоминания его имени не обходится сейчас ни один научный труд, посвященный петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», одним из создателей которого был В. А. Шелгунов. Сохранились опубликованные в редких теперь изданиях статьи самого Василия Андреевича, напечатанные стенограммы его докладов и воспоминаний, жандармские документы о нем. Наконец, существуют документальные повести и рассказы о Шелгунове, принадлежащие перу Бориса Раевского, Михаила Розанова, Лидии Фоменко. Имя его не забыто...

Так что в данном случае жаловаться на недостаток материалов не приходилось, одна из трудностей, упомянутых А. З. Манфредом, отпадала. Равно как и необходимость более или менее широко прибегать к д о м ы с л у, вполне закономерному в художественной, беллетризированной биографии, принципиально отличающейся от исторического исследования.

Трудность заключалась в другом: как уложить собранные сведения в жестко ограниченный объем книги. По неволе пришлось выбирать из жизни Василия Андреевича какие-то определенные периоды.

Меня всегда интересовал процесс становления личности. Этим и обусловлен выбор периода, описанного в книге: юношеские и молодые годы жизни Шелгунова, его зенит. Явственно вырисовывалась и вторая линия повествования: п р е о д о л е н и е. Преодоление тягот детства, преодоление страха перед окружающей действительностью, перед непонятностью социальных явлений,

преодоление «безобразной обстановки своей жизни» (В. И. Ленин), преодоление условий каторжного труда, преодоление трудностей революционной борьбы подпольщика, неустроенности быта. Преодоление трагического — полной слепоты...

В лице Шелгунова и его товарищей складывался исторически новый тип рабочего-интеллигента (это выражение В. И. Ленина), профессионального революционера, вожака пролетарских масс. О них Владимир Ильич писал: «Это — люди, которые... посвятили себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Это — люди, которые не растратили себя на бесполезные террористические предприятия одиночек, а действовали упорно, неуклонно среди пролетарских масс, помогая развитию их сознания, их организации, их революционной самостоятельности... Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых такими людьми...»

Таких рабочих Ленин назвал **настоящие герои**.

«Несмотря на свой хронический недуг... Василий Андреевич всегда бодр, даже весел», — сказано в характеристике, выданной Московским комитетом ВКП(б) в двадцатых годах.

«Личной жизни у Василия Андреевича не было. Жизнь его проходила необычно, «на людях», как он говорил... Он приходил к товарищам, его приходу радовались, его ждали, и где его заставляла ночь, там он и оставался», — писала Анна Сергеевна Аллилуева. О том же рассказывали мне Елизавета Яковлевна Драбкина, покойный мой старший товарищ, то же мне говорил и близко знавший дядю Васю, как его называли все ребята, Борис Константинович Норинский, сын одного из героев этой повести.

Личной жизнью Шелгунова была революция... Правда, была в его, Василия Андреевича, жизни Евгения

Николаевна Адамович, но я не считал себя вправе домысливать то, о чем судить можно лишь по намекам. Я отыскал в фондах Центрального Музея Революции СССР письмо Евгении Николаевны к Шелгунову, датированное двадцатыми годами,— оно полно недомолвок, понятных, видимо, лишь им двоим...

### 3

Что же было после тех событий, которыми завершается книга?

Рассказ мой будет вынужденно кратким, иначе пришлось бы писать вторую повесть.

С апреля 1906 года, когда Шелгунов полностью потерял зрение, и по апрель 1939-го, до самой кончины, он, как былинный герой, «ровно тридцать лет и три года» продолжал активную работу в партии. Может показаться невероятным, но это так.

После поражения первой русской революции вел агитационную работу на предприятиях, боролся против ликвидаторов, меньшевиков, эсеров, либералов, участвовал в создании легальных рабочих клубов, восстанавливал партийные связи, явочные квартиры, распространял нелегальную большевистскую литературу. В 1910 году его арестовали снова.

После выхода из тюрьмы он, вместе с давним другом Николаем Гурьевичем Полетаевым и уполномоченным Центрального Комитета партии Яковом Михайловичем Свердловым готовил издание легальной ленинской газеты и был партией утвержден ее официальным редактором-издателем.

Первый номер «Звезды» вышел 16(29) декабря 1910 года. Закрыли газету в начале 1912-го. Выпущено в свет 69 номеров, из них 30 конфисковано, 8 општафо-

вано. За год с небольшим Василий Андреевич в качестве издателя трижды подвергался тюремному заключению. Затем, когда в период нового революционного подъема стала выходить — с 22 апреля (5 мая) 1912 года — большевистская «Правда», Шелгунов стал ее активным сотрудником, в редакции его называли даже к р е с т н ы м о т ц о м газеты.

И снова арестантские дни, вместе с Евгенией Адамович и ее дочерью Аней, снова гласный надзор полиции, высылка на Северный Кавказ...

Февральская революция. Шелгунов — активный агитатор в Петрограде. Он встречал Владимира Ильича в апреле 1917 года на Финляндском вокзале, он выступал на митингах, где разъяснял массам ленинские Апрельские тезисы, он был выставлен кандидатом в Учредительное собрание по большевистскому списку... Принимал участие в заседаниях II конгресса Коминтерна, о чем уже говорилось здесь.

Стоял в почетном карауле у гроба вождя. Слушал речь Надежды Константиновны на траурном заседании II съезда Советов.

Последние пятнадцать лет жизни работал в Московской организации ВКП(б), состоял на учете в Замоскворецком, затем в Бауманском райкоме, был членом президиума Общества старых большевиков, почетным членом правления Всероссийского общества слепых. Выезжал в Ленинград, Баку, Харьков, Днепропетровск (бывший Екатеринослав), помогал историкам воссоздать обстановку, в которой начиналась деятельность организаций партии.

В Харькове, незадолго перед смертью, повстречался с Евгенией Николаевной Адамович...

2 апреля 1939 года Василий Андреевич скончался от воспаления легких, на семьдесят втором году жизни...

Установлена мемориальная доска и создан музей

в бывшей квартире Шелгунова — Ленинград, Ново-Александровская, 23. Два народных музея его памяти — там, где он родился, в Славковичах, и там, где отбывал ссылку, — в Мезени. Вознесен выпел с его портретом на вершину Эльбруса, это сделали комсомольцы-альпинисты.

И не увядают цветы у гранитной доски на московском кладбище, у доски, где обозначено кратко и гордо:

Член ВКП (б) с 1898 года

#### 4

Я прочел в письме Герцена к декабристу, лейб-гвардии Финляндского полка поручику Николаю Романовичу Цебрикову, не признавшему своей вины, разжалованному в солдаты и посаженному в крепость:

«Мы с детства привыкли чтить всех вас, вы — наша аристократия, наши блестящие предки, наши святые отцы».

Наши блестящие предки, наши святые отцы... Разве не теми же словами скажем теперь и мы о таких, как Шелгунов...

Без малого шесть с половиною десятилетий отделяют нас от героических «десяти дней, которые потрясли мир». Родились, выросли, повзрослели, приняли участие в защите завоеваний революции, в послевоенных пятилетках поколения людей, воспитанных ленинской партией. Тех, для кого наши блестящие предки, подобно Василию Андреевичу, всегда будут «живым примером, призывом гордым к свободе, к свету».

И вечно будет в памяти народной, в сознании благодарных потомков неиссякаемая слава и честь большевистской гвардии Владимира Ильича, наших святых отцов,



чьи помыслы были возвышенны, дела прекрасны, совесть чиста и свершения удивительны...

И еще я прочитал в старой, мало кому сейчас известной книге о первых социал-демократах, марксистах России: «Есть два рода героев.

Герой — тот, кто, не дрогнув, умеет умереть за свою идею; но герой также и тот, кто, несмотря на все препятствия и трудности, несмотря на лишения... остается непоколебим, верен своей идее и проводит ее в жизнь».

Словом, герой и тот, кому дано преодоление.

Лето 1977 г. — осень 1980 г.

## **Оглавление**

<b>ВМЕСТО ПРОЛОГА</b>	<b>5</b>
2 августа 1875 года. Суббота	—
<b>ЧАСТЬ ПЕРВАЯ</b>	<b>10</b>
29 января 1897 года. Среда	—
Глава первая	17
Глава вторая	58
Глава третья	98
Глава четвертая	126
Глава пятая	147
Глава шестая	175
Глава седьмая	201
Глава восьмая	222
<b>ЧАСТЬ ВТОРАЯ</b>	<b>248</b>
29 сентября 1906 года. Суббота	—
Глава первая	252
Глава вторая	281
Глава третья	300
Глава четвертая	322
Глава пятая	338
Глава шестая	359
Глава седьмая	380
<b>ВМЕСТО ЭПИЛОГА</b>	<b>388</b>
4 октября 1980 года. Суббота	—

В 1981 году в серии  
«Пламенные революционеры»  
вышли следующие книги:

*Чингиз Гусейнов*  
«НЕИЗБЕЖНОСТЬ»

Повесть о Мирзе Фатали Ахундова

*Владимир Жуков*  
«СТРАДА И ПРАЗДНИК»

Повесть о Вадиме Подбельском

*Геннадий Комраков*  
«МОСТ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

Повесть о Федоре Афапасьеве

*Арсений Рутько, Наталья Туманова*  
«НИЧЕГО ДЛЯ СЕБЯ»

Повесть о Луизе Мишель

*Франц Таурин*  
«КАМЕНЩИК РЕВОЛЮЦИИ»

Повесть о Михаиле Ольминском

*Владимир Успенский*  
«НА БОЛЬШОМ ПУТИ»

Повесть о Клименте Ворошилове

В 1982 году в серии  
«Пламенные революционеры»  
выйдут следующие книги:

*Валерий Алексеев*  
«ПЕПЕЛЬНЫЙ СЕНТЯБРЬ»  
Повесть о Сальвадоре Альенде

*Магдалина Дальцева*  
«ТАК ЗАТИХАЕТ ВЕЗУВИЙ»  
Повесть о Кондратии Рылееве

*Михаил Логвицкий*  
«СОЛНЦЕ В КРОВИ»  
Повесть об Алеше Джапаридзе

*Валерий Осипов*  
«ПОДСНЕЖНИК»  
Повесть о Георгии Плеханове

*Ермей Парнов*  
«ВИТЯЗЬ ЧЕСТИ»  
Повесть о Шандора Петёфи

*Владимир Савченко*  
«ВЛАСТЬЮ РАЗУМА»  
Повесть о Николае Чернышевском

*Натан Эйдельман*  
«БОЛЬШОЙ ЖАННО»  
Повесть об Иване Пущине

**Ерашов В. П.**

**Е69** Преодоление: Повесть о Василии Шелгунове.—  
М.: Политиздат, 1982.— 396 с., ил. (Пламенные ре-  
волюционеры).

Е  $\frac{0902020000-019}{079(02)-82}$  228—82

84Р7+66.61(2)8  
Р2+ЗКП1(092)

*Ерашов Валентин Петрович*

**ПРЕОДОЛЕНИЕ**

**Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко***

**Редактор *Л. Б. Родкина***

**Младший редактор *А. А. Степанова***

**Художник *П. А. Борисов***

**Художественный редактор *В. И. Терещенко***

**Технический редактор *И. А. Золотарева***

**ИБ № 2572**

Сдано в набор 17.09.81. Подписано в печать 21.01.82.  
Л 00017. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага типографская  
№ 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать вы-  
сокая. Услови. печ. л. 18,11. Услови. кр.-отт. 21,92.  
Учетно-изд. л. 18,15. Тираж 300 тыс. экз. Заказ 459.  
Цена 1 р. 50 к.

Полнтиздат, 125811, ГСП,  
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».  
Свердловск, просп. Ленина, 49.









